

P177340





С Сергеев-Ценский



**БРУСИЛОВСКИЙ
ПРОРЫВ**



И С Т О Р И Ч Е С К И Й
Р О М А Н

С

С О В Е Т С К И Й
П И С А Т Е Л Ъ

С. Сергеев - Ценский



**БРУСИЛОВСКИЙ
ПРОРЫВ**

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

БУРНАЯ ВЕСНА



МОСКВА
1943



В
ШУТИ
на
ФРОНТ

1

учился и сиял широкий южный день конца марта 1916 года.

Погромыхая на стыках рельсов, добросовестно пыхтя локомотивом, однако не слишком спеша, двигался на запад пассажирский поезд, почти целиком из красных вагонов «четвертого» класса.

В купе единственного желтого вагона было тесно, — все шесть мест заняты, и довольно густо стояли в проходе, — поезд был переполнен. Машинист вел его в расположение одной из армий Юго-Западного фронта, главнокомандующим которого незадолго перед тем был назначен на место генерала от артиллерии Иванова генерал от кавалерии Брусиллов.

Так как все пассажиры в купе были офицеры, то вполне естественно, что разговор между ними шел именно об этом: ведь у каждого из них была та гнетущая неизвестность, в которой вершителем судеб в большой мере являлся главнокомандующий, позади же болезненно ныла одна только обидная горечь военных неудач.

Но все эти неудачи свалились на Россию благодаря кому же? — Это был острый и большой вопрос. Его решали везде в мире и везде в самой России, где хоть сколько-нибудь работала мысль; пытались решать его и

здесь, в насквозь прокуренном, синем от дыма, несмотря на открытое окно, купе.

Старшим по чину оказался здесь подполковник интендантского ведомства, человек слабо запоминающейся внешности и мягких манер, несколько старше сорока лет на вид, с академическим значком на тужурке.

Говоря немного в нос и как будто даже делая это намеренно, он обращался преимущественно к своему визави — капитану артиллерии, имевшему упрямый выпуклый лоб и жесткие, подстриженные черные усы.

— В Киеве я был в командировке по делам снабжения седьмой армией; и там, представьте вы себе, от многих слышал, что генерал Иванов считает войну уже окончательно проигранной и будто бы несколько раз докладывал самому государю, что был бы рад, если бы ему удалось защитить Киев, — только Киев, — а все остальное, что на запад от Киева, это, по его мнению, уже обречено и не за-щи-ти-мо!

— Как так не защитимо? — удивился капитан. — Фронт сейчас в трехстах верстах от Киева, это — во-первых, а, во-вторых, любую позицию можно защитить, были бы только снаряды.

— И желание защищаться, — скромно добавил один из двух в купе прапорщиков — белокурый, узкоплечий, слабый на вид, однако с очень располагающей к себе внешностью. Впрочем, он тут же вышел из купе, притворив за собою дверь.

— «Любую позицию» можно защищать только тогда, когда она по-настоящему мощная позиция, — эта поправка необходима, — улыбаясь обратился непосредственно к артиллеристу поручик инженерных войск, сидевший рядом с интендантом, густобровый, сероглазый, куривший из небольшой трубки какой-то очень вонючий табак. — Французы, например, вот которую уж неделю защищают Верден, — это позиция мощная, а наш Брест-Литовск не продержался и десяти дней, а Ковно было взято за неделю, даже, кажется, меньше того.

— А кто Ковно защищал, кто? — бурно возразил поручику штабс-ротмистр, кавказец по обличью и по акценту. — Генерал Григорьев, который бежал из гарнизона? Вопрос, сколько он получил с немцев, на суде подымался, а? Не подымался... Присудили только на пятнадцать лет

каторги, а надо было повесить! Повесить, как полковника Мясоедова, немецкого шпиона, вот как надо было, а то каторга!

— Тем более, что генерал этот уже весьма староват, и пятнадцать лет каторги или один год — для него решительно безразлично, — насмешливо вставил другой прапорщик с лицом бледным, как после долгой болезни, но тем не менее энергичным. Он с трудом выносил табачный дым, с явным неудовольствием смотрел на поручика и непосредственно после сказанного по поводу наказания генерала Григорьева буркнул своему соседу: — Послушайте, чорт возьми, что вы такое курите, поручик? Это не шкура ли какого-нибудь скунса, от которого бегут, как известно, даже и леопарды, затыкая носы хвостами?

— Никак нет, это — все-таки табак, — весело отозвался на это поручик, — только не отечественный, а немецкий: нашли наши солдаты в отбитом окопе ящик с таким табаком.

— И здесь немец гадит! Уверяю вас, что этот ящик оставлен сознательно, чтобы вас извести медленной пыткой! Это провскация, а не табак, — сказал прапорщик, блеснув карими живыми глазами. — Всякая война вообще довольно обдуманная штука, но так изощряться во всевозможных каверзах, как немцы, это значит уж сделать из войны профессию. Говорил же Бисмарк о румынах, что это не нация, а профессия, однако и немцы — это тоже теперь профессия... необыкновенно опасная для всего человечества в целом, а в первую очередь для нас, способных курить их скунсов и виверр и находить в этом удовольствие.

Инженер-поручик дотянулся рукою с трубкой до окна, выбил из нее табак и примирительным тоном обратился к прапорщику:

— Вы видели, что я сделал? Теперь открывайте мне свой портсигар.

— Откуда вы взяли, что у меня есть портсигар? — несколько удивился прапорщик. — Нет и никогда не было. Табак я все-таки выносил прежде, могу выносить и теперь, хотя уже пробит пулей (тут он указал пальцем на грудь). Но суть дела всецело в том, защитима или не защитима русская земля, и почему она была защитима

прежде, и почему это свойство ее так резко изменилось теперь.

Университетский крестик, хотя и примелькавшийся уже на тужурках прапорщиков, энергичное лицо, свободно льющаяся речь и жесты, ее естественно дополняющие,— все это заставило подполковника-интенданта спросить:

— Простите, вы — юрист? Адвокат, наверное?

— Нет, я — математик,— ответил прапорщик. — И, как математик, я ищу доказательств, чтобы прийти к священной для всех математиков фразе: что и требовалось доказать. Если Иванов заменен Брусиловым, то значит ли это, что хотели сделать лучше?

— Но ведь Брусилов-то как-никак боевой генерал,— ответил на этот вопрос артиллерист,— а какие же боевые подвиги значатся в послужном списке у Иванова? Ведь он — куропаткинец!

— А это разве не подвиг, что он — крестный папаша наследника престола? — подкивнул прапорщик. — Я от кого-то слышал, что сама Александра Федоровна пишет ему иногда по-русски так: «Крестник ваш жилает дедушке всего лушаго». Как же можно было сместить такое близкое к престолу лицо и назначить взамен какого-то вообще генерала Брусилова? Нет, как хотите, а ясности тут решительно никакой, если только этого не потребовали наши союзники.

— Вот именно.— они-то и требуют наступления, а Иванов будто бы наступать отказался,— подхватил инженер-поручик, а штабс-ротмистр кавказец, с предупредительной миной на густо загорелом лице, дополнил:

— А между тем, господа, сами немцы все время пишут, что он готовят на нас решительное наступление весной!

— Значит, не только защищаться, а нападать мы должны, поэтому и Брусилов — главнокомандующий.— сказал прапорщик, обращаясь к капитану-артиллеристу. — Но вот вы сказали: «Были бы снаряды», а я в госпитале отстал от событий и не знаю, как у нас со снарядами.

— Снаряды на фронт гонят и гонят, снарядного голода теперь долго не будет,— ответил артиллерист и добавил безоазличным тоном: — А вы где были ранены?

— На позициях против села Коссув,— таким же безразличным тоном ответил прапорщик, но капитан подхватил оживленно:

— Кòссув?.. Слышал я что-то об этом Кòссуве: не то там на позициях много солдат наших замерзло, не то какой-то пехотный полк самовольно оттуда ушел зимой...

— Было, было и то и другое в непосредственной связи,— ответил прапорщик, однако без всякого желания говорить об этом полнее.

— То-то вы и ставите вопрос: защитима или не защитима наша земля,— участливо обернулся к нему интендант и вдруг спросил неожиданно для прапорщика:— Ваша фамилия, простите?

— Ливенцев,— ответил тот, и так как интендант переспросил, не разобрав, то пояснил:— Фамилия сия происходит от названия одного города в Орловской губернии— Ливны, о котором принято говорить: «Ливны всем ворами дивны»...

Это почему-то рассмешило всех в купе, даже интендант улыбнулся. А поручик, снова набивая трубку своим невозможным трофейным табаком из вышитого бисером кисета, сказал прапорщику Ливенцеву:

— Слышал я, что от вашей Орловской не отстают и Тверская, а также Витебская. По крайней мере факт будто бы тот, что тверской помещик Офросимов.— он же член государственного совета, а не кто-нибудь вообще,— объединился со своим зятем, тоже помещиком, председателем Витебского земства, и общими усилиями они обработали казну на огромную что-то сумму,— так что трудно и считать.

— Выкладывайте данные, я сосчитаю,— я математик,— с большим интересом отозвался на это Ливенцев.

— Да ведь вот опять я вам буду мешать своей трубкой,— лукаво покосился на него поручик.

— Ничего уж. как-нибудь вытерплю.

— Да всех обстоятельств дела я и сам не знаю. Получил будто бы этот Офросимов подряд на шитье солдатских сапог, а в Тверской губернии есть такое село— Кимры, где только этим все и занимаются— сапоги шьют— и старики, и ребята, и бабы,— все под итог... Ну, вот значит, Офросимову, как он тверской помещик и член государственного совета, и кожи в руки.

— Кожи для солдатских сапог? И много?— оживленно, однако не без лукавства, спросил интендант.

— Мне кажется, что-то очень много, так что я даже

усомнился: двести тысяч пудов! — вопросительно посмотрел на интенданта поручик, но интендант отозвался, пожав плечами:

— Что же, — большому кораблю большое и плаванье... Я, впрочем, про это дело знаю: интендантство ведь продало Офросимову эти кожи, а не кто другой. Но дело в том, что кожи эти он со своим зятем купил у казны по четыре рубля за пуд и, не успев еще внести за них деньги, которых и не было у обоих компаньонов, — ведь почти миллион! — перепродал кожи партиями частным поставщикам сапог по двадцать уже рублей за пуд!

— А это уж четыре миллиона! — вставил Ливенцев.

— Вопрос: сколько за пару сапог будут драть с казны эти поставщики? — возмущенно заметил кавказец, а капитан кивнул ему выразительно, добавив при этом:

— Охулки на руку не полагаг, — будьте покойны!.. Мне кажется даже, что депутаты Шингарев и Годнев внесли вопрос об этих кожах в государственную думу, и я в свое время читал в газетах, что дело об этом подниматься не будет.

— Вот видите, господа, как воруют тверские и витебские! — с загоревшимися глазами обратился Ливенцев непосредственно к артиллеристу. — Орловским, конечно, не уступают. Но любопытно бы знать, из каких губерний рыскали дельцы артиллерийского ведомства, перед которыми, — если верить слухам, — все эти члены государственного совета — воры просто мальчишки и щенки!

— А что такое? Какие дельцы артиллерийского ведомства? — обиженным несколько тоном спросил капитан.

— Неужели не знаете? — удивился Ливенцев. — А в тылу ведь говорят об этом без утайки. Я знаю, что снарядов у нас не было уже в начале войны, сейчас же их доставляют, конечно, из запасов наших союзников. Тяжелых орудий у нас тоже было очень мало...

— И сейчас мало, — вставил капитан.

— Вот видите как! А между тем ревизия обнаружила, что не четыре миллиона, а целых два миллиарда прикарманили молодцы из артиллерийского ведомства в Петрограде!

— Разве два миллиарда? — счел нужным удивиться интендант, хотя тут же добавил: — Я что-то слышал подобное, но не давал веры: мало ли что болтают!

— Какое же «болтают», когда уж и особая комиссия назначена для расследования этого дела, — возразил Ливенцев, — и возглавляет эту комиссию прокурор рижского окружного суда Якоби!

— Я не читал об этом в газетах, — сказал поручик.

— Еще бы — так вот и напечатали это в газете! — вскинулся на него штабс-ротмистр.

— Слухи верные, так как называют и имена, — продолжал Ливенцев. — Говорят даже, что великий князь Сергей Михайлович, ведающий артиллерийскими делами, пытается сорвать расследование, наусьживает на Якоби известного сенатора Гарина, но дело уж получило большую огласку, хотя и в стороне от газет. Если о законной жене иные знатоки жизни говорят: «Жена — не стакан вина. — один не выпьешь», то тем более о двух миллиардах можно сказать, что рассовать их можно было только в очень большое количество карманов... между прочим и в карманчик балерины Кшесинской, которую, как всем известно, содержит сам великий князь. Авось расследование выяснит, кто скопился там, в артиллерийском ведомстве в Петрограде, — не немцы ли?

— Сухомлинов, бывший военный министр, как кажется, не из немцев, однако где он сейчас? — вопросом на вопрос ответил Ливенцеву интендант, но кавказец штабс-ротмистр быстро поддержал прапорщика:

— Если даже и не немец, так что из того? Сам не немец, так зато жена немка или в этом роде! А вы знаете, как приказано относиться у нас к пленным немцам? Наши пленные работают у немцев, как черти, а немцы у нас в плену пальцем о палец не ударят. Кто настоял на этом? Александра Федоровна — вот кто! Потому что ярая немка!

— Я тоже слышал довольно пакостную историю насчет валенок, — сказал капитан, — будто бы немцы прошлым летом закупили у нас и вывезли через Финляндию огромную партию валенок... Спрашивается, кто же им продал их и кто позволил вывезти?

— Даже и хлеб вывозили через ту же Финляндию сотнями тысяч пудов, — добавил интендант, — а у нас теперь большие затруднения с доставкой хлеба на Северный фронт и даже в Петроград.

— Вот видите, — и вы кое-что знаете! — подхватил это Ливенцев. — Спрашивается, с кем же мы воюем? И там ли мы воюем, где следует? И нет ли в этой смене главнокомандующих Юго-Западного фронта какого-нибудь далеко рассчитанного хода, как у заправских шахматистов?

— То есть, какого же именно? — спросил поручик, отрываясь от своей зловонной трубки.

Ливенцев отмахнул от себя дым рукой и ответил неопределенно:

— «Наружность иногда обманчива бывает»... Это из басни. А иногда делают с виду «как можно лучше», только затем, чтобы вышло как можно хуже.

— Кто же так делает? — не понял капитан.

— Кто? Да вот именно те, кто ведаёт высшей политикой, — сказал Ливенцев. — Те, кто могут безнаказанно рассовать по карманам два миллиарда и оставить фронт без снарядов и пушек; кто производит, тоже безнаказанно, уголовные махинации с кожей для солдатских сапог и и тем самым разуваёт фронт; те самые, кто продает и валенки и хлеб, чтобы у нас не было ни тех, ни другого, а у немцев чтобы непременно было; те самые, при ком нельзя даже и заикнуться о том, что у нас в армии подозрительно много генералов немцев, потому что сейчас же они обзовут это «пошлым немецеством».

А Вильгельм тем временем всячески добивается, чтобы Швеция или сама бы выступила против нас, или хотя бы пропустила его войска через свою территорию, потому что в Берлине уже готов план напасть через Финляндию на Петроград, — так сказать, в самый центр мишени направить удар. О том же, чтобы у нас фронт был везде и всюду, куда ни повернись, об этом Вильгельм и его присные позаботились гораздо раньше, конечно, чем начали против нас войну.

— Так что выходит, по-вашему, что это удивительно даже, как мы почти уж два года воюем, а? — спросил, улыбаясь, поручик. — Однако все-таки вот воюем.

— Разумеется, воюем что же больше делать? — улыбнулся и Ливенцев. — Вопрос только в том, во имя чего воюем... Ничто в природе не пропадает, — это закон. Не пропадают зря и все наши усилия и жертвы, конечно. Жертвы эти приносятся на алтарь, только какому богу?

Поскольку я — человек любознательный, то мне хотелось бы узнать это заранее, а не тогда, когда меня ужокошат и когда я, будучи уже бесплотным духом, стану всеведущ.

— Вы разве верите в это? — удивленно спросил его поручик.

Ливенцев заметил, что не менее удивленно поглядели на него и другие офицеры, поэтому он шире распустил свою улыбку и ответил не столько поручику, сколько всем вообще:

— Вот видите как, — скажешь не на уроке закона божия, а вот так в приватной беседе о бессмертии души, и на тебя смотрят, как на спятившего с ума. А между тем тот же генерал Брусиллов, насколько я слышал, усердно занимается на досуге столоверчением, вызывает дух своей покойной жены, задает ему, этому духу, вопросы и будто бы получает ответы. Пусть это — как бы это сказать помягче? — маленькая и вполне простительная в его почтенные годы слабость, но я бы на его месте этого не делал, — неудобно как-то в двадцатом веке терять время на такие пасьянсы, тем более главнокомандующему целым фронтом!

— Злой, злой у вас язык, прапорщик! — деланно-добродушно заметил интендант, но Ливенцев не согласился с этим.

— Язык обывательский, а не злой. И совсем не таким языком надо бы говорить о том, что творится вокруг нас и что творят с нами. Но если даже и плетью, как известно, обуха не перешибешь, то языком тем более.

В это время другой прапорщик, белокурый и скромный, вышедший из вагона, вошел в купе и сказал:

— Сейчас, господа, подъезжаем к большой станции, где есть буфет.

— Что и требовалось доказать! — весело отозвался ему за всех Ливенцев.

И в купе началось оживление, которое всегда бывает у засидевшихся путешественников, когда им преподносится возможность выйти из вагона, пройтись по перрону, поглазеть туда-сюда по сторонам, съесть тарелку борща, выпить стакан чая.

На станции этой пассажирский поезд стоял долго — пропускал поезда товарные: одни — порожняком идущие с фронта, другие — груженные орудиями, боевыми припасами, продовольствием, маршевыми командами — на фронт.

Здесь вообще уже чувствовалась близость фронта, знакомая прапорщику Ливенцеву. Однако, отвыкнув от этой суеты за два месяца, проведенных в тыловом госпитале, он присматривался ко всему кругом с большим любопытством.

Когда его увозили с фронта, стояла еще зима, крутила поземка, поля лежали белые до горизонта, на котором толпились тоже белые холмы; теперь же упруго все дрожало, как туго натянутая струна, весенним подъемом сил. Ощутительно било в глаза это брожение во всем бодрых и бойких весенних соков, но в то же время хотелось думать Ливенцеву, что весна весною, а подъем настроения — сам по себе. Точнее, — счастливое совпадение двух весен — в природе, как, и на фронте.

Маршевики в вагонах, уходящих от станции к западу, заливались гармониками — «ливенками», гремели песнями, — и никакого не чувствовалось в этом надрыва, напруге: заливались и гремели от чистого сердца и не спьяну: водкой ведь их никто не поил тут на станции. Суета на вокзале, на перроне, на путях была не беспорядочная, а деловая, необходимая суета, не слишком крикливая. Это заметил и белокурый прапорщик, который старался здесь, на вокзале, держаться поближе к Ливенцеву.

У него были свои затаенные мысли, которые он хотел кому-нибудь доверить, но, видимо, боялся, чтобы его не вышутили, поэтому не к кадровым офицерам, а к своему брату-прапорщику он с ними и обратился, застенчиво улыбаясь:

— Вот, знаете ли, смотрю на вас, — вы ведь гораздо старше меня годами и на фронте уж были, — поймите меня, пожалуйста, как надо... очень не хочется умирать!

Сказал и как-то сразу осекся и глядел оробело, но Ливенцев отозвался ему просто:

— К кому же и хочется? Никому не хочется, исключая помешанных на идее самоубийства.

— Вы согласны? — обрадовался застенчивый прапорщик. — Меня это очень угнетает, — сказать откровенно, —

но я вот и школу прапорщиков окончил и в полк еду, а как я там буду, не знаю.

— Ничего, втянешься и будете, как все.

— Главное, я ведь совсем не военный по своему складу характера.

— Да уж теперь мало осталось военных по натуре, зато много стало военных по приказанию.

— Вот именно, именно! И я такой... И я думаю, что меня в первом же сражении убьют.

— Могут убить и до первого сражения, — усмехнулся Ливенцев. — Перестрелки ведь на фронте всегда бывают, и сражениями они не считаются... Там все гораздо проще, чем представляется издали. Неприятельская пуля летит по своей траектории; на ее пути оказались вы, — ясно, что она в вас и вопьется.

— Так было и с вами тоже?

— Совершенно так было и со мной. А что касается подвига, то никакого особенного подвига я не совершил и сейчас тоже не думаю, что совершу.

— Не думаете, что совершите, или не хотите думать о подвиге?

На этот неожиданно витиеватый вопрос Ливенцев ответил намеренно витиевато:

— Даже и подвиг, как все в нашей жизни, требует, чтобы его оценили и занесли в соответственную графу, а если нет поблизости этого оценщика, то, стало быть, нет и подвига. Простое же выполнение воинских обязанностей за подвиг считать не принято.

Так как на очень внимательном худощавом лице собеседника начинал просвечивать какой-то новый, наивный, однако трудный для решения вопрос, то, чтобы предупредить его, Ливенцев добавил:

— Кстати, моя фамилия — Ливенцев, а ваша?

— Обидин... Прапорщик Обидин, — торопливо ответил белокурый.

— А в какой же, между прочим, полк вы назначены, прапорщик Обидин? — спросил Ливенцев, так как на защитного цвета погоне Обидина была только звездочка, но не было никаких цифр.

И Обидин назвал как раз тот самый полк, в который был назначен и Ливенцев.

— Вот ка-ак! — удивленно протянул он. — Так мы с

вами, не желающие умирать, однополчане, значит? Такие-то бывают счастливые совпадения субстанций!

Но если Ливенцев несколько удивился, то Обидин не притворно обрадовался такому совпадению и весь так и лучился изнутри, когда говорил не совсем складно:

— Это замечательно, послушайте! Это прямо, я даже не понимаю, как... Ведь вас, конечно, ротным командиром назначат... Возьмите меня к себе в полуротные! Ей-богу, право, возьмите!

— Погодите просить, что вы! Вам тоже роту дадут, — за этим дело не станет.

— Ну куда же мне так вот сразу и роту, что вы! — отмахнулся обеими руками Обидин. — Да я и командовать не сумею. Там каждый рядовой больше знает, чем я, только что из школы, а уж об унтерах и говорить нечего!

— Вот унтера и фельдфебель вас и обучат фронтовой мудрости... А что это такое там, позвольте-ка? Погляди-те-ка сюда!

Внимание Ливенцева привлекло стадо волор, которое показалось невдали от станции, когда двинулся поезд с орудиями, прикрытыми брезентом.

— Что там такое? Волы? — спросил Обидин.

— Волы-то волы, да в каком виде! По ним можно, не снимая с них шкур, изучать скелет! Посмотрите, — они просто падают один на другого!

— Это для фронта?

— Разумеется, для фронта, но куда же они годятся? Да они и не дойдут до фронта, подохнут дорогой!

Как раз в это время подошел к ним интендант, доставший в буфете что-то, завернутое в газету, и подхватил последние слова Ливенцева.

— Вы бы спросили, сколько поддыхает от бескормицы вообще в этих «гуртах скота», я бы вам сказал довольно точно. В среднем из трех два. — это какой процент будет?

— Шестьдесят шесть! Неужели все-таки шестьдесят шесть процентов, и вы, интенданты, это терпите? — возмутился Ливенцев.

Но интендант ответил довольно невозмутимо:

— Не мы, не мы — на нас прошу не валить! Мы это гиблое дело передали уполномоченным министерства земледелия, и теперь уж они этим ведают, а мы в стороне. Вы себе представить не можете, сколько скотов оказы-

вается у нас, чуть только их приставят к такому хлебно-му занятию, как доставка гуртов скота! Ведь они мало того, что кормовые деньги себе в карманы кладут, они еще по дороге меняют порядочную скотину на полудохлую, — зарятся на додачу! Уверяю вас, что казне было бы выгоднее кормить солдат сибирскими рябчиками, чем мясом!..

— Слыхали? — обратился к Обидину Ливенцев, но тот был вообще заметно смущен тем, что услышал, и спросил интенданта:

— А сколько, господин полковник, съедает таких волов фронт в день?

— Смотря, какой фронт... Наш, Юго-Западный, я знаю, съедает вместе со своими тыловыми частями семнадцать с половиной тысяч голов в неделю, но это имея в виду, что по средам и пятницам он постится, и тогда в котел идет кета или другая рыба. А в общем, конечно, стихийное бедствие, и если в этом году война не кончится, то в будущем именно гуртовщики ее и кончат: на голодное брюхо много не навоюешь!

Сказал и отошел улыбаясь, осторожно держа что-то, за-вернутое в газету, а подошедший с запада санитарный поезд закрыл тощее стадо качающихся на ходу, совершенно фантастичных, особенно в такой яркий день, животных. необычайно длиннорогих от худобы, с резкими бликами на всех позвонках и с густыми тенями во всех впадинах хлипких тел. Масти они были серой, но издали казались голубыми.

К санитарному поезду, шелестя шелком черного платья, прошла по перрону мимо Ливенцева какая-то молодая женщина, показавшаяся ему знакомой: где-то видел и этот взгляд, и эти высокие полукружия бровей, и постанов головы на ровной белой открытой шее, и даже эту четкую походку.

Он следил за нею, когда она шла к последнему вагону прибывшего с запада поезда, и был очень удивлен, увидев какого-то рыжеусого унтер-офицера, спрыгнувшего с подножек этого вагона и расцеловавшегося с дамой, как с родною. Но еще больше удивило его, что следом за этим унтером вышел из вагона и тоже спрыгнул другой унтер, — бородатый, осанистый. — один из взводных командиров его бывшей роты — Старосила.

И, несмотря на то, что он не захотел возвращаться в прежний полк и выхлопотал себе перевод даже и в другую дивизию, он обрадованно крикнул, сделав рупором руки:

— Старосила!

Тот присмотрелся и тут же, одернув гимнастерку и поправив фуражку, пошел к Ливенцеву, только успевшему сказать прапорщику Обидину:

— Это — мой боевой товарищ!

— Ваше благородие, честь имею явиться! — казенными словами приветствовал его Старосила, сияя запавшими серыми глазами, но Ливенцев обнял его и ткнулся лицом в его бороду, точно желая показать даме, которая в это время на него смотрела, что у него тоже есть родной — унтер.

— Очень рад я, братец, что ты жив, очень! — вполне искренно говорил Ливенцев, любуясь бородачом.

— Так же и я само, ваше благородие! Аж точно солнышко мне в глаза вдарило, как вас увидел! — вполне искренно и с дрожью в голосе отозвался Старосила.

— А как же ты сюда попал? По какому случаю?

— Да случай, как бы сказать, непредвиденный, ваше благородие, — понизил голос Старосила, слегка качнув головою назад, на вагон. — Тело сопровождать был назначен.

— Тело? Чье тело?

— Так что, подполковника Добычина, — еще больше понизил голос Старосила и закончил почти шопотом: — А этот со мной — полковой каптенармус Макухин, он приходился ему зять, покойнику, а эта с ним стоит сейчас — его дочка, ваше благородие.

— Вот ка-ак!

Ливенцев сделал несколько шагов по перрону, чтобы можно было говорить громче, и спросил, хотя не питал никакого расположения к Добычину во время службы с ним в одном полку:

— Как же все-таки он был убит, — при каких обстоятельствах?

— Обстоятельства такие, ваше благородие... бандировка была, — и найдись осколок на ихнюю голову, — в один раз упали — и неживые, — объяснил Старосила и добавил: — Я только до этой станции должен, а дальше не знаю уж, как: везти ли его будут на ихнюю родину или

здесь где похоронят... Унтер-офицер этот, казтенармус, Макухин, он, говорили так, из богатых людей,— вполне может и дальше ехать,— ему что! И даже гроб он достал не простой, а цинковый.

— Это был наш заведующий хозяйством — подполковник Добычин,— обратился к Обидину Ливенцев, а Старосила сказал:

— Вот рады будут все в нашей роте, как вы ее опять примете, ваше благородие!

— Ну вот, рады, что ты, брат,— не все ли равно, что я, что другой?

— Как можно, ваше благородие! Разве наша солдатня, она хотя бы какая ни на есть, не понимает? — и Старосила почему-то поглядел при этом на Обидина и добавил: — Не в нашу ли роту и вы тоже будете?

— Нет, я в другой полк,— ответил, улыбнувшись, Обидин.

— Я тоже в другой полк,— его же словами ответил Старосила и Ливенцев.

— Шуткуете? — оторопел Старосила.

— Ничуть. Вполне серьезно! Даже в другую дивизию.

И, видя, что Старосила вполне непритворно опечален, хлопнул его по плечу, объясняя:

— С начальством ничего не поделаешь,— взяло и назначило в другую дивизию: там я оказался нужнее... Прощай, брат Старосила! Мне надо идти в свой вагон,— торопливо сказал он вдруг, обнял его так же, как и при встрече, и пошел, едва взглянув в сторону дочери Добычина и ее мужа — Макухина.

— Вот не думал, что такая сидит во мне привычка к своей роте,— извиняющимся тоном обратился он к Обидину. — Великое дело оказались скопы, в которых вместе торчали, которые и заняли вместе с бою... А этот Старосила, он был толковый взводный, если бы в новом полку были у меня хоть немного похожие, стал бы я, как говорится, кум королю и сват Гаврику.

Обидин поглядел на него испытующе и спросил осторожно:

— То есть, толковый он был взводный в смысле защиты или как-нибудь еще?

— И защиты и атаки тоже, а как же иначе? — немного удивился и тону и смыслу этого вопроса Ливенцев.

Кругом снова толпа военных всяких рангов — шумная и однообразная, лишь кое-где расцвеченная белыми халатами сестер милосердия и их яркими красными крестами. Сестры были из санитарного поезда — дома скорби на колесах.

Оттуда и туда резво бежали засидевшиеся санитары с чайниками. Там в одном из вагонов кто-то громко воююще стонал с небольшими перерывами; в то же время два военных врача, шинели внакидку, медленно прогуливались в теки около другого вагона.

По платформе тяжело двигались тележки с ящиками из новеньких веселых досок и фанеры, на которых что-то было написано, наляпано черной краской. То и дело слышались рабочие крики: «Посторонитесь!.. Дайте ходу!.. Поберегись, эй!»

Весна и тепло между тем заставляли многих забывать о том, что отсюда же не очень далеко до фронта, где очень часто режут пушки и стрекочут пулеметы. То там, то здесь вспыхивал залистый женский смех, заботливо подкручивались усы, молодежато выпячивались груди, кое у кого украшенные белыми крестиками.

Но исподволь во все звуки вокзала, покрывая их, врывался сверху жужжащий однообразный, ровный гул, и когда он заставил всех поднять головы кверху, слышались крики:

— Аэроплан!

— Немецкий!

— Почему же немецкий? Может быть, и наш!

— А зачем здесь наш?

— Немецкий! Вот увидите!

— Сейчас начнет бросать бомбы!

— Да что вы говорите!

— Говорю, что надо! А другого не видно?

— Кажется, нигде не видно...

Шеи всех вытягивались, наблюдая за полетом вражеского самолета, и в то же время все пятились назад, готовясь куда-то и как-то скрыться от губительной бомбы, которая, казалось, вот-вот полетит вниз на станционное здание или на перрон, или на какой-либо из поездов, стоящих на путях в ожидании отправки.

Воздушная машина кружилась над станцией замедленно и довольно низко. Ни у кого уж не оставалось сомне-

ния в том, что она немецкая. Спрашивали один другого: неужели здесь нет орудий, чтобы сбить разбойника? Да-мы сочли самым надежным укрытием зал первого класса и кинулись туда толпой...

Тревога оказалась напрасной,— аэроплан потянул к западу и наконец скрылся из глаз.

— Сфотографировал немец станцию и ушел,— сказал Ливенцев подошедшему к нему капитану-артиллеристу,— а бомб не бросал, хотя и мог бы.

— Вообще ведь они только приличия ради пишут о своем весеннем наступлении на нас от моря до моря, а на самом деле задирать нас желания пока не имеют,— отозвался капитан.

— Почему же все-таки не имеют желания? — с живейшим интересом спросил Обидин.

— Ну, известно уж почему! — усмехнулся капитан. — О сепаратном мире с нами ведутся переговоры. Александра Федоровна вкупе с Распутиным стараются изо всех сил.

— Я даже слышал мельком,— вставил Ливенцев,— будто Распутин по пьяной лавочке говорил одному адвокату: «Если мы в марте не подпишем с немцами мира,— наплюй мне тогда в рожу!..» Адвокат этот распускал такой слух в феврале...

— А март уже прошел... — перебил его капитан.

— Отсюда следует, что был бы теперь под рукой у адвоката Распутин, а наплевать ему в косматую рожу он уже имел право,— закончил Ливенцев.

— Зато Россия-то ведь не имеет права на сепаратный мир,— как же может она его заключить? — не совсем смело, однако с затаенной надеждой на желательный ответ спросил его Обидин, и Ливенцев оправдал его надежду.

— Э-э,— сказал он,— «не имеет права»!.. Право мы носим на концах наших штыков... за неимением у нас более выразительных средств войны. Дело не в том совсем, имеем или не имеем мы право заключать мир, а выгодно ли это для нас или не выгодно. Мы можем заключить мир, даже, пожалуй, получить и какую-нибудь прирезку территории по этому миру, но зато мы развяжем руки Вильгельму, и он всеми своими силами обрушится на Запад и его раздавит... А когда он сделает это, то что ему помешает, несмотря на мир с нами, послать против нас.

демобилизованных, все армии свои с Запада? Это и будет *divide et impera!*— разделяй и властвуй.

— Так что, по-вашему, выходит — выбора у нас нет, продолжать эту бойню мы должны? — с тоскою в голосе спросил Обидин.

— Да, выбора нет, должны, — его же словами, но твердо ответил Ливенцев.

— Тогда что же... тогда... не о чем и говорить больше... Остается одно — помирать, — пробормотал Обидин.

Ливенцеву, видимо, стало жаль его. Он положил руки ему на плечо и сказал, улыбаясь:

— Помереть мы с вами всегда успеем, но сначала надо попробовать кое-что путное сделать.

— А что же именно «путное»?

— Да, в самом деле, что вы называете «путным»? — почти одновременно спросил и капитан.

— Ну, уж, разумеется, не сдачу в плен, — уклончиво ответил Ливенцев.

Между тем в это время санитарный поезд, после свистков, дерганья и лязга, отодвинули куда-то дальше, в тупик, и на его место мягко подкатил, попыхивая локомотивом, щегольской, совсем небольшой поезд, всего в три вагона.

— Это что же такое за поезд? — спросил теперь уже Ливенцев капитана.

А тот вместо ответа кивнул в сторону парадных дверей вокзала, откуда поспешно выходили один за другим два генерала, оказавшиеся тут и направлявшиеся к поезду. Заметны также стали теперь и жандармы, а толпа как-то вдруг поредела.

Инженерный поручик вместе со штабс-ротмистром кавказцем подошли откуда-то к группе Ливенцева, и первый из них сказал:

— Главнокомандующий Юго-Западного фронта Брусилов катит экстренным поездом.

А второй добавил:

— По всей вероятности, едет в ставку, представляется царю.

— Неужели не выйдет промяться? — спросил Ливенцев. — Посмотреть хотя бы издали на вершителя наших ближайших судеб.

— Вы разве его никогда не видели? — удивился артиллерист.

— Не приходилось.

— Генерал, как генерал.. Точнее, как старый генерал, — ведь он уже далеко не молод.

— Фигура не строевая, — с сильным ударением на «не» сказал кавказец. — Я его тоже несколько раз видел. А на лошади держится хорошо.

— Еще бы плохо! Кавалерист, бывший берейтор, — несколько презрительно заметил поручик. — А роль кавалерии в этой войне оказалась скромной.

Кавказец не возражал против этого, тем более, что его внимание, как и всех прочих, привлекли генералы, тяжело взбирающиеся в элегантный синий салон-вагон.

Шторы окошек этого вагона были полуприкрыты. Около вагона стали два жандармских офицера. Наконец жандармский поручик в белых перчатках подошел к ним, пятерым, устремившим любопытные взоры на таинственный вагон Брусилова, и очень вежливо, однако твердо попросил их не стоять на месте, а прогуляться в ту или иную сторону, куда им нужнее. Кстати он спросил, каким поездом и куда они едут. И, когда ему за всех ответил капитан, он даже встревожился:

— Так что же вы, господа! Вам тогда надо идти садиться в свой поезд: он двинется, как только этот поезд пройдет.

— А этот поезд куда идет, — в ставку? — спросил Ливенцев.

— Быть может, — неопределенно ответил жандарм, делая при этом рукой жест в ту сторону, где стоял на путях их поезд.

— А ставка теперь где? В Могилеве? — двинувшись первым, спросил было Ливенцев, но жандарм отозвался на это уже совсем неприязненно и сухо:

— Не могу знать.

Ставка была в Могилеве, и это было известно всем на фронте, всем в тылу, всем в Германии, всем в Австро-Венгрии, и, тем не менее, вслух об этом говорить не полагалось.

Когда Ливенцев подходил уже к своему вагону, он посмотрел все-таки в сторону таинственного, так тщательно охраняемого небольшого состава и увидел то, чего не уда-

лось ему увидеть с перрона: генерал Брусилов действительно, как и предполагал он, вышел промяться.

Ливенцев узнал его по тем портретам, какие помещались в газетах и еженедельниках. Какой-то длинный, лодочкой вытянутый вперед козырек фуражки, а под ним овальное лицо с небольшими седоватыми, однако не совсем еще белыми усами.

Ничего показного, того, что называется бравым и так дорого сердцам всех любителей парадов, не было ни в лице, насколько его можно было разглядеть издали, ни в фигуре главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Средний рост, несильные, обвисшие стариковские плечи, заметная сутуловатость, — вот и все, что метнулось в глаза Ливенцева, пока генералы, вышедшие вместе с Брусиловым из вагона и явившиеся к нему с рапортами отсюда, со станции, не заслонили его.

Видно было, что он говорил что-то, но, должно быть, очень тихо, так как все около него тянулись к нему, чтобы расслышать.

Беседа на свежем воздухе продолжалась, впрочем, недолго. Брусилов, очевидно, спешил, а путь для следования его поезда был свободен. Ливенцев с любопытством наблюдал, как он будет подниматься по ступенькам вагонной лестницы, — не будут ли ему помогать при этом, — но поднялся он бодро, не коснувшись ничего руками, и эта маленькая подробность расположила Ливенцева в пользу Брусилова больше, чем если бы он прочитал о нем большую хвалебную статью.

— Когда я только что в начале войны, — сказал он, сидя уже в своем купе, — приехал в ополченскую дружину, куда был назначен, мне предлагали там адъютантство, но я отказался, — предпочел строевую службу. Однако если бы теперь мне предложили стать не то чтобы адъютантом, конечно, а ординарцем или вообще каким-нибудь винтиком в штабе главнокомандующего Юго-Западного фронта, я бы согласился.

— Ишь вы какой!.. Всякий бы согласился, поскольку в штабе сидеть гораздо спокойнее, чем в окопах, — иронически заметил на это подполковник-интендант.

Но Ливенцев покачал головой, усмехнувшись, и добавил: — Я вас понял, а вы меня нет. Не в том смысле мне хотелось бы быть при штабе, чтобы увильнуть от пули

и прочего, а исключительно затем, чтобы знать, что задумано главнокомандующим, и чтобы иметь возможность наблюдать, что из задуманного выйдет. Дело в том, что я — математик, и в этом отношении неисправим, а ведь математики только и делают, что решают задачи, — то есть на основании известных данных отыскивают неизвестные.

— Что же, напишите Брусилову докладную записку и проситесь к нему в штаб, — сказал кавказец.

Но подполковник ядовито заметил:

— Разве можно в штаб попасть прапорщику да еще и без протекции? Что вы!

— Да я никаких шагов в этом направлении и делать не буду, конечно, — сказал Ливенцев. — Это у меня вырвалось просто в порядке минутного желания, и только.

Плавнo покачиваясь, прошел мимо их поезда штабной поезд, и Ливенцев, высунув голову в окошко, долго глядел ему вслед.

— Что? Насмотрелись? — улыбаясь, спросил его Обидин, когда он наконец уселся на свое место.

— Насмотрелся, — в тон ему ответил Ливенцев. — А теперь посмотрим, что из этого путешествия Брусилова в Мекку может выйти.

Человек в красной фуражке, торчавший на перроне, дал знак. Засвистал старый, с оплывшим багровым лицом обер-кондуктор. Машинист дернул поезд так, что слетела на пол стоявшая на столике бутылка с недопитой фруктовой водой. Второй толчок был еще сильнее, — чуть не слетели чемоданы с полок. Наконец, после третьего рывка, поезд тронулся. Подбирая осколки разбитой бутылки, чтобы выкинуть их за окно, поручик-инженер подкинул Ливенцеву и сказал многозначительно:

— Начало мы уже видим!



ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ



1

кстренный поезд, в котором ехал Брусилов, направлялся не в ставку верховного главнокомандующего, то есть царя, а в Бердичев, где была ставка главкоюза генерал-адъютанта Иванова.

Положение создалось такое, что Брусилов хотя и назначен был на место Иванова, но тот не сдавал ему фронта около двух недель.

Крестный отец маленького наследника, великого князя Алексея, имел слишком сильную руку при дворе в лице императрицы Александры Федоровны и старого наперсника царя — министра императорского двора, графа Фредерикса. Шли интриги. Иванова обнадеживали, что приказ царя о его смещении еще не окончательный, что он вырван у слабозольного главковерха настояниями союзников, но совершенно нежелателен «святому старцу» — Распутину. Привыкший менять по своему капризу министров, создавший «министерскую чехарду» в России, «старец» полагал, что то же самое можно делать и с главнокомандующими, тем более, с такими, которые проявляли строптивый воинственный дух, когда он плел уже закулисную паутину сепаратного мира с Германией и ее союзниками. Иванов был вполне хорош для этих целей. — он считал войну

Безнадежно проигранной. — Брусилов же мог повести себя совершенно нежелательно: при дворе известно было, что восьмая армия, которой командовал перед новым назначением Брусилов, считалась на фронте наиболее боеспособной.

О Куропаткине, главнокомандующем Северо-Западным фронтом, не могло быть двух мнений: он полностью проявил себя в Манчжурии, поэтому ни императрицу, ни Распутина не беспокоил и теперь. Генерал Эверт, главнокомандующий Западным фронтом, был тоже испытан как в Манчжурии, так и теперь. Наступление, которое он провел на своем фронте в первой половине марта, обошлось в девяносто тысяч человек и не дало никаких результатов. Много погибло от весенней распутицы, так как фронт обратился в сплошное болото, разливавшееся днем и замерзавшее ночью. По обыкновению, нехватило ни снарядов, ни сколько-нибудь способных генералов, чтобы наступать на сильно укрепленные позиции немцев.

В то же время никаких попыток к наступлению не делали ни немцы, ни австрийцы: первые увязли под Верденом, где перемалывали французские дивизии, но несли и сами огромные потери, вторые — на итальянском фронте, в Тироле, где дела их были весьма успешны. Момент для заключения сепаратного мира казался там, во дворце в Петербурге, наиболее благоприятным, но Румыния, которая считалась лестной союзницей, если бы решила наконец присоединиться к Антанте, вела себя выжидательно: покупала в России тысячи лошадей для своей кавалерии, продавала Германии миллионы тонн кукурузы для ее скота, о чем немецкие газеты писали как о крупнейшей победе.

Нужен был шумный разворот сил, нужен был блеск и гром наступления, и об этом-то наступлении, необходимом и для Франции, и для Италии, и для Румынии, усиленно думал начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Алексеев, человек большой трудоспособности и со всем не царедворец.

Им был уже подготовлен обширный доклад, которым нужно было начать совещание главнокомандующих в ставке под председательством царя, и подходил уже день, назначенный для этого совещания. — 1 апреля, — между тем Брусилов еще не принял фронта.

Столкнулись две русских власти того времени — царя и Распутина. Царь через Алексеева требовал, чтобы Брусилов как можно скорее приехал в Бердичев принять должность генерала Иванова, а министр императорского двора Фредерикс сообщил Иванову, что ему пока нечего спешить сдавать должность и уезжать из Бердичева, почему Иванов и отклонял всячески приезд Брусилова.

Только категорическая телеграмма Алексеева, что царь 25 марта будет в Каменец-Подольске, где его должен встретить новый главнокомандующий Юго-Западным фронтом, заставила Брусилова поверить наконец, что его назначение остается в силе, и выехать в Бердичев, тем более, что от Иванова тоже была получена телеграмма, что он его ждет.

Генерал Иванов был главнокомандующим Юго-Западным фронтом с начала войны, и Брусилов, командуя одной из четырех армий этого фронта, являлся его подчиненным. Теперь обстоятельства очень резко изменились: бывший подчиненный как бы сталкивал с места начальника.

Неудобство своего нового положения Брусилов чувствовал очень остро. Он знал, насколько был самоуверен, глубоко убежден в своих достоинствах, в своей независимости Иванов, и представлял поэтому с возможной яркостью, как тяжело он переживает свое назначение в государственный совет, то есть на покой.

Однако оказалось, что он не в состоянии был даже приблизительно представить, как состарил этого бравого еще на вид старика отставка, хотя и одобренная «всемилодивейшим рескриптом с собственноручной надписью Николая».

Иванов жил не в городе, а в поезде, в своем вагоне. Вечером, в день приезда Брусилова, он принял своего заместителя один-на-один, в купе, освещенном только настольной лампочкой под желтым шелковым абажуром.

Первое, что бросилось в глаза Брусилору в этом осанистом бородатом старике с простонародным лицом, — были слезы. От желтизны абажура они блестели, как жидкое золото. Первое, что он услышал от него, были два сдавленных слова: «За что?»

Так мог бы сказать в семейной сцене кто-либо из супругов и скорее жена, чем муж, так мог бы сказать

друг своему старому другу, уличив его в гнусном предательстве, угрожающем смертью, так мог бы сказать, наконец, отец своему любимому сыну, на которого он затратил все свои средства и силы и который сознательно подло его опозорил.

Но между двумя главнокомандующими — старым и новым — никогда не было никаких отношений, кроме чисто служебных, и они очень редко виделись за время войны и только за год до войны познакомились друг с другом.

— Что «за что?» — озадаченно спросил Брусилов, сам понимая всю нелепость этого своего вопроса, но в то же время не подыскав другого.

Он пытался понять это «за что?», как «за что вы под меня подкопались и меня свалили?», но тут же отказался от подобной догадки: Иванову было, конечно, известно, что его подчиненный никогда не был в ставке и ни доносами, ни искательством не занимался. Да и сам Иванов, который был и выше ростом и плотнее Брусилова, положил обе руки на его плечи и приблизил свою мокрую бороду к его лицу, как бы затем, чтобы у него найти сочувствие, если не защиту.

Впрочем, он тут же сел, обессиленный, и... зарыдал, — зарыдал самозабвенно, весь содрогаясь при этом, как будто его заместитель только затем и спешил сюда с фронга, чтобы увидеть его рыдающим, как может рыдать только ребенок, как полагается рыдать над телом близкого человека.

Брусилов с минуту стоял изумленный, потом тоже сел, но не рядом с рыдальцем, а напротив, пряча глаза в тень от вежущего их сквозь желтый абажур света.

— И вот... и вот итог... всей моей службы... на слом! — бормотал, затихая, Иванов.

— Почему «на слом», Николай Иудович? — принялся утешать его Брусилов. — Мне сказали, что вас назначили не в государственный совет, а состоять при особе государя.

— Состоять... в качестве кого?.. Бездельника?.. Как Воейков? — опустив лобатую голову на руку, лежавшую на столе, хрипавато спрашивал Иванов.

Брусилов знал, что дворцовый комендант генерал Воейков, обыкновенно сопровождавший царя во всех его поездках, действительно бездельник, и если когда-то раньше

он мог развлекать Николая анекдотами, то теперь в этом смысле окончательно выдохся и занят только рекламой какой-то, якобы целебной, минеральной воды, найденной в его имении «Кувака», почему один остроумный депутат государственной думы назвал его «генералом от кувакарии». Но в то же время Брусилову был совершенно неприятен такой припадок слабости в недавнем еще руководителе нескольких сот тысяч человек на фронте, а кроме того, генерал-губернаторе двух военных округов — Киевского и Одесского, в которые входило ни мало, ни много как двенадцать губерний; поэтому он сказал:

— Повидимому, причиной перемены вашего служебного положения, Николай Иудович, послужили ваши жалобы на усталость.

— Жалобы на усталость? Только это? — возразил, поныряв голову, Иванов. — А вы разве не устали почти за два года войны?.. Кому из нас не хотелось бы отдохнуть, скажите?.. Однако отдых — это... это только временный отпуск... а совсем не отставка!

Он достал платок, как-то очень крепко надавил на носкомканным, на один глаз и на другой, провел по щекам полузаросшим бородою, по бороде и ждал, что скажет Брусилов, ждал с видимым интересом и даже нетерпеливостью.

— Если не эти ваши жалобы причина, то я теряюсь в догадках, — сказал наконец вполне искренно Брусилов, и Иванов подхватил живо и даже зло:

— Теряетесь в догадках?.. А разгадка очень простая!.. Разгадка эта — ваше поведение, Алексей Александрович!

— Мое поведение? — удивился и даже слегка приподнялся на месте от удивления Брусилов. — В каком смысле я должен это понять?.. Я против вас никому не говорил ни слова.

— Нет, именно против меня... говорили! — тихо, но упрямо сказал Иванов.

— Когда же, кому и что именно? — еще больше удивился Брусилов.

— Разве вы не говорили, что можете наступать?

— Ах, вот что-о! — протянул облегченно Брусилов, сел на диване плотно. — Да, это я говорил, потому что так именно думал. И сейчас я то же самое думаю.

— Может быть... Все возможно... Может быть, вы бы

лы уверены в своей восьмой армии. А в седьмой? А в девятой? А в одиннадцатой?.. Ведь у меня перед глазами был весь фронт, а не одна ваша армия! Весь фронт... как теперь вот он будет перед вами. Генерал Лечицкий болен крупозным воспалением легких, — едва ли выживет, — с кем же будет вести наступление его девятая армия?

— Я по приезде сюда узнал уже, что болен Лечицкий, — ответил Брусилов. — Очень огорчен этим, конечно, но думаю, что временно его мог бы заменить генерал Крымов.

— Крымов?.. Он ведь моложе по производству другого корпусного командира в той же девятой армии! — возразил с живейшим интересом к этому вопросу Иванов, так что Брусилов даже слегка улыбнулся, когда сказал на это:

— Совершенно неважно, кто из них старше, кто моложе!

Улыбка была слабая, еле заметная, но Иванов был ею уколот в больное место, и в тоне его появилась горячность, когда он заговорил, теперь уже более плавно:

— Нет, как хотите, а наступать мы все-таки не можем! Живое доказательство этому — наступление Западного фронта, которое провалилось. А кто же, как не я, предсказывал этот провал? Я говорил об этом Алексееву, я предостерегал от этого шага его величество! Однако меня не послушали, и вот — поплатились за это жестоко!.. Так что же вы, Алексей Алексеевич, хотите повторить неудачу генерала Эверта?

— Напротив, Николай Иудович, совершенно напротив. Я уверен в полной удаче! — всячески стараясь сдерживаться, не слишком тревожить так тяжело раненного отставкой и в то же время не противоречить и себе самому, ответил Брусилов, но этой уверенностью только разбередил рану.

Трудно было и представить, конечно, чтобы так в корне не согласны между собой были два главнокомандующих — старый и новый, казалось бы, одинаково хорошо знавшие свой фронт. Но Иванов говорил, признавая только за собой знание всего фронта:

— Вы уверены в удаче, но какие же основания для этого имеете, — вот вопрос!.. Вы получаете девятую армию — и что же? Лечицкий безнадежно болен, а Крымов... ошибетесь вы в Крымове, ошибетесь, я вас предупреждаю!..

Нет у нас генералов!.. Вы получаете седьмую армию во главе с генералом Щербачевым, а что такое оказался этот Щербачев? Были и у меня на него надежды, когда он прибыл ко мне на фронт.... Вот, думал я, не кто-нибудь, а сам начальник генерального штаба, и не из старых теоретиков, а из молодых, из протестантов против рутины. — заставил ведь опыт японской кампании изучать, а не поход Аннибала на Рим.. Мне, участнику японской кампании, это говорило, конечно, много.. Молодой еще сравнительно с другими, не ожиревший, а скорее даже к чахотке склонный, и государь к нему был так расположен, и все прочее, — а что же вышло на деле, а? Что вышло из его наступления, я вас спрашиваю?

— Вышел конфуз, разумеется, но я думаю, что он зато приобрел опыт, — спокойно сказал Брусилов, тщательно взвешивая слова. — Как теоретик, он, конечно, сильнее очень многих, но вот опыта в современном ведении боя ему нехватало. Этот пробел его теперь, я полагаю, заполнен.

Говоря, это, Брусилов представлял и высокого, действительно плохо упитанного Щербачева, присланного из Петербурга командовать сразу целой армией «особого назначения», названной потом седьмой, и неудачное наступление на Буковину, которое он вел в декабре и которое обошлось почти в пятьдесят тысяч человек, но не дало никаких результатов.

— Вы полагаете. — иронически произнес Иванов. — А вот я слышал, что генерал Клембовский, ваш же теперь начальник штаба, отказался принять бывшую вашу восьмую армию. Почему это, а?

— Он говорит, что не имеет военного счастья.

— Вот видите, видите, чего не имеет? — Военного счастья!.. А почему вы уверены, что Щербачев или, скажет Сахаров, командующий вашей одиннадцатой армией, это военное счастье имеют, хотел бы я знать?

— Да ведь в конце-то концов, имеют или не имеют они военное счастье, они будут исполнять мои приказания. Николай Иудович, я и буду нести главную ответственность за неудачу, в случае она нас постигнет... Наконец роль армий Юго-Западного фронта будет, насколько меня известил Алексеев, только подсобная, а главные роли будут

в руках Эверта и Куропаткина, — сказал Брусилов уверенным тоном, но Иванов очень живо возразил:

— О, нет, нет!.. Я весьма сомневаюсь, весьма сомневаюсь!.. Эверт и Куропаткин, — они не так... самонадеяны, чтобы брать на себя главные роли!

— Если им прикажет государь, то возьмут, конечно, — примирительно, не повышая голоса, отозвался Брусилов.

Он считал жестоким спорить с разбитым нравственно стариком, который худо ли, хорошо ли все-таки двадцать месяцев без отдыха работал на фронте. Другой подобный старый генерал от кавалерии фон-Плеве, командовавший Северо-Западным фронтом, не выдержал и несколько месяцев, заболел нервным расстройством, и были слухи, что он теперь лежит при смерти в одной из лечебниц Петрограда.

Дальше разговор велся уже более вяло — заметив, что Брусилов отвечает ему неохотно, Иванов стал делать большие паузы и вздыхать, а когда один из его адъютантов явился доложить, что в салон-вагоне рядом приготовлен ужин, поднялся с места с неменьшим облегчением, чем и Брусилов.

Свита Иванова почтительно выстроилась перед новым главнокомандующим для представления ему. Каждый в ней, от генерала до обер-офицера, был озабочен мыслью, оставит ли его Брусилов или отчислит от штаба. Чтобы никого не огорчить, Брусилов счел нужным тут же заявить, что он не намерен никого из них заменять какими бы то ни было «своими» людьми, которые были бы новыми на новом для них месте, поэтому мало пригодными для дела.

Ему не хотелось, чтобы первое знакомство со своим штабом прошло натянуто, он хотел видеть живых, непринужденно беседующих с ним помощников, но Иванов как бы оледенил всех полной молчаливостью и крайне насупленным видом.

Брусилов с трудом досидел до конца и ушел в свой поезд, поставленный рядом с поездом Иванова.

»

Обыкновенно Брусилов, втянувшийся уже за двадцать месяцев войны в боевую обстановку, и засыпал и вставал в одни и те же часы. Иначе было нельзя: сложная обста-

новка войны требовала от командующего армией большой мозговой работы, которую можно было вести только с ясной головой. Бывали дни, когда приходилось прочитывать тысячи телеграмм, и телеграммы эти присылались для того, чтобы дасть по ним то или иное заключение. Строгий режим в распорядке суток диктовался необходимостью: ни одна минута не могла, не имела права пропасть праздно; поэтому вошло в привычку засыпать тут же, как можно было для этого лечь.

Однако здесь, на путях станции Бердичев, Брусилов долго не мог заснуть: рыдающий, как ребенок, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, член государственного совета, «состоящий при особе его императорского величества», Николай Иудович Иванов неотступно стоял перед глазами.

Как можно сурово судить человека, способного так рыдать? Этот вопрос решал и не мог решить Брусилов. Не обладает военными талантами, необходимыми для такой во всех отношениях новой войны, однако несомненно честен, если даже и заблуждается в главном, что русские не в состоянии наступать... Не изменник, как бывший военный министр Сухомлинов, не беспечен в отношении судеб своей родины и оскорблен до глубины души только тем, что отставлен, чем иной генерал в его положении был бы только обрадован, пожалуй: сам царь дает возможность умыть руки ввиду поражения России, которое, по мнению многих, было неизбежно.

И поднимался другой вопрос: «А что же я, занявший место отставленного? Не слишком ли самонадеян, что было бы непростительно в таком почтенном возрасте, как шестьдесят два года с лишним, не слишком ли мало сведущ в общем положении как фронта, так и тыла? Ведь только теперь он должен был как следует познакомиться не только с генералами Щербачевым, Сахаровым, Лечицким, если он не умрет, но и с командирами корпусов их армий, и с состоянием их позиций, и со снабжением, как оно у них налажено, и с состоянием всех двенадцати губерний; входящих в Киевский и Одесский военные округа.

Перед войною он был знаком больше с Варшавским округом, во главе которого стоял генерал Скалон, — немец, убежденный в том, что Германия должна была коман-

довать России. Будучи назначен помощником Скалона, Брусилов оказался окруженным немцами — высшими чиновниками Варшавского генерал-губернаторства. Конечно, это были все русские немцы, из прибалтийских, но, тем не менее, часто переходя в разговорах между собою на немецкую речь, они создавали впечатление, будто весь этот выдавшийся на запад округ уже завоеван немцами мирным дипломатическим путем. Впрочем, все эти Тизенгаузены, фон-Минцловы, Грессеры, Утгофы, Тиздели, Эгельстромы и прочие уверяли, что они — подлинные русские патриоты.

С легким сердцем он уехал от этих «патриотов» в Подольскую губернию, в город Винницу, когда был назначен командиром корпуса. Это было ровно за год до войны. Тогда, на маневрах, он впервые познакомился с генералом Ивановым, занимавшим в Киеве такое же положение, каксе было у Скалона в Варшаве.

Даже и трех лет не прошло с того времени, — и какая разительная перемена! Кто бы мог думать тогда, что так будет рыдать теперь этот важного вида бородатый старик, руководивший маневрами в то лето?

Он же руководил и действиями восьмой армии, действиями его, Брусилова, путем телеграмм из довольно глубокого тыла, откуда было мало что видно! На фронте его не видели даже и во время длительного затишья. Распоряжения его всегда являлись или совершенно неосуществимыми, или запоздалыми, или нуждались в таких существенных поправках, которые сводили их на-нет. Чаще всего приходилось командующим армиями обращаться к нему за разрешением занять такую-то позицию, туда-то передвинуть войска, и он разрешал. Но больше всего, конечно, сыпалось к нему просьб о подкреплении, и Брусилов теперь с горечью вспоминал, что именно его просьбы такого рода чаще всего оставались Ивановым без исполнения. «Ничего, — говорил он, — Брусилов как-нибудь вывернется!» Это «как-нибудь» означало, конечно, что понесет большие потери, так как восьмая армия была приучена защищать свои позиции путем наступления на позиции австро-венгров и немцев.

Так было в начале войны, когда она брала Миколаев, Галич, штурмовала Перемышль, так было потом, когда боевые действия велись в Карпатах, в особо трудных ус-

ловиях. Так было и совсем недавно, зимою, когда коротким ударом по хорошо защищенным позициям немцев части его армии взяли город Чарторыйск, разбили наголову 14 германскую дивизию, захватили много пленных и между ними почти целый «полк кронпринца».

Это последнее дело восьмой армии, когда немцы, хотя и не так далеко и в одном только месте, были отброшены на запад, происходило тогда, когда Иванов был занят постройкой нескольких мостов через Днепр и нескольких укрепленных линий в сотни верст длиною, причем первая из них проходила в окрестностях Киева, а прочие были предназначены защищать более отдаленные подступы к нему.

На это тратились Ивановым громадные средства, и он был уверен, что обладает даром предвидения, что все затраты эти необходимы ввиду того, что весною, как немцы об этом и пишут в своих газетах, начнется «колоссальное» наступление их армий на востоке.

Раньше, когда Брусилов слышал об этом, он временами думал, что Иванову издали, может быть, виднее и общая обстановка на фронте и общая картина разрухи в тылу, а его личная самоуверенность происходит исключительно от незнания.

Теперь он видел, что на постройку мостов через Днепр и укреплений около Киева толкали бывшего главнокомандующего фронтом чересчур расстроенные нервы и рыдал он два-три часа назад только потому, что ему не удалось довести до конца того, что он задумал. Так мог бы рыдать и маленький мальчуган, которого нянька взяла подмышки и оттащила от его сооружения из сырого песка.

Однако не мог ведь сказать и он, Брусилов, что армии, стоящие на Юго-Западном фронте, даже теперь, после долгого зимнего отдыха, таковы, как всем бы в России хотелось. Совсем напротив: эти армии по сравнению с теми, какие начинали войну, были очень слабы в смысле людского состава.

Почти совершенно не оставалось уже в них ни кадровых младших офицеров, ни унтер-офицеров, ни солдат. Прибывавшие на фронт пополнения приходилось учить всему, начиная со стрельбы из винтовок. Для снабжения частей унтер-офицерами пришлось ввести во всех полках учебные команды. Наконец, очень энергично пришлось бо-

роться и с пораженчеством, так как случалось, что во время сражения кто-нибудь из солдат начинал вдруг кричать: «Что же это, братцы, на убой. что ли, нас сюда пригнали? Давай сдаваться!» — и целые роты, а иногда и батальоны нанизывали белые платки на свои штыки и шли в плен.

Он припомнил свой же приказ по восьмой армии в июне 15-го года, когда русские войска откатывались на восток под нажимом войск Макензена, прорвавшего жидаевский фронт третьей армии на Карпатах:

«Пора остановиться и посчитаться наконец с врагом как следует, совершенно забыв жалкие слова о могуществе неприятельской артиллерии, превосходстве сил, неутомимости, непобедимости и тому подобное, а потому приказываю: для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пушечный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом... Глубоко убежден — писал он дальше в том же приказе, — что восьмая армия, в течение первых восьми месяцев войны прославившаяся несокрушимой стойкостью, не допустит померкнуть заслуженной ей столь тяжкими трудами и пролитой кровью боевой славы и прилжет все усилия, чтобы победить врага, который более нашего утомлен и ряды которого очень ослабли. Слабодушным же нет места между нами, и они должны быть истреблены!»

Восьмая армия первой на всем Юго-Западном фронте остановилась тогда и остановила натиск немцев, что дало возможность оповестить и другим армиям.

Сравнение себя самого с рыдающим — потому что «оставлен при особе государя» — Изанским заставило Брусилова вспомнить и то, как он, первый во всей вообще армии, доброжелательно отнесся к действиям у себя организаций городского и земского союза.

Он отлично знал, что эти организации едва терпят царя, делая только необходимую уступку общественности, выступившей на помощь фронту; он знал и то, как стремятся дуть в дудку царя другие командующие армиями и всячески пытаются выказывать им свое нерасположение.

Он же лично исходил из того, что войну ведет не только армия, а вся Россия в целом.

Так ли думал царь, которого он должен был встречать через два дня в Каменец-Подольске, и, вообще, что он думал, — этот вопрос тоже долго не давал заснуть Брусилову, и забылся он только под утро.

3

На другой день он знакомился с делами штаба, а также и со всеми своими новыми сотрудниками — генералами и полковниками, академистами, между тем как сам он не был в академии.

Он давно уже замечал, что академисты держались в армии как избранная, высшая каста; он знал, что и в Петрограде все успехи предводимой им восьмой, армии всячески снижались и брались под подозрение только потому, что сам он не изучал так тщательно, как академисты, походов Карла V или Фридриха II. Эта подозрительность к нему отражалась и на тех, кого он представлял к наградам: они или получали их с большим опозданием или не получали совсем. Они же настраивали и царя не в пользу Брусилова, который давно бы уже мог получить главнокомандующего фронтом если не Юго-Западным, то другим. Иванов относился совершенно безучастно к сдаче дел фронта, — это делали его начальник штаба генерал Клебовский, генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихс и начальник снабжения — генерал Маврин. Иванов же только просил у него разрешения остаться при штабе фронта еще на несколько дней и снова при этом пролил слезу. Вид у него был поистине жалкий.

Прежде чем представлять царю девятую армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому, и Брусилов, приняв дела, отправился в Каменец.

Винница, в которой пришлось жить Брусилову три года назад, небольшой, но чистенький городок, очень нравилась ему смесью культурности с простотою: там были шестиэтажные дома с лифтами и рядом — одноэтажные домики, окруженные садами, — в общем же это был город-сад с тихо протекавшей жизнью. Совсем не то оказался Каменец-Подольск, красиво расположенный на берегах речки Смотрич, старинный город, бывший некогда под властью и турок, и поляков.

Турки оставили тут память в виде старой крепости, называемой турецким замком и бывшей до войны тюрьмою. Часть города вблизи этого замка так и называлась Подзѣмчье. Поляков жило здесь и теперь много в самом городе и в пригороде, носившем название «Польские фольварки». В городе было несколько польских костелов, между ними и кафедральный. По крутым берегам Смотрича там и тут поднимались каменные лестницы, все дома в городе были каменные, все улицы были вымощены булыжным камнем, — город вполне оправдывал свое название.

У генерала Лечицкого болезнь приближалась к кризису. Брусилов тут же по приезде заехал к нему на квартиру. Дсжуривший при нем врач, высказал уверенность в том, что больной поправится, и это обрадовало Брусилова, так как он знал Лечицкого еще до войны с самой лучшей стороны, — таким же оставался он и во время войны.

Порядок, заведенный им в штабе, конечно, был одобрен Брусиловым. Тут все готовились к царскому смотру, о чем предупредил штаб армии Алексеев; поэтому Брусилову оставалось только навестить ближайший к Каменцу участок фронта, что он и сделал.

Придирчиво осматривал он окопы одной из дивизий армии Лечицкого, желая найти основания полной безнадежности Иванова, но, к радости своей, увидел, что и окопы эти и люди в них ничем не хуже людей и окопов его бывшей армии. Это укрепило его в мысли, что Юго-Западный фронт вполне может и будет хорошо защищаться, как бы старательно ни было подготовлено весеннее наступление немцев.

Об этом ему пришлось говорить с царем, когда тот прибыл в Каменец вечером, уже затемно, и, только приняв его рапорт, обошел выставленный на станции почетный караул и пригласил нового главнокомандующего к себе в вагон.

Бывали короли и императоры, которые если даже и не имели природных внешних данных для представительства, не были «в каждом вершке» владыками государств, так хотя бы старались путем долгой тренировки привить себе кое-что показное, производящее благоприятное впечатление на массы, более или менее удачно играли роль королей, императоров.

Владыка огромнейшей империи в мире — Николай II

изумлял Брусилова и раньше, но особенно изумил теперь тем, что «не имел виду».

Толстый и короткий нос — картошка, длинные рыжие брови над невыразительными свинцовыми глазками; еще более длинные и еще более рыжие толстые усы, которые он совсем по-унтерски утюжил пальцами левой руки; какая-то, неопрятного вида, клочковатая, рано начавшая седеть рыжая борода, — все это, при его низком росте и каких-то опустившихся манерах, производило тягостное впечатление.

При первом же на него взгляде он чем-то неуловимым напомнил ему Иванова, и первое, что он услышал от него, когда вошел вслед за ним в вагон, было как раз об Иванове.

— Какие такие недоразумения произошли у вас с генералом Ивановым? — спросил Николай.

— Насколько я знаю и помню, не было никаких недоразумений, ваше величество, — удивившись, ответил Брусилов.

— Как же так не было?.. Мне доложили, что у вас было с ним какое-то столкновение, вследствие чего и произошло разногласие в распоряжениях, какие вы получили от генерала Алексева и от графа Фредерикса... э-э... касательно смены генерала Иванова.

— Ваше величество! — с виду спокойно, но глубоко пряча раздражение от этих слов, начал Брусилов. — Я получил распоряжение только от начальника штаба ставки, но не от графа Фредерикса! Никаких вообще распоряжений от графа Фредерикса я не получил и осмеливаюсь думать, что и получать не буду, поскольку дела чисто военные, дела фронта, так мне кажется, имеют прямое касательство только к ставке, а не к графу Фредериксу.

Договорив это, Брусилов почувствовал, что выразился как будто несколько не по-придворному, но он никогда и не был придворным, а вопрос царя не то чтобы объяснил ему поведение Иванова, затянувшего сдачу фронта, но, по крайней мере, навел на это объяснение. Для него несомненным стало и то, что Иванов не хотел уезжать из Бердичева, все еще надеясь остаться. Словом, оправдывались доходящие до него стороною слухи, что его назначение нельзя еще считать окончательным.

Он видел, что его фраза о Фредериксе не понравилась царю, хотя тот и постарался скрыть это, и ждал наконец разъяснения, точно ли бесповоротно назначен он главнокомандующим или придется ему все сдавать Иванову и возвращаться в штаб-квартиру своей восьмой армии.

Царь довольно долго был занят своими мыслями, внимательно приглядываясь к нему, и спросил вдруг совсем для него неожиданно:

— Что вы имеете мне доложить?

Брусилов не сразу понял, что имел в виду царь, задавая такой вопрос. О чем именно должен он был докладывать? О «недоразумении» с Ивановым было уже доложено все; что же еще могло интересовать царя?

Он медлил с ответом едва ли не больше, чем царь со своим весьма неопределенным вопросом, и решил наконец связать то, что занимало так царя, с тем, что наполняло его лично, особенно после объезда позиций девятой армии.

— Имею очень серьезный доклад, ваше величество — начал он, — в связи с общим положением дел на Юго-Западном фронте вообще, насколько я успел познакомиться с ним за последние дни.

— Хорошо, говорите, — безразличным тоном отозвался царь, вынув серебряный портсигар и вертя в худощавых пальцах папиросу.

— В штабе генерал-адъютанта Иванова, при приеме мною дел мне подтвердили то, что я слышал уже и раньше, — стараясь выбирать выражения, начал Брусилов, — а именно, что мой предшественник при всех положительных качествах своих, отличался недоверием к войскам Юго-Западного фронта, к их боевым возможностям, к их подготовке, а общий вывод его был таков: армии фронта наступательных действий вести не в состоянии, они могут только защищаться и то не очень стойко. Словом, на них положиться нельзя. С этим взглядом я в корне не согласен, ваше величество, о чем и считаю своим долгом вам доложить.

— Это интересно, — тем же безразличным тоном заметил царь, закурил папиросу и протянул ему свой портсигар.

— Мой предшественник, — продолжал Брусилов, взяв папиросу, но не закуривая ее, — несомненно имел большой опыт в управлении фронтом, я же имею довольно длитель-

ный боевой опыт, смело надеяться поэтому, что моя оценка боеспособности войск, мне теперь врученных волей вашего величества, окажется ближе к истине. Я до сего дня был вполне уверен в войсках только свсей бывшей армии и мог с полным знанием вопроса говорить только о ней, но, приехав сюда, я успел уже несколько познакомиться с армией генерала Лечицкого, который, к сожалению, тяжело болен...

— Как его здоровье? — перебил царь.

— Есть надежды, что он поправится, ваше величество. и, может быть, даже примет участие в наступательных (Брусилов особенно подчеркнул это слово) действиях нашего фронта. По совести могу сказать, что та дивизия его, семьдесят четвертая, какую я сегодня видел на фронте, — не хуже любой из моих бывших дивизий. По этой дивизии можно, мне так кажется, судить и об остальных в девятой армии. Я не успел познакомиться с седьмой и одиннадцатой армиями, но зато я знаю командующих ими генералов Шербачева и Сахарова и думаю, что положение дел у них не хуже, чем у Лечицкого...

Брусилов понимал, что этот импровизированный доклад его в царском вагоне может иметь большое значение для того, чем он жил в последнее время, то есть для решительного выхода из пассивного ожидания удара со стороны австро-германцев к активным действиям против их пусть и очень сильно укрепленных за долгую зиму, позиций, и старался не пропустить ни одного довода в пользу этой своей мысли.

Он говорил обстоятельно и долго. Думал ли царь о том, что он говорил, или о чем-нибудь еще, совершенно не относящемся к теме его доклада, но царь молча курил, и этого было довольно; он не перебивал, не задавал отвлекающих в сторону вопросов, он был терпелив, а это Брусилов считал хорошим знаком.

И действительно, когда доклад подошел к своему естественному концу и Брусилов заключил его словами: — Вот, в общих чертах, то, что хотелось мне доложить о состоянии вверенного мне фронта, ваше величество, — царь, поднявшись и тем заставив подняться его, протянул ему руку и сказал по виду благожелательно:

- Хорошо, вот первого апреля на совещании в ставке

вы повторите, что мне говорили сейчас, и другие главнокомандующие тоже выскажутся по этому вопросу.

В этих словах царя Брусилову почудилось, что боеспособность Юго-Западного фронта все-таки берется под сомнение, что он не совсем переубедил его, напичканного мнениями Иванова, поэтому Брусилов счел нужным до-
бавить:

— Прошу, ваше величество, предоставить мне в будущем наступлении инициативу действий, равную другим главнокомандующим. В противном случае я буду думать, что мое пребывание на посту главнокомандующего бесполезно, даже вредно, почему и буду просить вас заменить меня другим лицом.

Царь при этих словах насунил брови так, что глаз его уже не было видно, и сказал:

— Я думаю, что на совещании вы столкнетесь с другими главнокомандующими и с начальником штаба. Покойной ночи!

Брусилов вышел из вагона царя, хотя и не совсем убежденный в том, пробил ли он каменную стену его равнодушия, однако с чувством удовлетворенности от того, что ему все-таки разрешено было высказать откровенно все, что он думал. Но в следующем за царским вагоном был Фредерикс, который ждал окончания беседы Брусилова с царем, чтобы... заключить нового главнокомандующего Юго-Западным фронтом в свои объятия!

Эта костлявая, старая, хитрая придворная лиса, неизвестно чем именно жившая, однако весьма живучая, захотела замести следы своей интриги, через камер-лакея пригласив Брусилова в свой вагон, едва только он покинул царя.

Длинный и узкий, с пушистыми белыми усами, Фредерикс весь так и светился радостью, оттого что видит, — наконец-то! — его, Алексея Алексеевича, главнокомандующим.

— Давно пора, давно пора! — несколько раз повторил он, сияя. — И я всегда, — верьте моему слову! — всегда считал своим долгом докладывать его величеству о ваших заслугах, о том, что вы вполне достойны принять в свои руки фронт... тот или иной, тот или иной... Вот, например, Северо-Западный: дважды ведь поднимался мною во-
прос о вашем назначении туда, — однако... находились лю-

ди... не будем же теперь говсрить о них, дорогой мой Алексей Алексеевич: все хоршо, что хоршо окончилось, — вот! Прошу вас иметь в виду, что и на этот пост, какой вы получили, выдвигалось ведь несколько кандида- тов, но я-я-я... я всячески отстаивал вас.

— Благодарю вас, — отсзгался на это Брусилов, чтобы сказать что-нибудь, и тут же увидел, что эти два слова ожидались графом, чтобы перейти к самому для него важному.

— Что же касается телеграммы моей генерал-адъютанту Иванову, о чем вы извещены, конечно, — держа руку Брусилова в свсей холодной руке, очень оживленно продолжал граф, — то ведь эта телеграмма касалась совсем не того, послушайте, — совсем не его смены, а нашего назначения на его место, — вот что мне особенно хотелось вам сказать!

И он не только пожал руку Брусилова, но не выпустил ее и теперь, ожидая, как и что ему тот ответит; и Брусилсв ответил так, как счел нужным:

— Поверьте, граф, мне никто ничего не говорил ни о какой вашей телеграмме Иванову!

— Не о чем, не о чем было и говорить, — подхватил Фредерикс, — совершенно не о чем! И будьте уверены на будущее время, что если вам что-нибудь понадобится передать непосредственно его величеству — я всегда к вашим услугам!

Это покорило наконец Брусилова, и он не удержался, чтобы не сказать в ответ:

— Искательством, граф, я ведь никогда не занимался, — я исполнял свой долг на всех постах раньше, буду исполнять и теперь, насколько буду в силах, но ваши слова принимаю как доброе обо мне мнение и благодарю сердечно!

Фредерикс обнял его снова, и, расцеловавшись, они расстались по виду очень довольные друг другом.

На следующий день с утра начался смотр войск одновременно и царем и самим Брусилковым, и если царь обращал внимание только на выправку солдат, та их умение ходить церемониальным маршем, то в глазах Брусилова эти новые для него войска — сначала 3 Заамурская пехотная дивизия, потом 9 армейский корпус —

держали строгий экзамен на право вести наступление через месяц и выдержали его с честью.

Царь вел себя на смотре, как обычно: тупо смотрел на ряды солдат, державших винтовки «на кра-ул», запаздывая поздороваться с ними; тупо смотрел, как они шагали, выворачивая в его сторону глаза и лица, — и только. Ни с малейшим задушевым словом он не обращался к тем, которые должны были проливать кровь и класть свои головы за него прежде, чем за родину: не было у него за душою подобных слов.

На Каменец-Подольск довольно часто налетали неприятельские самолеты, так как был он недалеко от фронта. В городе мало было целых стекол в домах и часто попадались развалины и кучи мусора на месте бывших построек. Конечно, воздушные разведчики дали знать на ближайший аэродром противника о скоплении большой массы русских войск, выстроенных для смотра, и над 9 корпусом закружилось до двух десятков аэропланов.

Впрочем, этого уже ждали и приготовили для встречи их свои самолеты, а также зенитные батареи, так что перед смотром корпуса произошло небольшое сражение: разрывались высоко в воздухе снаряды, летели вниз дистанционные трубки, осколки, шрапнельные стаканы, — наконец поднялись свои машины, и налетчики ушли ни с чем, хотя и без потерь в своем строю.

Разумеется, на Брусилова ложилась обязанность предупредить царя об опасности не только смотра, но и вообще пребывания его в Каменце: всегда можно было ожидать налета врагов даже и на царский поезд, который не так трудно было рассмотреть среди кирпично-красных и отдаленно поставленных обычных прифронтных поездов.

Но царь ни одним словом не отозвался на эту о нем заботу и не уехал из Каменца, пока не закончил того, зачем приехал, — то есть смотра всех расположенных тут в окрестности частей войск.

Сам склонный к мистике, Брусилов приписал было такое равнодушие царя к опасности фатализму, но, приглядываясь в тот день к своему верховному вождю пристальнее, решил наконец, что это только равнодушие к жизни.

НОВЫЙ ПОЛК



1

Поезд с одним классным вагоном, в котором вместе с другими офицерами ехал на фронт прапорщик Ливенцев, не подходил к тому участку фронта, какой ему был нужен: от станции, где он вышел вместе с Обидиным, оставалось до расположения их полка, по словам знающих людей, не менее пятидесяти верст.

Эти пятьдесят верст предоставлялось осилить или на грузовой машине, если бы такая попалась, или на крестьянской подводе, или, наконец, пешком. Комендант станции, какой-то зеленолицый, явно больной подпоручик, говорил это без улыбки, как привычное, повторяемое им ежедневно.

— А шоссе тут как, очень грязное? — спросил Ливенцев.

— Ну, еще бы вы захотели, чтоб не было грязное в марте! — почти рассерженно ответил подпоручик и добавил еще злее: — Да оно тут идет недалеко, а там дальше проселок, — колеса засасывает! — повернулся и отошел, а Ливенцев сказал Обидину:

— Для начала недурно, как говорится в каком-то анекдоте. Такая же грязь, конечно, будет и на фронте, и это совсем не анекдот.

Станция между тем оказалась хоть и небольшая, а бойкая: так как здесь осели склады, питающие порядочный участок фронта, здесь шла выгрузка из вагонов и продовольствия и боевых припасов, а также нагрузка их на машины и подводы — интендантские, пехотных полков, артиллерийских парков и другие.

Около станции с ее заднего двора была ожесточенная крикливая толчея, в которой с первого взгляда совершенно невозможно было разобраться. Однако разбирались солдаты в заляпанных по уши сапогах и мокрых и грязных шинелях, только Ливенцев, сколько ни спрашивал здесь, нет ли машины или подвода от его полка, ничего не добился.

Кучка баб, притащивших к поезду откуда-то поблизости молоко в бутылках и сморщенные соленые огурцы в мисках, уже все распродала, когда к ней подошли Ливенцев с Обидиным в поисках попутной подводы.

Подвод у баб не водилось, — они даже как будто обиделись, что их заподозрили в такой роскоши. Одна из них, очень деbeatая, добротная, оказалась почему-то русская среди украинок и говорила ерстяжку на орловско-курском, родном Ливенцеву наречии. Она сосредоточенно жевала соленый, мягкий с виду, огурец, отламывая к нему хлеба от паляницы.

— Скоро новые огурцы уж сажать будете, — сказал, глядя на нее, Ливенцев.

— А чего их сажать! — отозвалась баба, грустно жуя.

— Как чего? Чгоб посолить на зиму, — объяснил бабе Ливенцев, но та сказала на это весьма неопределенно:

— Только и звания, что цвет дают, а посмотреть плети — плоховязы, и пчел поблизу не держат.

— Капусту посадите, — вспомнил и другую огородину Ливенцев, но баба с грустным лицом флегматично сказала:

— Капуста, она когда ще голову начнет завивать? До того время спалишь дров беремья.

— Вы у ней поняли что-нибудь? — спросил, отходя, Ливенцев у Обидина.

Обидин подумал и ответил:

— Чорт их поймет, этих баб! Они и капусту готовы тащить в парикмахерскую.

Неудача с машинами и подводами его раздражала, —

то видел Ливенцев — и, чтобы успокоить его, он заметил, улыбаясь:

— Погодите, доберемся когда-нибудь до своего полка, и вот там-то вы уж действительно ничего не поймете!

Они пробыли на этой станции целые сутки, ночевали в совершенно грязном «зале 3-го класса», с неотмытым заслеженным полом, и спали, сидя рядом на своих чемоданах и прикорнув один к другому.

Только на другой день в обед как-то посчастливилось им натолкнуться на расхлябанный грузовичок их полка, прибывший за «битым» мясом. На этом грузовике они и устроились, не без того, конечно, чтобы не дать за это на чай шоферу и артельщикам, хотя те и были солдаты.

— Вот видите, — говорил Обидину Ливенцев. — Вам может показаться непонятным и то, что мясо называется «битым». По-вашему, пожалуй, этого добавлять не надо: мясо — и всё. Однако каждая воинская часть заинтересована бывает в том, чтобы мясо ей доставлялось «живое», то есть просто убойный скот. На этом могут быть «безгрешные» доходы, а на «битом» мясе что выгадаешь? Ничего, если только не прогадаешь.

Казалось бы, пятьдесят верст можно было проехать засветло, но грузовик был старый, очень раздерганный. Дорога тяжелая, — часто на ней застревали и тратили много усилий, чтобы как-нибудь сдвинуться с места.

Десятки раз проклинал Обидин и грузовик, и дорогу, и мясные туши, которые не были привязаны и все время стремились, как он говорил, бежать в поле пастись, но Ливенцев успокаивал его или, по крайней мере, пытался успокоить тем, что это — совершенно райский способ передвижения в непосредственной близости к фронту.

Когда сначала не очень разборчиво, а чем дальше, все внятнее стал доноситься разговор орудий, Обидин насто-рожился и спросил:

— Это что же такое? Значит, мы прямо с приезда — в бой?

Ливенцев ответил тоном бывалого всяки:

— Ну, какой же это бой! Это только: милые бранятся, — просто тешатся. Это вы ежедневно в те или иные часы будете теперь слышать — весна. Это — вроде глухарьего токованья.

— Вы сказали «весна», — вскинулся Обидин. — Может

быть, это оно и начинается, о чем говорят и пишут. — весеннее наступление немцев?

— Не думаю. Сейчас еще грязно. Куда же наступать немцам по таким дорогам? Дайте хоть земле подсохнуть, а то орудий не вытащишь.

Один из солдат-артельщиков слушал прапорщиков, переглядывался с другим артельщиком, наконец спросил Ливенцева:

— Неужто, ваше благородие, немец скоро пойдет на нас, как в прошлом году? А у нас болтают обратно, будто мы на него пойдем.

— Как все эти туши съедим, то непременно пойдем, — отшучивая Ливенцев, но Обидину подмигнул, добавив: — Вот видите, какие на фронте слухи ходят? Так и знайте на будущее время: панику любят разводить в тылу, а на фронте люди сидят себе — не унывают. Просто некогда этим тут заниматься.

Уже смерклось, когда наконец дотащился грузовик до деревни Дидичи, где был штаб полка. Однако вместо штаба полка попали оба прапорщика тут же, с приезда, в блиндаж командира третьего батальона. Это вышло не совсем обычно даже для Ливенцева.

— Что, мясо привезли? — спросил артельщиков около остановившейся машины какой-то казак в щегольской черкеске, и артельщики почтительно взяли под козырек, и один из них, старший, ответил:

— Так точно, мясо... а вот также их благородий к нам в полк.

— К нам в полк? Вот как! Это, значит, ко мне в батальон, — у меня недокомплект офицеров, — обрадованно сказал казак, повернувшись лицом к Ливенцеву, причем тот, несмотря на сумерки, не мог не заметить, что белое круглое лицо казака совершенно лишено растительности, так что он даже подумал: «Только что побрился и даже усы сбрил». Кроме того, Ливенцев не понял, почему командир батальона в пехотном полку оказался казак, но тот не дал ему времени на размышление: он просто подал руку ему и Обидину и добавил к такому, отнюдь не начальническому жесту:

— Эта балочка не простреливается противником, —

здесь можно ходить во весь рост. Пойдемте в блиндаж поговорим там за чашкой чая.

Гостеприимство пришлось как нельзя более кстати после нескольких часов тряской и грязной дороги, а блиндаж оказался не очень далеко, так что казак не успел разговориться, — он только заботливо предупреждал, голосом басовито-рассыпчатым, где тут грязь по щиколотку, а где по колено.

Блиндаж, в который спустились прапорщики, был на редкость благоустроенным, что очень удивило Ливенцева, помнившего зимние блиндажи и скопы возле селения Глоссув. Главное — в него натащили каких-то драпировок, ковров, которые при свете вполне приличной лампы, стоявшей на столе, покрытом чистой скагертью, заставляли даже и забывать, что это — всего только боевой блиндаж. И пахло в этом убежище, предохраняющем от свинца и стали, духами больше, чем табаком.

Командира батальона, — обыкновенного пехотного, в достаточной степени старого, потому что взятого из отставки, — увидел Ливенцев здесь, в блиндаже, и тут же представился ему, по неписанным правилам стукнув при этом каблуком о каблук; то же сделал и Обидин.

Однако казак сказал тоном, не допускающим возражений, обращаясь к подполковнику:

— Я думаю: одного из них, который постарше, — в девятую роту, другого — в двенадцатую. Завтра же могут от заурядов принять и роты.

— Да, разумеется, что ж... раз оба прапорщики, то конечно... имеют преимущество по службе, — пробормотал подполковник, улыбаясь не то радостно, не то сконфуженно, и добавил вдруг, совершенно неожиданно и несколько отвернувшись: — Я никакой глупости не говорю.

Только после этой неожиданной фразы он выпрямился и назвал свой чин и фамилию:

— Командир батальона, подполковник Капитанов! — Потом он сделал жест в сторону казака, сказал торжественно: — Моя жена! — и снова сконфузился. — Впрочем, вы ведь уже успели с ней познакомиться, — я это упустил из виду.

Только теперь понял безусость казака Ливенцев и то, почему здесь драпри и ковры, и пахнет духами, но когда он поглядел на жену батальонного, то встретил суровый.

по-настоящему начальнический взгляд, обращенный однако не к нему, а к батальонному. Так только дрессировщик львов глядит на своего обучаемого зверя, которому вздумалось вдруг, хотя бы и на два-три момента, выйти из повиновения и гривастой головой тряхнуть с оттенком упрямства.

Голова подполковника Капитанова, впрочем, меньше всего напоминала львиную: она была гола и глянцевата, что, при небольших ее размерах, создавало впечатление какой-то ее беспомощности. Да и весь с головы до ног подполковник был хилват, — вот-вот закашляется затяжным валивистым кашлем, так что и не дождешься, когда он кончит, — сбежишь.

В блиндаже было тепло — топилась железная печка. Подполковница сняла папаху и черкеску; бешмет ее тоже оказался щегольским, а русые волосы подстрижены в кружок, как это принято у донских казаков.

Чайник с водою был уже поставлен на печку до ее прихода и теперь кипел, стуча крышкой. Денщик батальонного подоспел как раз во-время спуститься в блиндаж, чтобы расставить на столе стаканы и уйти, повесив перед тем на вешалку снятые с прапорщиков шинели; леденцы к чаю и даже печенье достала откуда-то сама подполковница, и тогда началась за столом первая в этом участке для Ливенцева и первая вообще для Обидина беседа на фронте.

— Вы, значит, в штабе полка уже были, и это там вас направили в наш батальон? — спросил Капитанов, переводя тусклые глаза в дряблых мешках с Ливенцева на Обидина и обратно.

— Нет, мы только что с машины, — с говяжьей машины, — попали к вам.. благодаря вот вашей супруге, — сказал Ливенцев.

— Так это вы как же так, позвольте! — всполошился Капитанов. — Может быть, вы оба совсем и не в наш батальон, а в четвертый!.. Ведь теперь, знаете, что? Теперь ведь четвертые батальоны в полках устраивают и даже.. даже еще две роты по пятьсот человек в каждой должны явиться, — это особо, это для укомплектований на случай потерь больших. А ведь в эти роты тоже должны потребоваться офицеры.

— Ну что же, — я прапорщиков оставляю в своем ба-

тальяне, а заурядов пусть берут в четвертый или куда там хотят, — решительно сказала дама в казачьем бешмете.

Теперь при свете лампы, которая, кстати, была без колпака, Ливенцев присмотрелся к ней внимательней и нашел, что она не очень молода, — лет тридцати пяти, — и не то чтобы красива: круглое лицо ее было одутловато, а серые глаза едва ли когда-нибудь и в девичестве знали, что такое женская ласковость, мягкость, нежность. Будь она актрисой даже и попадись ей роль, в которой хотя бы на пять минут нужно было ей к кому-нибудь приласкаться, она бы ее непременно провалила, — так думал Ливенцев и отказывался понять, какими чарами приворожила она Капитанова в свое время. Впрочем, он охотно допускал, что между ними обошлось без чар.

— Вы сказали нам поразительную новость, господин полковник, — удивленно отозвался между тем на слова Капитанова Обидин.

— Да, да-а! Теперь та-ак! — очень живо подхватил Капитанов, видимо, довольный, что замечание жены можно обойти стороной. — Теперь дивизия пехотная будет считаться в двадцать две тысячи человек, — вот какая! Почти в два раза больше, чем прежняя была, трехбатальонная.

— Это что же, в видах наступления, что ли? — спросил Ливенцев. — Конечно, на нас ли будут наступать австрийцы, мы ли начнем наступать на них, мы должны быть прочнее.

— Затеи Брусилова! — презрительно бросила подполковница, разливая чай по стаканам в серебряных подставочниках.

— Что именно «затеи Брусилова»? — не понял ее Обидин.

— Все эти четвертые батальоны и какие-то роты там пополнения! — небрежно объяснила она. — Было желание выслужиться, ну, вот и добился своего — теперь главным командующим.

— Вам, значит, он не нравится? — догадался Ливенцев.

— А кому же он нравится? — быстро и даже сердито спросила она, так что Ливенцев счел за благо, принимая от нее стакан, сказать не то, что он думал:

— Приходилось иногда слышать в дороге, что, может быть, он будет лучше Иванова.

— А чем же был плох Иванов, — что эти болваны вам говорили? — совсем уже грозно посмотрела на него она.

Хлебнув было прямо из стакана и чуть не обварив язык, Ливенцев не сразу ответил:

— Все обвинения их сводились только к тому, что Иванов будто бы предлагал стоять на месте.

— А как же иначе? Наступать, как тут под шумок готовился сделать Брусилов? Мы наступать не можем! — решительно заявила подполковница и посмотрела при этом на своего мужа откровенно-яростно, точно он тоже был сторонником наступления, чего и предположить по всему его виду было никак нельзя.

Ливенцев понял подполковницу, как хозяйственную женщину, устроившую себе тут, на Волыни, в деревне Дидичи, вполне сносный «домашний очаг», а к таким «очагам» женщины привыкают, как кошки, и поди-ка попробуй выкинь ее из привычного уклада жизни в рискованное неведомое, — глаза выдерут.

Так думая, Ливенцев заговорил однако о другом:

— Что вы — героическая женщина, это для меня несомненно. Женщины в тылу обыкновенно держатся на зубок заученного ими правила: наплюй на все и береги свое здоровье. А вы вот — на фронте, куда вам не так легко и просто было попасть, я полагаю. Каждый день вы под обстрелом, и если бы к вам отнеслись, как к царю, который пробыл два часа на линии фронта и получил за это от генерала Иванова георгиевский крест, то и вам могли бы дать, в пример другим, хотя бы медаль на георгиевской ленте.

— Ей и должны будут дать, должны, непременно! — поспешно и тараща глаза из прихотливых складок коричневых мешков, постарался поддержать его Капитанов.

Однако подполковница в бешмете презрительно фыркнула на мужа:

— Ме-даль! Поду-маешь!

Ливенцев увидел, что он дал промах: она, не желавшая наступать, считала несомненным, что ее объемистый бюст будет украшен белым крестом, а не какою-то тривиальной медалью. Но он промолчал, а батальонный совершенно излишне, тербя вышитую салфетку и глядя при этом куда-то под стол, бормотнул:

— Что ж, я ведь никакой глупости не говорю...

Очевидно, у него уже была неискоренимая привычка говорить так в присутствии жены.

— Неприятельские окопы далеко ли отсюда? — спросил Ливенцев, чтобы затушевать неловкость.

— От наших окопов только пятьсот шагов, — ответила на это подполковница вполне по-деловому, как на вполне деловой вопрос.

— Пять-сот ша-гов? — удивился Обидин и даже на Ливенцева посмотрел, — не шутка ли это.

Ливенцев сказал спокойно:

— Расстояние приличное. Давно уж оно не нарушалось? Вместо прямого ответа на вопрос, обращенный к лысому Капитанову, ответ получился косвенный от его супруги:

— В том-то и дело, что против нас сидят не такие уж отпетые дураки! Они нас не очень беспокоят, и мы их тоже.

— Значит, полная взаимность. Но перестрелка все-таки ежедневная? — спросил Ливенцев теперь уже подполковницу, и та ответила, наливая ему новый стакан чаю:

— Разумеется, а как же иначе!

Тут же после чаю она распорядилась, чтобы денщик — по фамилии Коханчик, белобрысый, молодой еще малый торопливых движений, развел новых ротных командиров по их ротам.

— Как же все-таки без разрешения командира полка... — попробовал было заикнуться батальонный, но она так крикнула на него: — Не твое дело! — что он тут же умолк.

Зато чуть только из уютного блиндажа Ливенцев вышел в ирчь и грязь, он сказал Обидину:

— Конечно, мы сейчас должны идти к командиру полка.

— Как сейчас? Ночью? — возразил Обидин.

— Ночью только и ходить в таких гиблых местах.

— А почему же не в свои роты?

— В какие «свои»? От кого вы их получили?

И Коханчику, который остановился в нескольких шагах от блиндажа, Ливенцев приказал:

— Беди-ка нас, братец, к командиру полка.

Однако он тут же увидел, что не на того попал. Коханчик, еле различимый в темноте, отозвался на это твердо:

— Велено развести господ офицеров по ртам: ксгс в

девятую, так это суюдою итить, а кого в двенадцатую — туюдою.

И он махнул руками в одну сторону и в другую, находясь в понятном затруднении, с которой именно начать.

— Ни «туюдою», ни «суюдою» нам не надо, братец, — досадливо сказал Ливенцев. — Веди в блиндаж командира полка, — вод тебе одно направление.

Но Коханчика переубедить оказалось трудно: прапорщики слышали из темноты:

— Цего я не могу, ваше благородие, бо я обязан спольнять приказание командира батальона.

Ливенцева не столько обидело это, сколько развеселило.

— А кто же у тебя командир батальона? — спросил он не без лукавства и услышал вполне обстоятельный ответ:

— Хотя же, конечно, считается так, что их высокоблагородие подполковник Капитанов, ну, однако, распоряжения идут от их высокоблагородия барыни.

Ливенцев рассмеялся и отпустил Коханчика.

Можно было вполне обойтись и без него: по ходам сообщения двигались в ту и в другую сторону солдаты, и всем им было известно, где находится штаб полка.

3

По дороге к блиндажу полкового командира Ливенцев узнал, что фамилия его Кюн.

— Как Кюн? Немец, значит?

Это было очень неприятно Ливенцеву, но спокойным голосом солдат-вожатый ответил:

— Точно так, похоже, что они из немцев.

— Может быть, латыш, а не немец, — вздумалось поправить этот ответ Обидину.

Ливенцев вздохнул и буркнул:

— Будем надеяться, что латыш.

Полковник Кюн был еще далеко не стар, — едва ли набралось бы ему пятьдесят лет; вид к концу дня имел не усталый, напротив — будто только что выпался; в светловолосом ежике на вытянутой голове седины совсем не было; человек рослый, молодцеватой выправки, он принял двух новых офицеров, явившихся в его полк, до такой степени наигранно-любезно, что у Ливенцева в первую же минуту никаких сомнений не осталось — немец.

— А я вас поджидал, как же, — улыбаясь, радостно, как старший приятель, а совсем не новый начальник, говорил Кюн, когда оба они назвали свои фамилии. — Разумеется, бумаги о назначении приходят все-таки раньше, чем сами назначенные могут добраться, хе-хе! Транспорт. — вот где наша Ахиллесова пята!

— У нас много слабых мест и кроме транспорта, — попробовал вставить Ливенцев.

— О, да, о, да, разумеется, много! — весь сморщился и даже глаза закрыл Кюн, но ревниво за ним наблюдавший Ливенцев не нашел никакой горечи в этой мимике.

В петлице теплой тужурки Кюна небрежно торчал Владимир с мечами, — тот самый орден, о представлении к которому Ливенцева писали однажды приказ, но не послали.

— Ну, что, как там в тылу, откуда вы приехали? — спросил Кюн с явным любопытством.

— В каком именно смысле, господин полковник? — не понял вопроса Ливенцев.

— Ну, разумеется, — настроения в обществе касательно войны в дальнейшем, и тому подобное! — с игривой улыбочкой уточнил Кюн. — «До какого конца», — как Меньшиков в «Новом времени» пишет?

— Есть и такие мнения, — тут же, как подстегнутый, немножко резко по тону, ответила Ливенцев.

Обидин же добавил:

— Но больше все-таки противоположных, что воевать мы едва ли в состоянии.

— Поэтому? — оживленно повернул голову от Ливенцева к Обидину Кюн.

— Выводы из этого положения всякий делает по-своему, — уклонился от прямого ответа Обидин, а Ливенцев вставил свой вывод:

— Все-таки все сходятся на одном: разговаривать о мире с немцами сейчас могут только одни мерзавцы!

— Хо-хо-хо! — добродушно с виду рассмеялся Кюн. — Это хорошо сказано!.. Ну, что же, господа прапорщики, ведь вам с приезда надо бы хоть чаю выпить.. Позвольте-ка, как бы это вам устроить?

— Мы уже пили чай, господин полковник, — сказал Ливенцев. — у командира третьего батальона.

— У Капитановых? Вот как?.. Как же вы к ним попа-

ли? Ори-ги-наль-ная пара, не правда ли? — с таким видом, точно приготовился рассмеяться, зачастил вопросами Кюн и брови поднял: но Ливенцев был вполне серьезен, когда говорил в ответ на это:

— Конечно, в третьем батальоне у вас, господин полковник, тоже может быть недокомплект офицеров, но мы очень просили бы нас назначить в какой-нибудь другой батальон.

— Как так? Они же вас, оказывается, чаем напоили, и вы же против них что-то возымели?

Кюн протянул это без видимой задней мысли, только с любопытством насчет того, какое же именно недоразумение могло произойти так вот сразу между новоприбывшими прапорщиками и четой Капитановых.

— За чай мы им, конечно, очень благодарны, но служить нам хотелось бы все-таки в другом батальоне... просто потому, что одно дело приватный чай и совсем другое — служба на фронте, — сказал Ливенцев все, что хотел, надеясь избежать этим излишних вопросов.

И Кюн оказался понятлив.

— Да ведь у нас офицеров только подавай, — помилуйте! — заторопился он. — Оба вы, как прапорщики, прошедшие школу...

— Я, господин полковник, из старинных прапорщиков запаса и школу проходил только на Галицийском фронте, — перебил Ливенцев.

— Тем лучше, тем еще лучше! — продолжал Кюн. — Поэтому оба вы и получите у меня роты, но-о... в новом моем батальоне, в четвертом, а не в третьем.

— Очень хорошо, — сказал на это Ливенцев.

Обидни же отозвался застенчиво:

— Не знаю, господин полковник, справлюсь ли я?.. Мне бы лучше сначала полуротным.

— Ну-ну, полуротным! Вас полуротным, а зауряда ротным? — удивился Кюн и добавил: — И разве вы не знаете разницы между складами ротного и субалтерна?.. Ничего, подучитесь... Вот ваш старший товарищ вам поможет, — кивнул он на Ливенцева, но тут же добавил: — Вы-то командовали, надеюсь, ротой?

— Так точно, господин полковник, — постарался ответить вполне официально Ливенцев.

В это время отворилась входная дверь в блиндаж, и

снаружи ворвался сюда орудийный очень гулкой выстрел, а за ним с небольшими промежутками еще два, и Кюн, к удивлению Ливенцева, вдруг вскочил с изменившимся лицом, точно орудийные выстрелы на позициях были для него новостью.

— Что такое? Что такое, я вас спрашиваю?! — накинулся Кюн на вошедшего с кучей бумаг офицера, точно он был причиной пальбы.

— Постреляют, перестанут, — спокойно сказал офицер с бумагами, здороваясь с прапорщиками. Сам он тоже оказался прапорщик, годами несколько постарше Ливенцева, который безошибочно угадал в нем адъютанта полка. Фамилия у него была простая — Антонов и лицо простоватое, безхитрое и несколько дней на вид небритое, должно быть, по недостатку времени.

Кюн вышел в другое отделение блиндажа, к связистам, справляться, кто и во что стреляет. Антонов же успел за это время и узнать, что вот прибыли в полк те, кого поджидали, и шепнуть, что командир полка имеет особенность: не выносит пушечной пальбы.

— Вы шутите? Как так не выносит? — спросил Ливенцев.

— Не могу вам объяснить, как так это у него происходит, а шутить не шучу: я уж около него три месяца, и каждый раз, чуть только пальба, — такая история.

— Почему же он на фронте? — удивился Ливенцев.

— Потому что полковник имеет сильную протекцию, метит в генералы и здесь проходит стаж.

Ливенцев успел только многозначительно перегляднуться с Обидиным, когда вернулся Кюн, да и поднятая было стрельба из орудий прекратилась так же внезапно, как поднялась.

— Это дурак Поднимов из аэропланного взвода! — обратился он к Антонову. — Ему захотелось показать, что он, как это называется, стоит на страже! Будто бы летели два неприятельских аэроплана, а он приказал по ним стрелять и отогнал... вот подите с такими! Почему он знал, что это неприятельские, а не наши? Да и летели ли они, или у него в ушах звон? Тоже — показывает старание не по разуму!

Ливенцев наблюдал этого нового своего командира с большим любопытством, стремясь догадаться, в какой

именно отрасли военного дела проявлял себя такой любитель тишины, готовый отменить всякую вообще стрельбу на фронте, как совершенно излишнюю.

Блиндаж командирский был не только обшит кругом досками, но еще и оклеен обоями. Фигурные бронзовые часы старинной работы стояли на столе. Пол был дощатый, и соломенный мат для вытирания ног лежал у двери. Блиндаж хорошо проветривался, так что не чувствовалось сырости в нем, несмотря на сырую весеннюю погоду. Потолок из толстых бревен был тоже облицован досками и оклеен белой бумагой. Вообще за зимние месяцы тут было сделано все, что можно, чтобы доставить командиру полка возможные удобства.

Это заставило Ливенцева подумать, что будет за блиндаж у него, командира роты, которой ведь не было на позиции до последнего времени, и чем его можно если не украсить, то хоть несколько привести в удобный для жизни вид. Об этом он и спросил Кюна, взявшего уже в руки бумаги, принесенные Антоновым.

— Вы, прапорщик Ливенцев, назначаетесь мною ротным командиром тринадцатой роты, а вы, прапорщик Обидин, — четырнадцатой, — совершенно служебным уже тоном ответил Кюн. — Что касается блиндажей для вас, то они имеются налицо, в примитивном, разумеется, виде. И это уж от вас зависит как-нибудь их обставить, если вам удастся найти для этого что-нибудь тут в деревне.

— Я, признаться, не заметил как-то с приезда, велика ли деревня, — сказал Ливенцев, поднимаясь с места.

— Трудно ее и заметить, — улыбнулся ему Антонов, проворно пиша бумажки о назначении и ставя на них печати, — она почти вся сгорела и растаскана по бревнышку на блиндажи.

— Все-таки десятка два домишек, кажется, осталось, — добавил Кюн, подписывая эти бумажки. — Так вот, подите отдохните с дороги, господа, познакомьтесь со своими ротами, а завтра мне доложите. Кстати, они у нас стоят пока в резерве.

Ливенцев и Обидин простились с Кюном и пошли искать четвертый батальон и в нем свои роты. Провожатого солдата им дал Антонов.

Это бывает с каждым человеком, который долго куда-то, — куда бы то ни было, — едет или идет, вообще движется. Безразлично даже, желанное и радостное это или нет, но вот цель достигнута, путь окончен, дальше двигаться некуда и незачем, — и тогда наступает заминка во всем человеке: усталость, если был перед этим подъем; охлаждение, если во-всю перед этим цвела и пела душа; сдержанность, если была порывистость, и, наконец, пустое и холодное сознание обреченности, если и в пути ничего хорошего не ожидалось.

Так было и с Ливенцевым, когда он добрался наконец-то до новой для него роты в новом полку.

Было нечто вроде оторопи, когда хочется подергать себя за рукав, чтобы убедиться, что ты не спишь и не какой-то скверный сон видишь, а перед тобой действительность, страшная и непостижимая, которой ты удостоен отнюдь не за свое поведение, так как решительно никаких преступлений против своего ближнего ты не делал и даже не желал никогда «ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его».

Блиндаж командира тринадцатой роты оказался несравненно хуже обоих блиндажей на позициях, которые только что видели Ливенцев и Обидин. Но не то даже так удручающе подействовало на Ливенцева, что с бревен наката капало в какой-то грязный таз, что влажная глина стен тускло блестела, что под ногами была грязь, от которой пытались спастись тем, что разложили кое-как по полу кирпичи, — он и разглядел-то все это уже потом, а не сразу, потому что сразу, с прихода, он ничего как следует и разглядеть не мог.

Стоял непроглядный махорочный дым, в котором чуть желтело, как волчий глаз, маленькое узенькое пламя чего-то — свечки или каганца, причем пламя это все время то как-то порхало, то заслонялось головами нескольких человек, свирепо игравших в карты, — именно свирепо: горласто, видимо пьяно, с тяжеловесной бранью... Около минуты стояли у входа в эту мрачную яму Ливенцев и Обидин, но на них едва ли обратили бы внимание игравшие если бы Ливенцев не крикнул во весь голос:

— Встать! Смирно!

Дорогой от провожавшего солдата Ливенцев узнал, что и тринадцатой и четырнадцатой ротой временно командуют подпрапорщики из унтер-офицеров, и теперь, больше чутьем, чем глазами, определил, что офицеров среди игравших в карты нет.

Команда «встать!» была подана так энергично, что все вскочили и стали навтыяжку, а так как Ливенцев, говоря: «Ну, и начадили!», усиленно начал разгонять обеими руками дым, то ему в этом стал помогать и Обидин.

Обозначилось наконец, что в блиндаже было всего четверо, но кто из них был командующий тринадцатой ротой, угадать, конечно, не мог Ливенцев, особенно при таком тусклом свете, поэтому сказал:

— Командующий тринадцатой ротой имеется тут?

— Я — командующий тринадцатой ротой! — хрипавато отозвался подпрапорщик, выступая на шаг вперед.

— Вот у меня бумажка за подписью командира полка, полковника Кюна, — стараясь говорить как можно отчетливее, несмотря на душивший его дым, достал из кармана свое назначение Ливенцев и поднес к свечке, чтобы можно было прочесть его вслух, но чуть не наткнулся на раскаленную толстую проволоку, пучком торчавшую из узенького коптящего пламени.

Он прочитал все-таки:

— «Приказываю командующему 13-й ротой вверенного мне полка, подпрапорщику Некипелову, сдать роту, а вновь назначенному в полк прапорщику Ливенцеву ее принять, о чем донести мне рапортом.

Командир полка, полковник Кюн».

Потом обратился к подпрапорщику:

— Вы — подпрапорщик Некипелов?

— Так точно, я — подпрапорщик Некипелов, — ответил тот.

Ливенцев подал ему руку и спросил:

— Остальные тут кто с вами?

— Остальные тут... (Некипелов кашлянул и зло поглядел на Ливенцева) фельдфебель роты нашей и два еще взводных унтер-офицера.

— Очень хорошо... А теперь скажите мне, пожалуйста, что у вас такое горит? Это не провод ли?

— Действительно так, это провод.

— Откуда же он у вас взялся? — удивился Ливенцев.

— Ребята где-то обрывок подобрали.

— То есть средство связи сжигается в окопах за неимением свечей, так?

— Действительно, свечей не выдают, это так, — подтвердил Некипелов.

— А если сожгут все провода, то как будет телефон работать? Ведь этого только и добивается наш противник, чтобы у нас не было связи ни с нашими батареями, ни с позициями, чтобы ничего экстренного передать было нельзя, а как же вы, командующий ротой, делаете то, что наруку только нашим врагам?

— Ну, без света в окопах сидеть также нельзя, господин прапорщик! — угрюмо, пьяно и зло возразил Некипелов.

— Надо было требовать свечей, а за такое подлое отношение к своим же средствам связи отдавать под суд, — вот что надо было сделать! — выкрикнул Ливенцев, и так как у него был припасенный им еще в дороге огарок свечки, то он собственноручно вонзил его в горлышко пустой бутылки, выкинув оттуда скрученный жгутом кусок черного провода.

— Откуда у вас взялась свечка? — спросил все время безмолвный до того Обидин.

— Как откуда? Я ведь по горькому опыту знал, куда я еду, — сказал Ливенцев и поднял на высоту своего лица бутылку с огарком, чтобы рассмотреть и Некипелова и других трех и чтобы они могли в свою очередь рассмотреть его, своего отныне ротного командира.

— Так... фельдфебель, — как фамилия?

— Верстаков, ваше благородие!

— Верстаков, — повторил Ливенцев, присматриваясь к оплывшему, как свечной огарок, не то от пристрастия к хмельному, не то от окопной сырости, разлившемуся и в стороны и вниз лицу своего фельдфебеля, и спросил: — Какого срока службы?

— Срока службы... девяноста пятого года, ваше благородие, — с заминкой ответил Верстаков, казавшийся более захмелевшим, чем остальные.

— Начал службу в каком полку?

— В семьдесят третьем Крымском пехотном, ваше благородие.

— А-а, девятнадцатой дивизии первый полк... В Могилеве-Подольском стоял?

— Так точно, в Могилеве-Подольском, — заметно оживился Верстаков.

— Выходит, что мы встарину были однополчане, — я в Крымском полку как-то отбывал шестинедельный учебный сбор, — сказал Ливенцев уже гораздо мягче по тону, и с Верстакове он подумал, что тот просто опустил, а выправить его, пожалуй, можно будет.

Взводные унтер-офицеры, один — Мальчиков, другой — Гаркавый, не успели еще так отяжелеть, как фельдфебель, хотя были не моложе его. Зато теперь успели уже настолько отрезветь, что старались держаться, как в строю, и в Гаркавом, который оказался родом из Мелитопольщины, Ливенцеву так хотелось видеть второго Старосилу, что он простил ему даже и явное нежелание запускать бороду.

Зато Мальчиков, когда в упор на него навел свечу Ливенцев, был не только густобород, но еще и кряжист, а главное — гораздо моложе на вид своих сорока с лишним лет.

— Ну, этот, кажется, из долговечных, — сказал о нем Ливенцев, обращаясь к Обидину. — Какой губернии уроженец?

— Вятской, ваше благородие, — эта губерния, она так и считается изю всех долговечная, — словоохотливо ответил Мальчиков.

— Гм... не знал я этого, — удивился Ливенцев. — А почему же так?

— А почему, — нас отцы наши так приучили: вот, сосна цветет весной, этот самый с нее цвет бери и ешь себе, — никакого туберкулеза иметь не будешь, потому что там ведь сера, в этих цветочках в сосновых. Также весной, когда сосну спилят, из нее сок идет, опять же мы в детях и этот сок пили... Вот почему наши вятские жители до ста и более годов живут, — говорил Мальчиков четко и на «о».

Ливенцев спросил его:

— Отец-то жив?

— А как же можно, ваше благородие! Десяносто семь ему сейчас будет, ничуть не болеет, как бывает в такие годы, и все дела справляет в лучшем виде, — с явным вос-

хищением и своим отцом и своей губернией говорил Мальчиков. — Да у меня и двое дядей еще в живых, тем уж перевалило... У нас если там шестьдесят — семьдесят лет, это даже и за годы не считается!

— Вполне, значит, молодые люди и восрать итти могут?

— Так точно, вполне могут. — зря их и не берут.

Поговорив еще и с Гаркавым и с фельдфебелем, Ливенцев наконец отпустил их в роту, сказав:

— Теперь уж поздно, а завтра я уж с утра пройдуся по окопам, посмотрю людей.

Ушли трое. — в блиндаже стало заметно просторнее, и вот тогда-то разглядел Ливенцев всю убогость своего жилища, рассчитанного на долгие, может быть, дни, и оценил как следует и ковры, и драпри, и лампу, хотя без абажура, у Капитановых, и другую лампу, с белым абажуром, и бронзовые часы на столе полковника Кюна.

— Прикажете сейчас сдать вам все ротные ведомости? — мрачно спросил Некипелов.

— Нет, это уж завтра, — сказал Ливенцев, только по движению подпрапорщика заметив в углу стола кипу бумаг, накрытую газетой, а рядом с нею пузырек с чернилами, ручку с пером и карандашик.

В блиндаже было два топчана с очень грязными тюфяками на них из каких-то рыжих мешков, и Ливенцев спросил подпрапорщика:

— На какой же из этих роскошных кроватей спите вы?

— Я вот на этой, — безулыбочно ткнул пальцем в один из топчанов Некипелов.

— Хорошо-с. вы на этой, а на другой кто имеет обыкновение почивать?

— А на другой — фельдфебель.

— Вот как! Так, значит, он не с ротой, а я его в роту послал! Ну, с сегодняшней ночи, он уж пусть устраивается там, с ротой: это во всех отношениях лучше и даже необходимо... Теперь остается, стало быть, вам пойти познакомиться со своей четырнадцатой ротой, — обратился Ливенцев к Обидину, но тот забормотал растерянно:

— Я... чтобы... сейчас... так поздно? Не лучше ли мне это завтра с утра, а?.. Я, признаться, очень хочу спать... Я мог бы вот тут на столе устроиться, если вы позволит-

... Я раздеваться, конечно, не стану, а просто так, как

— Да я вам могу свой топчан уступить на ночь,— что же тут такого,— вдруг начал сворачивать свою постель Некипелов, действуя довольно проворно длинными руками.

Он и весь был длинный, но в то же время с каким-то неестественным, может быть, даже переломанным носом, под которым торчали небольшие белесые усы.

— Вы за боевые заслуги получили подпрапорщика? — спросил его Ливенцев.

— А как же? Разумеется, я в юнкерском не учился, — хрипло ответил подпрапорщик и, неся перед собой свой тюфяк из ряднины и замазанную подушку, ушел, не пожелав даже новому ротному командиру, своему теперь начальнику, покойной ночи.

Впрочем, напрасно было и желать этого: покойной первой ночь в таком логовище быть все равно не могла.

Ливенцев не препятствовал его уходу, потому что ему было жаль Обидина, состояние которого он понимал как нельзя лучше.

Огарок свечи в бутылке освещал бледное, с расширенными тоской зрачками, лицо командира четырнадцатой роты, севшего на голый топчан в офицерском блиндаже тринадцатой и бросившего бессильно руки на колени.

— Боже мой, боже мой, что же это за кошмар такой! — заговорил он вполголоса, даже не глядя на Ливенцева, а будто наедине с собой. — Значит, только затем и работал человеческий мозг десятки, а может быть, и сотни тысяч лет, создавал цивилизацию, культуру, изобрел железные дороги, автомобили, аэропланы, телеграф, телефон, радио, небоскребы строил, Панамский и Суэцкий каналы копал, и прочее, и прочее, не говоря о миллионах книг в библиотеках, о миллионах картин в музеях и галереях, и прочее, и прочее, и все это только затем, чтобы загнать человечество в такие вот волчьи логова и в лисьи норы и систематически расстреливать десятки миллионов людей в течение нескольких лет, а сотни миллионов заставлять мучиться и подыхать от голода и тифа... значит, только затем. а?

— Это — один из проклятых вопросов... простите, не знаю вашего имени-отчества...

— Павел Васильевич... а ваше?

— Я — Николай Иванович... Так вот, — проклятый вопрос... А эти проклятые вопросы потому-то и проклятые, что пока неразрешимы. Блаженны верящие, что долготы вятичей — от соснового цвета и от соснового сока. А если бы не было у них под руками сосны, — во что бы могли они верить?

— Что же делать? Что же, скажите, Николай Иванович, делать? — трагически проговорил Обидин.

— Сейчас? Спать! — спокойно ответил Ливенцев, — О проклятых же вопросах думать завтра.

СОВЕЩАНИЕ
В СТАВКЕ

1

О тветить на весеннее наступление немцев, — о чем, как о вполне решенном и вполне подготовленном, они кричали во всех своих газетах, — наступлением русских войск было, конечно, разумной мерой. Эта мысль принадлежала начальнику штаба верховного главнокомандующего Алексееву, олицетворявшему собою мозг русских сил, раскинувшихся от моря до моря. И для того, чтобы остановиться на этой мысли, подсчитать свои силы и согласиться с ней, были собраны главнокомандующие всех трех фронтов на совещание в ставке 1 апреля под председательством царя.

Председательство царя, впрочем, всеми понималось, как присутствие на совещании, которое должен был вести и вел действительно Алексеев. Он и встречал приехавшего в Могилев утром в назначенный день Брусилова, как хозяин ставки.

Можно было по-разному относиться к этому седьмому высоколобому генералу среднего роста, с простым русским лицом, но никто все-таки не отказывал ему в больших военных способностях.

Он вышел из нечиновной и небогатой трудовой семьи, этот генерал, которому не было еще шестидесяти лет. Он не держался «за хвостик тетеньки», чтобы подняться на тот пост, какой занял, он и не добивался его,— просто, этот пост был ему предложен, и ему оставалось только его занять.

Около десяти лет он прослужил офицером в пехотном полку, пока наконец, тридцатилетним, начал готовиться в академию генерального штаба. Окончив академию, он был в ней потом профессором. В чине прапорщика он провел русско-турецкую войну 77—78-х годов, а в русско-японскую был уже генерал-квартирмейстером третьей Манчжурской армии. Когда в 1912 году начала бряцать оружием Австрия, было решено в Петербурге, что Алексеев станет начальником штаба армий, если разразится война. так что, запоздав на два года, война дала этим возможность Алексееву подготовиться к ней настолько добросовестно, насколько мог только он, с большой серьезностью относившийся даже и к маневрам в царском присутствии, которые в подобных случаях обращались в какие-то спектакли на огромной сцене.

Одно время он был начальником штаба у Иванова, в Киевском военном округе, и с тех пор привык относиться с большим почтением к этому бесталанному бородачу. Перед войной он командовал армейским корпусом в Смоленске, так что прошел все этапы как низшей, так и высшей офицерской службы, пока не был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта, то есть к тому же Иванову.

Но в марте 15-го года он получил Северо-Западный фронт, а в августе того же года был вызван в ставку, чтобы стать там тем, кем он был теперь.

Сухомлинов, когда был военным министром, не назначил (это было перед войною) Алексеева начальником академии генерального штаба, когда освободился этот пост, потому что он, не имевший в детстве гувернанток-француженок, не мог свободно говорить по-французски.

— Ну, как же он поедет во Францию на маневры и как он один будет разговаривать с начальником французского генерального штаба? — говорил Сухомлинов.

Тогда начальником академии был назначен светский человек — генерал Янушкевич, который потом, с начала вой-

ны, был начальником штаба в ставке. Заменить его пришлось Алексееву. И теперешний военный министр, бывший главный интендант, генерал Шуваев, был подстать хозяину ставки: человек простых привычек, он, появившись в первый раз в столовой ставки, мягко попросил себе постной пищи, а когда ему сказали, что постного тут ничего не готовят, пошел искать по городу подходящей для себя кухни, сказав при этом:

— Я — человек старый и менять своего режима не могу.

Шуваев выделялся не только большим практическим умом, но и тем, что поколебал привычное представление в обществе об интендантах, как неуголимых хапугах.

Теперь он тоже приехал в ставку из столицы, так как вопрос о наступлении был прежде всего вопросом снабжения фронта.

Генералы Эверт и Куропаткин явились со своими начальниками штабов, Иванов — в одиночестве, как состоящий при особе царя.

Брусилов не был участником японской войны, эти же рое как бы принесли с собою незримо тот горький запах поражений, который им неизменно сопутствовал в те дни.

Как у Шуваева была глубоко укоренившаяся привычка постному столу, так и эти трое были привычно-битые нералы.

О Куропаткине, бывшем в Манчжурии главнокомандующим и начальником Эверта и Иванова, ходило в военной среде чье-то меткое четверостишие в связи с поражениями, которые он нес от командующего японской армией — Куроки:

Куропаткину Куроки
на практике
Дает уроки
по тактике.

А один из великих князей назвал его Пердришкиным, производя эту фамилию от французского *perdre*, что значит куропатка.

Его назначение главнокомандующим Северо-Западным фронтом состоялось незадолго перед тем, в начале февраля. Тогда пришлось отставить фон-Плере по болезни, от которой он и умер. В ставке появился маленький старейший генерал, очень усердно кланявшийся всем, даже и молодым полковникам, смотревшим на него с недоумением, — кто он

и зачем он в ставке, хотя и видели, что он — полный генерал.

Даже когда стало известно всем, что этот маленький старенький генерал — Куропаткин, то, хотя это и вызвало к нему некоторое любопытство, никто не думал все же, что он появился потому, что получает высокое назначение.

Не было мало-мальски опытных генералов, поэтому пришлось вытащить из нафталина и Куропаткина, которого еще Скобелев аттестовал, как хорошего штабного работника и совершенно неспособного командира во время боевых действий.

Громоздкий Эверт имел куда более воинственный вид по сравнению со своим бывшим начальником. Всею осанкой он подчеркивал ежеминутно, что он птица весьма высокого полета.

У себя в главной квартире Западного фронта он любил писать приказы по армиям, причем вместо обычных, принятых в русской азбуке букв ставил такие готические палки, хотя и крупных размеров, что офицеры его штаба проводили все время только в том, что разбирали и расшифровывали его каракули. Иногда он приносил их в неподдельное отчаяние тем, что вместо одних слов писал другие, несколько сходные по начертанию, — например: написанное им «Мария» получало в тексте его приказа смысл только тогда, когда читалось как «армия».

Один гоголевский чиновник тоже писал вместо «Авдотья» — «Обмокни», но, во-первых, он делал это с умыслом. во-вторых, он не командовал фронтом.

Кажется, главнокомандующему фронтом должно бы быть известно, что ручные гранаты употреблялись еще в Крымскую кампанию, однако это не было известно генералу Эверту, почему он и писал в одном из своих приказов: «Из получаемых мною донесений видно, что употребление ручных гранат совершенно не налажено, причем в корпусах их возят в обозах или при саперных батальонах, а потому это *новое средство* к отражению неприятельских и поддержке своих атак, как ручные гранаты, может остаться неиспользованным до конца войны...»

Чтобы ни у кого, кто его видел за общим столом в его штабе, не возникало сомнения в том, что он, несмотря на немецкую фамилию, природный русский, он истово крестился — и садясь за стол и вставая, обедал ли он, зав-

гракал или ужинал. Мало того, — он требовал этого же и от всех чинов своего штаба, как могли бы этого требовать голько в бурсе от семинаристов.

2

По сравнению с Каменец-Подольском, хотя и страдавшим от налетов австрийских аэропланов, Могилев-губернский показался Брусилову чрезвычайно грязным, захудалым, вымирающим, несмотря на то, что в нем была ставка.

Сеялся мелкий дождь из густых низких туч; трепал ветер порывами голые, еще рыжие деревья на бульваре; уныло тащилась мокрая худоробрая рослая пегая лошадь, вытягивая по рельсам на главной улице небольшой линейный зеленый вагончик городского «трамвая». Еврейская беднота сновала по тротуарам. Домишки были ошарпанные, облезлые, давно не видавшие никакого ремонта; и только одни полицейские на постах стремились держаться парадно, выставляя свои руки в белых нитяных перчатках из-под черных плащей, с которых скатывались дождевые капли.

Около царской ставки грязи, правда, было меньше, порядка больше, но даже и в новизне кое-каких, наскоро, видимо, сделанных низеньких строений, похожих на бараки, сквозила какая-то убогость, а главное — лагерность, временность, неуверенность в прочности положения на фронте: строили в расчете на то, чтобы с большою легкостью можно было все это бросить и перекочевать дальше, в глубь страны, благо страна огромна.

Так как Брусилов не мог выехать в ставку ни раньше царя, ни в одно время с ним, когда он уезжал из Каменца, и так как ему хотелось на месте подготовиться к тому, что он мог сказать на совещании, то оказалось, что и Куропаткин, и Эверт, и Шуваев явились раньше его, поэтому они, как и сам Алексеев, встретили его, уже будучи в сборе. Кстати, они и поздравляли его с новым назначением с виду одинаково благожелательно к нему, но только у Алексеева и Шуваева Брусилов уловил искренность и в тоне их слов и в выражении лиц.

Обезьяноподобный великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор полевой артиллерии, находившийся в

ставке, как приглашенный на совещание, тоже поздравляя Брусилова, но не позаботился даже и на иоту изменить при этом свою глубоко безразличную ко всему внешность.

В руках Алексеева Брусилов заметил свернутый в трубочку доклад, который он приготовил для совещания. Этим докладом совещание и началось, когда явился царь и когда все приглашенные, а также и начальники их штабов (Брусилов приехал с генералом Клембовским, Эверт — Квевцинским, Куропаткин — с Сиверсом), уселись по приглашению царя за стол, покрытый красным сукном.

Алексеев читал очень отчетливо, громко, делая особые ударения на тех местах, которым придавал большее значение, хотя значительным в этом совещании было все, так как на нем решалась дальнейшая судьба России, уже достаточной степени потрясенной.

От быстрой смены впечатлений за последние дни, от их пестроты, при всей их важности лично для него, Брусилов чувствовал утомление, тем более, что он не успел часа отдохнуть после дороги. И все же он заставлял себя следить, не пропуская ничего, за нитью алексеевского доклада.

Он понимал, в какое трудное положение попал этот способный человек при таком верховном главнокомандующем, как царь, ничего не понимающий в военном деле — теперь сидевший с видом манекена из окна парикмахерской. Полномочий быть хозяином не только ставки, но всего фронта Алексеев не имел и, конечно, не мог иметь: напротив, он в каждом отдельном случае должен был из свои соображения и замыслы испрашивать разрешения царя, а это ставило его, человека и без того не очень сильной воли, в зависимость от человека с явно для всех пониженной психикой и воли более чем слабой.

Открывая совещание огромной государственной важности, царь не обратился к созванным им своим непосредственным помощникам с какою-либо хотя бы и самой краткой речью, как это сделал бы на его месте кто угодно другой; он только сказал милостиво, как говорил обычно за обедом в своем присутствии:

— Кто желает курить, курите.

И вынул свой серебряный портсигар, уже известный Брусилову, — серебряный потому, что императорский сервиз, взятый в ставку, был тоже серебряный, — походный

не способный разбиться, как фарфоровый, при переездах с места на место.

Алексеев говорил о том, что решено произвести прорыв германского фронта ударом на Вильно, причем прорыв этот должен быть выполнен силами войск генерала Эверта. Для этого на Западный фронт должна стянуться вся тяжелая артиллерия, находящаяся в резерве; для этого туда же будет направлен и общий резерв, находящийся в распоряжении верховного главнокомандующего. Однако не весь этот резерв: часть его предназначается для передачи Северо-Западному фронту, который должен собрать достаточно внушительный кулак, чтобы ударить тоже на Вильно. в прорыв, для его расширения и для выхода в более глубокий тыл германских войск.

Пока говорил это Алексеев — таким тоном, как будто решить поставленную ставкой задачу было так же легко, как в поставить ее, — Брусилов наблюдал за лицами Эверта и Куропаткина.

Конечно, это не могло быть и не было для них новостью, но Брусилов заметил, как они выразительно переглянулись, эти бывшие манчжурцы, точно были и в самом деле удивлены.

Но вот настала очередь удивиться, только по-настоящему, и самому Брусилову: его фронт объявлялся Алексеевым совершенно не способным вести наступательные действия, почему и предполагалось, что он будет только обороняться до тех пор пока не определится, что войска Западного и Северо-Западного достаточно далеко уже продвинулись на запад; только тогда может перейти в наступление и он, что будет вполне для него возможно.

Теперь Брусилов неотрывно глядел на одного только Иванова, который как-то пришипился, наподобие кота, только что проведавшего шкап со снедью.

Когда царь спрашивал в Каменец-Подольске, какие были у него, Брусилова, недоразумения с Ивановым, и Брусилов ответил, что никаких не было, он имел в виду только последнее время. Теперь он сидел и вспоминал, что происходило несколько месяцев назад, когда он собирал все силы для контр-атак против наседавших полчищ Макензена. отступая к реке Бугу.

Тогда от Иванова сыпались телеграммы за телеграммами с такою резкой критикой всех его действий, что он

счел за лучшее приехать для объяснений к нему лично в Ровно, где была его штаб-квартира. Произошло объяснение не совсем обычного рода: Брусилов тогда категорически поставил вопрос о доверии к нему, о том, чтобы его не дергали, чтобы над ним не было няньки, которая бы ежедневно вмешивалась в его действия, не имея понятия о том положении, какое создавалось на фронте его армии. Он даже предложил отозвать его и передать командование другому, если Иванов считает, что он не на своем месте.

В ответ на все это Иванов совершенно не кстати начал ему рассказывать о каких-то случаях из времен японской войны, пытаясь этим развлечь его, успокоить и кончить дело ничем.

Теперь Брусилов видел, что столкновение в Ровно с Ивановым нашло отклик: несомненным для него было, что именно Иванов внушил Алексееву мысль о слабости Юго-Западного фронта, о полной невозможности для него наступать, и ему хотелось тут же после окончания доклада Алексеева встать и доказать то, что знал только один он среди всех, здесь собравшихся: Юго-Западный фронт наступать может и будет, если получит приказ это сделать.

Но Алексеев, который вел совещание, так как царь только курил и молчал, предоставил высказаться не ему, а Куропаткину, почтительно обратившись к нему:

— Алексей Николаевич, было бы желательно выслушать ваши соображения по данному вопросу!

Старичок поспешно попробовал левой рукой седенькую свою бороду, слегка кашлянул и заговорил, наклонившись в сторону царя, но взглядывая время от времени и на Алексеева:

— Я глубоко понимаю всю желательность наступательных действий. Не может быть никакого сомнения, что только они одни могли бы принести вполне осязательные и крайне необходимые результаты, соответственные и величию и достоинству России, но я знаю, к сожалению, и то, насколько сильны немецкие позиции, лежащие против всего вообще моего фронта, а в особенности в направлении на Вильно... в особенности, повторяю, в этом направлении, как наиболее существенном как для нас, так, в равной степени, и для нашего сильного противника. Разве не

делалось уже попыток как с моей стороны, так и гораздо более серьезных со стороны Алексея Ермолаевича (вернул он голову к Эверту). однако они были безрезультатны. Точнее,— результаты были, но совершенно отрицательные: огромные потери у нас и едва ли большие у немцев, а прорыва не получилось.

Что необходимо для успеха дела? Это известно: наличность тяжелой артиллерии и неограниченное количество снарядов к ней. Есть ли это у нас? Насколько я знаю, тяжелой артиллерией мы не богаты. На что же мы можем рассчитывать? На то, что она у нас в скором времени будет? Едва ли я ошибусь, если скажу, что надеяться на это мы не можем. Имеем ли мы право надеяться на то, что коммун сейчас и дальше, скажем в мае, есть и будут слабее, чем они были в истекшем марте или в феврале? Нет оснований у нас на это надеяться. Наш противник был силен и будет оставаться таким же. Так что единственный вывод, к которому я прихожу, взвесив все «за» и все «против»,— это продолжать стоять на занимаемых нами позициях и постараться защитить их, если неприятель перейдет в наступление. Что же касается активных действий с нашей стороны, то они невозможны.

Тут Куропаткин остановился, вопросительно поглядев на царя, увидел полное равнодушие в заволоченных голубым дымом свинцовых царских глазах и умолк, решив, что дальше говорить незачем.

Брусилов сделал нетерпеливое движение, но его готовность возразить Куропаткину предупредил Алексеев. Слегка приподнявшись на месте, он сказал, точно продолжал начатый раньше дружеский спор, мягко и ни для кого не обязательно:

— С вашим взглядом на невозможность наступления не только на Северо-Западном фронте, мне достаточно хорошо известном, но и на Западном, я не могу согласиться. Наступать на обоих этих фронтах мы не только должны, но и можем. А что касается поднятого вами вопроса о тяжелых снарядах, о их у нас недостатке, то это мне, к сожалению, приходится подтвердить. Да, у нас мало и тяжелых орудий, но совершенно недостаточно снарядов к ним. Следовательно, надо изыскать способы и средства к устранению этого недостатка.— Тут он обра-

тился к Шуваеву: — Быть может, какие-либо светлые перспективы может нам указать Дмитрий Савельевич?

Человек приземистый, плотный и деловито-спокойного вида, Шуваев отозвался на этот вызов неторопливо, но тоном, не допускающим сомнений:

— Наша военная промышленность дать тяжелые снаряды в большом количестве пока не может. Остается только ожидать, когда их могут доставить наши союзники, но этот процесс — доставка из-за границы теперь, морем — сделался чрезвычайно сложен, тем более, что ведь и союзникам нашим дозарезу нужны те же тяжелые снаряды: у себя оторвать, когда у тебя самого нехватает. — на это кто же решится? Своя рубашка ближе к телу. Слов нет, должно наступить время, когда производство тяжелых снарядов там, за границей, перекроет потребность в них, но этим летом такого положения не будет во всяком случае.

Он умолк сразу и с сознанием честно исполненного долга. — это заметил Брусилов по выражению облегченности на его широком лице.

Конечно, Алексеев, не думал, что великий князь скажет что-нибудь для него новое, когда обратился потом к нему. Но Брусилов понимал, что этого требовал весь ритуал совещания в царском присутствии, и Сергей Михайлович, перезав по сморщенному немудрому лбу весьма подвижными бровями, заявил, что военный министр вполне в соответствии с фактами обрисовал тяжелое положение с тяжелыми снарядами; как генерал-инспектор полевой артиллерии, он может только подтвердить это.

— Но зато, — оживленно добавил он, — легкие снаряды имеются у нас в изобилии. Легкими снарядами мы можем буквально засыпать фронт. Так что, если бы для наступления достаточно было бы одной только легкой артиллерии и снарядов к ней, то в этом отношении мы богаты.

Алексеев склонил голову, как склоняет ее человек, вполне покорный неизбежной судьбе. но, сделав рукой пригласительный жест в сторону Эверта, добавил к этому жесту многозначительно:

— Ваш фронт, Алексей Ермолаевич, мы считаем и наиболее сильным и наиболее важным. Имея в виду на помощь вашему фронту бросить почти все резервы, просим вас отвечать на поставленный вопрос о возможности на-

тупления, приняв во внимание именно это: все или почти все резервы — вам!

Брусиллов не то чтобы питал к Эверту какие-либо личные чувства неприязни, — он его слишком мало знал для того, — но он просто не признавал в нем способностей, необходимых для руководства фронтом.

Он знал, что Эверт, как и его бывший начальник Иванов, никогда не бывает на позициях, ограничиваясь чтением телеграфных донесений, хотя и сам же поднимал в ставке вопрос о том, что донесения эти сплошь и рядом бывают лживы, что лгут все от мала до велика, чтобы или представить положение лучше, или обрисовать его гораздо хуже, чем оно есть, в зависимости от того, что для них полезней в смысле получения наград и продвижения по службе, и что не лгут одни только солдаты, которые совершают иногда чудеса геройства, но донесений не пишут.

Брусиллов считал также, что последняя операция Эверта, когда он потерял чуть ли не сто тысяч человек, не удалась потому, что была поручена совершенно неспособному генералу Плешкову, что она была подготовлена из рук вон плохо, что для нее было выбрано совершенно неподходящее время: главнокомандующий фронтом преступно-непростительно оттягивал начало операции и был захвачен во время ее развития бурным таянием снегов, сделавшим ее продолжение невозможным.

Брусиллову чудилась какая-то умышленность, злость со стороны Эверта во всем, что тогда делалось на Западном фронте при его попустительстве. От его выступления теперь он ожидал только открытого нежелания наступать и не ошибся, конечно.

С первых же слов Эверт заявил, что вполне разделяет мнение Куропаткина, но, в полную противоположность униженно и виновато склонявшемуся над столом в сторону царя апостолу «терпения, терпения и терпения», Эверт не поступился ни одной нотой из своего вполне благополучного, молодцеватого вида.

— Оборонительные действия — это все, что мы можем вести на всех фронтах и, в частности, на вверенном мне Западном, — говорил он с большой авторитетностью в голосе жирного тембра. — Наступать при отсутствии у нас тяжелой артиллерии — это значит совершенно беспо-

лезно для дела истреблять людей, как бы значительны у нас ни были людские резервы. Как можно верить в успех наступления, когда попытки к этому уже были и окончились для нас весьма печально? Другое дело, если у нас будет тяжелой артиллерии и снарядов столько же, сколько у нашего противника,— тогда... тогда мы можем быть уверены в полном успехе защиты наших позиций, так как сейчас мы и в этом не вполне уверены, а для наступления мы должны быть сильнее противника по крайней мере вдвое, если не втрое. Вот все, что я могу сказать на основании своего опыта в наступательных действиях.

Совершенно неожиданно для Брусилова его неприязнь к Эверту, укрепившаяся после таких слов, как бы перекинула мост к тому, с чем мог выступить он непосредственно тут же, когда в его сторону обратился Алексеев, сказав не то с улыбкой, не то с какою-то надеждой, осветившей подобно улыбке его простонародное курносое лицо:

— Ну, вот! Теперь хотелось бы выслушать вас, Алексей Алексеевич!

Хотя Брусиллов и не готовился предварительно к речи, понимая, что это совсем не нужно, но он был в достаточной степени переполнен доводами в пользу если не наступления вообще, то наступления именно со стороны своего фронта, чтобы и начать горячо и продолжать убежденно:

— Я слышал сейчас неоднократные заявления о том, что у нас нет или почти нет, что по существу одно и то же, тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, и, признаюсь, весьма удивлен, что ничего не слышал о наших недостатках в авиации. А между тем, говоря о тяжелой артиллерии, не мешает вспомнить и о том, что мы не в состоянии корректировать навесного огня, потому что не имеем хоть сколько-нибудь порядочных аэропланов в своем распоряжении. В этом отношении противник решительно подавляет нас и количеством аппаратов и умением ими пользоваться. Наши «Ильи Муромцы» оказались ввиду их громоздкости мало пригодными для дела, да их и мало: на моем фронте их совсем нет. Заграничные аппараты в большинстве своем износились, и если кому в состоянии принести ощутительный вред, то это — самим же нашим летчикам. Меня поражает, что мы, столько претерпевшие от неприятельской авиации, все еще недооцениваем этого

средства борьбы. У нас были неудачные попытки наступления, и я считаю большой беспечностью с нашей стороны, что мы не изучили всесторонне причины наших неудач, как будто они касаются только одного, скажем, Западного фронта, а не всех других фронтов. У нас, несомненно, есть много недостатков и в повседневном управлении войсками, и в снабжении их боевыми припасами, и во многом другом, и все-таки я беру на себя смелость утверждать, вопреки высказанным здесь мнениям главнокомандующих Западным и Северо-Западным фронтами, что мы наступать можем!

Тут Брусилов остановился на момент, чтобы приглядеться к выражению лиц царя и Алексеева. Царь смотрел на него в упор, но без малейшего выражения в глазах. Алексеев же, как ему показалось, удовлетворенно наклонил голову.

— Не может быть никакого сомнения, что общее состояние чужих фронтов знают гораздо лучше меня их главнокомандующие. Прошли считанные дни, как я сам принял врученный мне Юго-Западный фронт. Мне могут сказать, что я и его не знаю, я знаю только свою бывшую восьмую армию, с которой провел много месяцев и которую испытал во многих боях. Но зато я знаю, — уверен, что знаю и очень хорошо знаю секрет наших общих неудач: он состоит в отсутствии со-гла-со-ванности действий.

На огромном общем фронте нашем собраны громаднейшие силы, и численно мы гораздо сильнее нашего противника. Чем же объяснить то, что, когда бы и где бы мы ни задумали наступать, он в конечном счете оказывается сильнее нас в этом именно пункте и осаждает нас назад? Ответ простой: противник несравненно более подвижен и к раненному нами месту сейчас же притягивает не только закупорку, но и внушительные силы для контр-атаки. Откуда же он берет эти силы? Из общего резерва? Отнюдь нет: с другого участка своего фронта, против которого наш фронт совершенно бездействует. Из вашего доклада, Михаил Васильевич, — обратился он к Алексееву, — я услышал, что Юго-Западный фронт к наступательным действиям не способен.

Я не знаю, на основании чего вынесен этот поистине смертный приговор вверенному мне фронту. Мне кажется.

что тут что-нибудь одно из двух: или, вручая мне этот злополучный фронт, меня самого, так сказать, выводят в тираж, исходя из принципа: «по Сеньке и шапка» или «каждый сверчок знай свой шесток», или же, — на что я и надеюсь, — Юго-Западный фронт доверен мне затем, чтобы он доказал свою боеспособность под моим руководством. Если я так именно понимаю свое назначение, как сно было предположено высочайшей волей, то мне ничего и не остается больше, как доказать, что я достоин выраженного мне доверия. Стоять в стороне в спокойной позе наблюдателя в то время, как не на жизнь, а на смерть дерутся рядом мои товарищи, я никогда не был способен. Я всегда держался старинного суворовского завета: «Сам погибай, а товарищей выручай!» И теперь я осмеливаюсь думать, что если ударные задачи будут возложены верховным командованием на Западный и Северо-Западный фронты, то они не минуют и Юго-Западного. Пусть я не добьюсь даже успеха, но зато, несомненно, я значительно облегчу задачу, которая будет решаться к северу от меня. Я привлеку на свой фронт резервы противника и этим его обессилю в других направлениях. Если на это мое предложение можно мне что-нибудь возразить, то я выслушаю возражение с величайшим интересом, на какой я способен.

Брусилов чувствовал большой подъем, когда говорил это, но когда он посмотрел на царя, прозрачно окутанного табачным дымом, то увидел, что царь зевал.

Это был не короткий, прячущийся зев, а очень длительный, самозабвенный, раздражающий челюсти и вызывающий на глаза слезы.

Конечно, царь плохо спал в своем вагоне, пока ехал сюда, но ведь и все здесь, кто приехал на совещание, едва ли спали лучше. Брусилов вспомнил, что и сам он в эту ночь спал не более двух часов. Зевота царя его оскорбила. Зато Алексеев глядел на него вполне благожелательно, и теперь уже ясно было, что он улыбался.

Алексеев сказал, выждав с полминуты, когда он закончил:

— Я ничего не могу возразить против вашего, Алексей Алексеевич, желания принять в наступлении участие в своем фронте. Но только я считаю долгом предупредить вас, чтобы вы не надеялись напрасно, — мы ничего на ваш фронт дать не можем: ни тяжелых орудий, которых у нас

резерве в обрез, ни больше, чем вашему фронту придется получить по разверстке, снарядов для тех орудий, какие у нас имеются. Это настоятельно прошу иметь в виду.

— Да ведь я и не заявлял, что надеюсь получить что-нибудь, кроме того, что имею, — отозвался на это Брусилов. — Для меня будет важно уже и то, что я делаю общее дело вместе с другими, что я не изгой, что фронт мой не какой-то заштатный, и только. Зато ведь я и не обещаю непременно ни каких особенно блестящих успехов: я не мечу в какие-то Наполеоны, я не юноша. Роль вытяжного пластыря для резервов противника, вот и вся скромная роль, на которую я прошусь, но по крайней мере я буду знать, что вместе со всеми чинами своего фронта буду в свое время занят полезным делом, а не обречен бить баклуши.

Алексеев совершенно успокоенно и даже благодарно, как показалось Брусилову, кивнул раза два ему головой и перевел ожидающие глаза на Куропаткина. Тот понял, что после заявления Брусилова ему необходимо выступить снова, что Брусилов поставил его в неловкое положение. И он заговорил, стараясь все же избегать какой-нибудь определенности.

— Разумеется, если только от меня не будут требовать успеха во что бы то ни стало, то наступать могут и вверенные мне войска. Наступать хотя бы для того, чтобы создать затруднительное положение для противника в смысле свободного распоряжения резервами, когда будут развивать свой удар армии Западного фронта.

Пришлось сказать несколько слов в том же духе и Эверту:

— Это совсем другая постановка вопроса, когда требование непременно успеха, притом успеха крупного, решающего чуть ли не всю кампанию, снимается и остается просто наступательное действие, а там уж что выйдет, то выйдет. При таких условиях, конечно, свою долю пользы общему делу может принести и вверенный мне фронт.

— В таком случае, как полагаете, можете ли вы быть готовы к наступлению в первые же дни, как позволит это установившаяся погода, — скажем, к середине мая? — быстро спросил его Алексеев.

— К половине мая? — переспросил Эверт, поглядев при

этом на Куропаткина. — К половине мая, пожалуй, да, Думаю, что смогу подготовиться.

— А вы, Алексей Николаевич? — так же быстро атаковал Алексеев ученика Куроки.

— К половине мая? — счел нужным повторить и тот. — То есть, через шесть недель? — он посмотрел вопросительно на Эверта и ответил: — Думаю, что это достаточный срок.

— Отлично! Очень хорошо! — заметно повеселел Алексеев. — Вас, Алексей Алексеевич, не спрашиваю, — добавил он.

— Да, разумеется, я постараюсь подготовить свой фронт к середине мая, — сказал Брусилов, взглянув при этом на царя.

Царь снова затяжно и судорожно зевал.

»

Так как подошло время завтрака, то совещание было прервано, хотя оно должно было рассмотреть и обсудить много еще вопросов более мелкого характера — по части снабжения войск продовольствием, оборудования медицинской помощи, бань и прочего, приобретающего теперь немалое значение, раз наступление в мае было решено.

Завтракать все были приглашены в дом к царю.

На охране всей ставки числилось полторы тысячи человек, но, конечно, особо тщательно охранялся дом, в котором жил царь, когда приезжал в ставку. На отдельных площадках около дома размещены были пулеметы для защиты от цеппелинов.

Дом этот был двухэтажный. Там были и парные наружные часовые, и казаки-конвойцы внутри, и лакеи, и скороход — лицо немалых полномочий. Кроме того, весь дом был напосажен лицами царской свиты, начиная с неизбежного «генерала от кувакерии» Воейкова, гофмаршала князя Долгорукова и других свитских генералов и конвой флигель-адъютантами. Фредерикс появился несколько позже вместе с начальником конвоя графом Граббе и флигель-капитаном адмиралом Чаловым.

Зал был не слишком обширен и небогато убран: белые обои, недорогие портьеры, бронзовая люстра, рояль, портреты отца и матери царя в багетовых овальных рамах и стулья вдоль стен.

Здесь царь здоровался с теми, кого не видал в этот день, потом, пригласив движением головы ближайших к нему в столовую, первым вошел в отворенную перед ним настежь изнутри дверь.

Гофмаршал Долгоруков, со списком царских гостей в руках, указал каждому его место за большим столом. Брусилов невольно улыбнулся, глядя с какой серьезностью он это проделывал, и представляя в то же время, сколько пришлось ему ломать голову, кого куда посадить, чтобы соблюсти и общие правила, — визави царя, например, всегда садился граф Фредерикс, — и примениться к обстоятельствам такого экстренного случая, как сбор в ставку главнокомандующих фронтами и их начальников штабов.

Рядом с царем были посажены — по одну сторону — великий князь Сергей Михайлович, по другую — Алексеев. Рядом с Фредериксом — Иванов и Куропаткин. На них двоих пришлось смотреть во время завтрака Брусилову, так как он сидел рядом с Алексеевым, и потому завтрак в ставке очень живо напомнил ему обед в салон-вагоне Иванова: как там, так и здесь Иванов сидел, обиженно молча.

Так же молчалив был он, впрочем, и на совещании, но там случилось Брусилову поймать обращенный к нему тяжелый, не то презрительный, не то ненавидящий взгляд: это было как раз в то время, когда он говорил о возможности наступления.

Брусилов понимал, конечно, что ничего сложного не происходит теперь в темной душе этого старого бородача: только тяжкое оскорбление, нанесенное ему тем, что он, считавший себя незаменимым, заменен своим бывшим подчиненным. Даже Фредерикс, повидимому, понимал, что к нему лучше не обращаться с разговорами, и говорил только с Куропаткиным.

Перед каждым завтракавшим стояли серебряные стопки для вин, причем вина брали в серебряных же кувшинах. — однако этим и ограничивалась вся роскошь царского стола в ставке: на войне, как на войне.

Умилительно было наблюдать, как Фредерикс и Куропаткин, оба — старые царедворцы, стремились превзойти друг друга в изысканной угодливости, но Брусилов, которому Куропаткин последних лет был не вполне известен, с

интересом наблюдая его, не мог не заметить, что и тот наблюдает его довольно пристально.

После завтрака Куропаткин неожиданно для Брусилова подошел к нему, взял его за локоть, отвел в сторону и заговорил пониженным голосом:

— Послушайте, Алексей Алексеевич, — я в полном недоумении был, когда вы говорили, что можете наступать!

— В недоумении? — повторил тоже недоуменно Брусиллов. — Почему же именно, Алексей Николаевич? Да, я вполне могу наступать на своем фронте, — тут никакой решительно натяжки нет.

— Вы можете?.. Впрочем, если даже вы думаете, что можете, то ведь это заставило и меня тоже сказать, что и я могу, а между тем я вполне убежден, что наступление наше окончится провалом.

Маленький старик-полководец, говоря это, совсем потерял всю свою недавнюю приторность: он оказался теперь необычайно серьезен.

— Провалом или успехом, — этого мы с вами не можем знать наперед, Алексей Николаевич, — столь же серьезно сказал Брусиллов. — Наконец роль вашего фронта, насколько я понял, будет вспомогательная, а главная выпадает на долю Западного.

— Западного? — Куропаткин быстро оглянулся, ища глазами Эверта, и продолжал почти шопотом: — Западный, кажется, доказал уже, что наступать он не способен. Каких же еще нужно доказательств, если его мартовская операция для вас неубедительна? Я чрезвычайно сожалею, что не был осведомлен заранее о ваших взглядах на этот предмет. Мне кажется, я мог бы поколебать вас в этом решении вашем, если бы знал о нем. Генерал Эверт тоже изумлен, — я успел перекинуться с ним двумя словами. Однако, мне думается, еще не поздно заявить о том, что вы... как бы это выразиться... переоценили возможности своего фронта и недооценили нашей общей бедности в снаряжении. Вот вы же говорили, что у нас очень мало аэропланов. Да, да, конечно, до смешного мало сравнительно с немцами! Как же мы можем надеяться на успех, когда мы — слепые, а они зрячие? Они о нас будут знать решительно все в то время, как мы о них ничего! Какой же успех мы можем иметь, — не понимаю.

— Успех зависит от очень многих причин, — сказал

русиллов, — а самое главное, от того, как будут вести себя войска.

— Вот видите! — подхватил Куропаткин. — Как будут вести себя войска? Отвратительно будут они себя вести, ниже всякой критики будут себя вести, — вот как!.. Алексей Алексеевич, прошу вас выслушать мой совет, — изменил он тон на вкрадчивый и сладкий. — Собрание еще не закончилось. Поднимите этот вопрос снова под предлогом внести в него ясность!

— Поднять вопрос снова? Зачем? — удивился Брусиллов. — Чтобы его перерешили?

— Разумеется! Разумеется, именно за этим!

— Нет, Алексей Николаевич, этого я не сделаю, — твердо сказал Брусиллов, и Куропаткин потемнел и начал смотреть на него с сожалением.

— Охота же вам рисковать всюю своей военной карьерой! — покачал он сокрушительно головой. — Ваше имя сейчас стоит высоко. Вы получили фронт за боевые заслуги в этой войне, и вам бы надо было побережь себя, а вы сами подвергаете его опасности!.. Раз о нашем фронте сложилось в ставке убеждение, что он не боеспособен, — и превосходно! В наступление, значит, не переходить, своим новым постом не рисковать, шеи себе не ломать, — чего же вам больше? Какую пользу, скажите мне, желаете вы извлечь из поражения, которое совершенно неизбежно?

— Польза мне лично? — оскорбленно вскинул голову Брусиллов. — Я ищу и желаю пользы только для России, а совсем не для себя! Поста главнокомандующего я не искал, и он свалился на меня, как полная неожиданность, и если для дела, для пользы службы России, а не моей личной, меня отчислят за негодностью в отставку с назначением ли в государственный совет или даже без такой любезности, я несколько не буду этим оскорблен или огорчен, поверьте!

Последние слова вырвались у Брусилова потому, что он вспомнил Иванова. Куропаткин же, как бы испуганный даже неактивностью своего собеседника, который незаметно для себя несколько повысил голос, поспешно отошел от него, вздернув плечи.

После завтрака собрание продолжалось еще несколько часов, но вопрос о наступлении уже никем не поднимался

больше, — он считался решенным как Алексеевым, так и царем, который зевал теперь совершенно неудержимо.

Совещание закончено было к обеденному часу. Обедали в той же царской столовой. Тут же после обеда главным-командующие разъехались, едва успев проститься друг с другом и ни одним словом не обменявшись по поводу будущих совместных действий.

Единственное, что подметил Брусилов в лице царя, когда откланивался ему, было довольное выражение, что наконец-то скучнейшее совещание си кое-как высидел и теперь может уснуть.

Брусилов не знал однако, что был человек, покушавшийся на это вполне законное предприятие монарха величайшей империи в мире. Человек этот был «состоящий при особе царя» Иванов.

Он вдруг обрел дар речи, оставшись около царя, когда разошлись почти все другие. Он имел чрезвычайно взволнованный вид, и голос его дрожал, когда заговорил он:

— Ваше величество, умоляю вас, верноподданнически умоляю вас, предотвратите!

— Что такое? Что с вами?.. Что я должен предотвратить? — изумленно спрашивал его царь, совершенно не понимая, что творится с крестным отцом его единственного сына.

— Предотвратите наступление, ваше величество! — выдал горлом Иванов, так как его душили спазмы. — Брусилов — злусный карьерист, — вот кто он, я давно его знаю... Он погубит все армии моего фронта!.. Он послужит причиной гибели и армий всего Западного фронта! Он все дело обороны России погубит, ваше величество!

Иванов сделал такое движение, как будто хотел упасть на колени, и царь едва удержал его. Тем недовольнее он глядел на него сквозь узкие щели отяжелевших век и сказал наконец:

— Почему же там, на совещании, вы не заявили об этом? Ведь вас никто не лишал права выразить мнение... больше того: вы затем и были приглашены на совещание, чтобы высказаться по этому вопросу.

— Я не предполагал, ваше величество, я отказывал себе в мысли допустить, что подобное решение будет принято! — не совсем внятно от душивших его чувств проговорил Иванов, приложив обе руки к сердцу в знак доказа-

дельства полной правдивости своих слов, однако он рас- считал плохо.

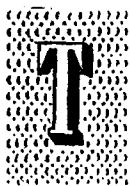
Был ли причиной тому совершенно неподходящий мо- мент, — ведь говорится, что сон милее родного брата. — Или царем были приняты в уважение другие, гораздо бо- лее серьезные причины, только он несколько брезгливо и даже в нос отозвался Иванову:

— Теперь во всяком случае вы докладываете мне ваше мнение очень поздно. Решение об открытии наступатель- ных действий принято на совещании и внесено в прото- кол. Перерешаться этот вопрос не будет.

И он отошел от Иванова, который понял наконец, что возврата к деятельности полководца ему уже больше не будет, что «состоять при особе царя» ему совершенно незачем, что это только позолота горькой пилюли, что единственное осталось ему: отправиться в Петроград, где можно поселиться на казенной квартире с видом на Неву, числиться по государственному совету, читая газеты с осторожными статьями о неудачах наступления на всех фронтах, доказывать другим, таким же отставным, как и он, что был в свое время совершенно прав, но его не хо- телли слушать, и запоем писать мемуары.



НАЧАЛЬНИК ДИВИЗИИ



Только что вернувшись из ставки в Бердичев, Брусилов разослал телеграммы командующим всех четырех армий своего фронта с приказом собраться в Волочиске.

Он не хотел терять ни одного дня в подготовке наступления. Волочиск был выбран им потому, что был гораздо ближе к линии фронта, чем Бердичев, и добраться до него участникам военного совета было удобнее и скорее.

И вот они сидели за общим столом для того, чтобы обдумать общее мероприятие огромной важности — наступление на Юго-Западном фронте, который, по мнению ставки, к наступлению был совершенно не способен.

И Щербачев, и Крымов, и Сахаров, и тем более Каледин, — все эти четыре генерала были гораздо лучше известны Брусилову, чем Эверт и Куропаткин, а главное — они были его подчиненные. Однако даже исполнять прямые приказы они могли всячески, — это зависело от того, насколько они сами способны были верить в успех общего дела.

Еще не открывая беседы с ними, Брусилов вглядывался в их лица, стараясь угадать, можно ли их заечь тем огнем, какой горел в нем самом. Он переводил глаза с од-

ного на другого, но убеждался, что видит обычные их выражения: внешнюю настороженность, какую особенно ярко проявлял в ставке и Куропаткин, прикрывавшую глубокое внутреннее равнодушие.

Даже наиболее молодой из его помощников, Крымов, — человек большого роста, вполне картинный боевой генерал, — и тот сидел с таким видом, как будто иронически думал про себя: «Послушаем, послушаем, что ты такое скажешь!»

Вспухшее, точно искусанное пчелами, лицо Сахарова вообще выразительностью не отличалось, и здесь он спокойно-загадочно глядел узенькими, как у калмыка, глазками, выжидая.

Каледин, взявший в свои руки восьмую армию, к которой Брусилов питал вполне понятное доверие и на которую надеялся больше, чем на другие, имел заранее обреченный, понурый вид, а Щербачев, испытавший такую крупную неудачу в декабре, хотя и старался держаться так, как будто ничего особенного с ним не случилось, а главное — он совсем не виноват, но маска привычной самоуверенности плохо держалась на нем.

С выздоровлением генерала Лечицкого, испытанного уже руководителя девятой армии, Крымов, правда, должен был вернуться к своему корпусу, но ведь и от действий этого корпуса тоже многое могло зависеть при наступлении. И Брусилов перебирал в памяти известных ему понаслышке или лично командиров корпусов в других армиях, кроме бывшей свой восьмой. Ему хотелось подвести как можно более прочный фундамент под то свое убеждение, какое он с большой энергией отстаивал в ставке, — что Юго-Западный фронт может наступать и будет, поэтому он медлил открывать совещание.

Но и открыл он его наконец только затем, чтобы передать решение ставки и свое. Он так и начал немногословно и категорично:

— Я счел необходимым, господа, со всей возможной поспешностью, притом лично, поставить вас в известность, что на совещании в ставке решено: в наступлении, предприняемом в первых числах мая Западным и Северо-Западным фронтом, принять активное участие и нашему фронту. О мерах подготовки к этому наступлению мне и

хотелось бы поговорить с вами, поскольку каждый участок фронта имеет свои особенности.

Сказав это, Брусилов сделал намеренную паузу. Он не думал, конечно, что слова его явятся новостью: он сам приехал с начальником своего штаба, генералом Клембовским, и командующие армиями взяли сюда с собой своих начальников штабов, — при таком многолюдстве нельзя было и надеяться ошеломить слушателей новостью, — но ему хотелось все-таки проследить бегом за выражением лиц, а потом пойти дальше.

Однако его пауза снята была Щербачевым как предлог к дебатам. Он поднялся, узкий, худощавый, стремительный, и заговорил вдруг торжественно:

— Алексей Алексеевич, вы знаете, что я всегда предпочитал наступательные действия оборонительным по той простой причине, что оборона, как бы она ни была блестяща, никогда не приводила и по самой сути своей не может привести к победе. Но в данное время я считаю своим долгом доложить вам, что вверенная мне седьмая армия, по общему состоянию своему, к наступательным действиям совершенно не способна.

— Это все, что вы хотели сказать? — сухо спросил его Брусилов.

— Я могу развить это общее положение, перейдя к частностям, — сказал Щербачев.

— В этом никакой надобности нет, — перебил его Брусилов. — Состояние вашей армии мне известно, также и других армий. И такого вопроса, может или не может та или иная армия наступать, я прошу всех вообще не поднимать на этом нашем собрании. Раз вопрос о наступлении решен в ставке под председательством верховного главнокомандующего, то как же можно заявлять тому или иному из командующих армиями: «Я наступать не в состоянии»? Решение ставки — это приказ, а приказ должен быть выполнен. Значит, о чем же мы можем говорить и что именно обсуждать сегодня? Только и исключительно об одном и одно: какими способами можем мы выполнить приказ о наступлении, что необходимо для этого сделать?

Сказав это, Брусилов снова сделал паузу, длившуюся всего несколько секунд, но за эти секунды он успел заметить, как выразительно переглянулись два старших командующих армиями — Щербачев и Сахаров — и оба

младших — недавние корпусные командиры — Каледин и Крымов. Он видел, что им не понравился даже самый тон, каким заговорил с ними новый главнокомандующий фронтом (Иванов не говорил таким тоном), поэтому он решил укрепить на заседании именно этот тон, сделать его категоричней, чтобы сразу пресечь всякую возможность кривотолков.

— Я очень прошу вас всех, — продолжал он, попеременно глядя при этом то на Щербачева, то на Сахарова, — отнестись к тому, что я сказал уже и что буду развивать в дальнейшем, не только как к приказу, полученному мною в ставке, но и как к моему личному приказу. Требую от вас отнестись к задаче нашего майского наступления сообразно с правилами воинской дисциплины, от которой вы не только не избавлены своими высокими постами в русской армии, но которую, именно в виду этого, вы-то и должны в первую голову соблюдать. Поэтому никаких отговорок ни от кого я не приму, и самое лучшее с вашей стороны будет, чтобы они вами не поднимались.

После таких полновесных слов глаза всех, сидевших за столом, обращены были только на Брусилова, точно он стал освещен вдруг вспышкой магния. Сам же Брусилов, видя это и хорошо зная генеральскую среду, понял, что не столько его резкий тон, не столько смысл его слов произвели впечатление на этих косных людей, сколько убеждение, появившееся, конечно, у каждого, что их новый главнокомандующий получил от царя в ставке какие-то необыкновенные полномочия, каких не имел даже Иванов, несмотря на свою близость ко двору.

Поймав это выражение на всех лицах, Брусилов продолжал говорить дальше уравновешеннее и спокойней, так как основное им было уже достигнуто:

— Показывая его величеству девятую армию в Каменец-Подольске и около него, я удостоился благодарности государя за тот порядок, в каком были найдены части, хотя заслуга тут была не моя, а генерала Лечицкого. Порядок этот действительно никак иначе нельзя и назвать, как только образцовым. Я вполне убежден, что подобный же порядок найду и в одиннадцатой и в седьмой армиях, которые назначу смотр в ближайшие дни. О своей бывшей восьмой не говорю, так как ее очень хорошо знаю.

Что нам всем известно из опыта последнего года войны?

Я не ошибусь, конечно, если суммирую этот опыт в немногих словах: наступательные действия противника удаются, как, например, всем хорошо памятный прорыв фронта третьей армии Макензенем, и приводят к неисчислимым потерям, а наступательные действия наши не удаются, как это мы видим на примере седьмой армии в Буковине и Галиции, или как недавнее наступление на Западном фронте у генерала Эверта. Возникает естественный вопрос: почему то, что удастся противнику, не удастся нам?

Тут Брусилов сделал было новую паузу, вопросительно глядя при этом на Щербачева, однако, чуть только тот несколько приподнялся, чтобы сказать, конечно, всем уже набившие оскомину слова о недостатке снарядов и вообще технических средств, Брусилов сделал ему рукою останавливающий жест и ответил на свой вопрос сам:

— Все дело только в тактических приемах, которые наши руководители наступлений стремятся слепо заимствовать у немцев, вместо того чтобы создавать соответственно обстоятельствами свои приемы. Прием немецких тактиков грубо прост и остается пока неизменным, а именно: собирается кулак против намеченного для прорыва места, и множество собранной артиллерии начинает долбить позиции, пока не продолбит брешь, в которую бросается пехота, а потом конница пускается по тылам, вот и все. Показываю, — повысил он голос, — этот немецкий прием при нашем готовящемся наступлении решительно отбросить!

Генералы переглянулись в недоумении, а Брусилов, который и не ожидал ничего другого, продолжал уверенно и спокойно:

— В дело должен быть введен другой прием, тоже, разумеется, весьма простой, но почему-то до сего времени никем не применявшийся: каждая из четырех армий вверенного мне фронта должна наметить свой участок для прорыва фронта противника, и, соответственно с тем, какая из армий будет действовать удачнее других, ее успех незамедлительно будет поддержан и развит силами общезонного резерва. Но, кроме того, некоторые корпуса, — тут Брусилов прониновенно посмотрел на Крымова, — тоже должны будут начать земляные работы, как подготовку к наступлению, причем это, разумеется, неминуемо станет известным противнику и неминуемо же собьет его с толку относительно настоящих направлений прорыва в каждой из

армий. Противник будет видеть сверху, с аэропланов, и будет фотографировать, конечно, нашу подготовку на боевое сближение с ним в одном месте, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, наконец, — и куда же именно командование его должно будет стягивать свои резервы? Между тем резервов у него немного, это известно нам. Вся сила его заключалась только в том, что эти резервы он умел стягивать к одному, нужному в тот или иной момент пункту, а мы этого не умели делать. Чем же он превосходил нас? Только ли тем, что у него более совершенная техника и более развитой транспорт? Нет, еще и тем, и главным образом тем, что держал в своих руках инициативу. Эго-то шанс мы и выйдем из его рук, когда начнем наступление сами.

Брусилов говорил долго, так как ему было о чем говорить, и с подъемом, так как здесь, в кругу своих ближайших помощников, он уже почти осязательно представлял, во что может вылиться задуманная им операция, при одном только условии — если на фронте той армии, которой удастся прорыв, сумеют ковать железо, пока горячо, не дадут остыть развязанной энергии войск. Эта армия, на долю которой выпадет успех, должна была быть, по его мнению, не какая-либо другая, как только его бывшая, восьмая, и в конце своей речи он сказал об этом:

— Каждый успех той или иной армии я буду поддерживать всемерно, но главный удар все-таки намечается мною в направлении Луцка, то есть почетнейшая задача выпадает на долю восьмой.

Так как при этом он остановил глаза на Каледина, то это привело в смущение очень быстро выдвинувшегося генерала, к тому же только недавно вернувшегося после тяжелого ранения в строй. Теребя усы и с заметным трудом поднимая голову, запинаясь, глухо заговорил Каледин:

— Я не могу не быть благодарным за доверие ваше, Алексей Алексеевич, к моим... э-э... возможностям... главное же — возможностям командуемой мною армии... но не могу также не напомнить... э-э... что неприятель именно на Луцком направлении... чувствительно укрепился, так что мне кажется, что атака в лоб таких позиций не будет... не может даже быть успешной... Это заявить я считаю своим долгом.

Брусилов довольно давно уже знал Каледина, — еще до

войны, по Киевскому военному округу. — и знал его тогда как прекрасного начальника кавалерийской дивизии. Благодаря его личному представлению Каледин получил корпус и никому другому, после отказа Клембовского, он, Брусиллов, не хотел бы передавать своей армии, — только этому сумрачному с виду, но деловому генералу. И вот этот генерал повторяет то, что сказано было до него Щербачевым и что он, Брусиллов, требовал не повторять.

— Я... я знаю позиции противника в Луцком направлении лучше, чем можете знать их вы. — резко возразил Каледину Брусиллов. — Я... я знаю состояние восьмой армии также гораздо лучше, чем успели узнать ее вы! Если мною выбрано именно это, Луцкое направление, то я преследовал тут и другую цель: поддержать наступление соседних с восьмой армией войск генерала Эверта, так как ему, Эверту, вручается главная роль: он — в корню, а мы — на пристяжке. Но в крайнем случае, если вы заранее уверены в успехе на Луцком направлении, мне придется из восьмой армии передать решающий удар в смежную — одиннадцатую и действовать в направлении на Львов.

После этих слов пришла очередь обеспокоиться генералу Сахарову, но он только искорно наклонил круглую голову на апоплексической шее в сторону Брусиллова, понимая уже что какие-либо возражения будут совершенно бесполезны. Но зато Каледин оказался не в состоянии перенести то, что он оттирается от основного удара, а Сахаров, которого он несколько не уважал, может вдруг получить большую славу только потому, что смалодушествовал он, Каледин. Поэтому он заговорил снова:

— Алексей Алексеевич, позвольте мне объясниться: я не так вами понят! Я ведь сказал, только, что... э-э... позиции противника на Луцком направлении очень сильны и они действительно сильны... Но я ведь не отказываюсь атаковать их! Ответственность, только одно это, — ответственность за неудачу, в случае если она постигнет мои усилия, — вот единственное, что мною учитывалось... э-э... что меня беспокоило и сейчас беспокоит... а усилия, все усилия с моей стороны, разумеется, будут приложены.

— Ответственность за успех, если он вас или другого постигнет, падет в конечном итоге на меня, конечно, — спокойно сказал на это Брусиллов. — А я ведь не непременно жду успеха там, где мне хотелось бы его схватить.

чень может случиться, что на Луцком направлении дела ограничатся слабым успехом, а решительный результат обнаружится, скажем, на Львовском или любом другом. Ясно должно быть для всех, что я буду стараться раздуть этот решительный удар всеми резервами, какие у меня найдутся, так как руководить всею операцией в целом буду ведь я, и единственное, что я прошу от вас, это — донесений мне незамедлительных и правдивых. Конечно, все вы будете просить подкреплений, но вы понимаете, что я-то должен же на основании фактического, а не сумбурного какого-то, сбукты-барахты, донесения расхоловать резервы и слать их туда, где без них вполне могли бы обойтись, и лишать их тех, кто в них действительно нуждается, хотя и предпочитает истощным голдом не вопить об этом.

Новшество, предложенное Брусиловым, казалось со стороны как будто и небольшим, однако оно совершенно опрокидывало привычные представления собранных им на совет генералов, причем все эти генералы были академики, не академиком же среди них был только он сам, их начальник. Вспомнив об этом, Брусилов добавил:

— Мне могут сказать, что если с волками жить, то по-волчьи надо и выть, и что тактический прием немецкого командования, а именно — сильнейший кулак только в месте намеченного прорыва, есть прием безусловно существенный, а тот прием, какой я хочу провести на своем фронте, с самого начала уже распыляет мои силы, и вместо кулака может получиться только пятерня, годная разве что для пощечины, а не для сокрушения зубов, но справиться с такими безусловно сильными позициями нельзя без военной хитрости. Позиции эти укрепились девять месяцев; они стоили австро-германцам и много трудов, и много искусства, и много средств. На что же я надеюсь, решаясь атаковать их? Как это ни звучит парадоксально, я надеюсь только на то же самое, на что надеются и австро-германцы, то есть на то, что они очень сильны.

Это заявление не могло не вызвать недоумения со стороны генералов, и Брусилов закончил так:

— Надеюсь на их неприступность, высшее командование германской армии начало оттягивать свои дивизии с нашего фронта на запад; надеюсь на их крепость, высшее командование австрийцев снимает кое-какие свои дивизии

на итальянский фронт. По данным нашей разведки против нас теперь, то есть против Юго-Западного фронта, стоит армия общими силами не свыше полумиллиона человек, но есть надежда у меня, что она с течением времени отнюдь не увеличится, а только уменьшится. Так что численность неприятельских войск нас страшить не может, а преодолеть то, что они построили против нас, это уж дело вашей настойчивости и вашего искусства.

Сказав это, Брусилов поднялся, давая этим понять, что им сказано все и что теперь должна начаться усиленная подготовка фронта.

2

Дивизия, в которую входил полк Кюна, была третьеочередная, собранная исключительно из бывших ополченских дружин, но зато командовал ею боевой генерал-лейтенант Константин Лукич Гильчевский, и вскоре после того, как он узнал, что наступление окончательно решено и намечено на средние числа мая, он явился в расположение своих полков в целях окончательного подсчета всех своих сильных и слабых сторон.

Были встарину сверхсрочные унтера, оставшиеся на военной службе до старости: таким унтером, украшенным серебряными и золотыми шеvronами на рукавах мундира и шапке, был и отец генерала Гильчевского в одном из кавказских полков, и едва ли надеялся он когда-нибудь на то, что сын его, поступивший добровольцем в пехотный полк во время русско-турецкой войны, получит прапорщика, как отличившийся при взятии Карса, будет принят после войны в академию генерального штаба, которую успешно окончит, и пойдет потом шагать от чина к чину.

Он и шагал бы безудержно и далеко бы, может быть, шагнул, если бы не отказался усмирять рабочих в Кутаисе, когда командовал Мингрельским полком в 1905 году. Это сильно затормозило его дальнейшее продвижение по службе, но все-таки он получил второй генеральский чин и вместе с ним дивизию из второочередных полков, с которой и прославился в начале войны и проштрафился снова, так что был временно отставлен. Однако недостаток генерала заставил высшее начальство снова поставить его во главе дивизии и даже больше того: теперь ему, как боевому генералу, дали ни больше, ни меньше как задачу прорыва

фронта — одну из нескольких, правда, подобных задач, но другие задачи вышали на долю кадровых дивизий, его же, ополченская, носила трехзначный номер, а названия полков в ней были неслыханные до этой войны в русской армии.

Ему было уже под шестьдесят, но у него задорно еще светились круглые серые глаза под получерными, полуседыми бровями, и серый волос на голове его был еще густ, и голос еще звонок, и в поясе он был гибок, и по-кавказски неутомимо подолгу он мог держаться в седле, предпочитая верховую лошадь генеральской легковой машине, на которой далеко не везде можно проехать, а близко к позициям лучше и совсем не подъезжать.

Он любил также по-кавказски кутнуть в хорошей компании и по приличному поводу и, разойдясь, спрашивал, шутливо шурясь:

— А ну-ка, ответьте на Наполеонов вопрос: что будет выгоднее для дела — войско львов, предводимое бараками, или войско баранов, предводимое львами?

Конечно, Наполеонов вопрос этот знали и отвечали, как требовал сам Наполеон, что войско баранов под предводительством льва выгодней, потому что боеспособней.

Тогда он бил себя кулаками в грудь и добавлял:

— Это — я и моя ополченская дивизия!

Так же было и с его первой дивизией из запасных, которая делала в его руках чудеса на фронте, но, воспользовавшись однажды его крепким сном после кутежа, как-то так, здорово живешь, ненароком, по небрежности сожгла целый небольшой австрийский городок, только что перед тем взятый ею же с бою.

За это-то художество «баранов» и отчислили в резерв «льва», однако не сразу. Он должен был совершить еще подвиг, от которого благоразумно отказался генерал, уже явившийся было ему на смену. Этот подвиг был — форсирование с боями реки Вислы, имевшей в том месте полверсты в ширину, причем на реке не было никакого моста, — его еще нужно было сделать.

По замыслу высшего командования предполагалось проложить здесь не столько переправу через Вислу, сколько демонстративные действия, имеющие характер переправы. Настоящая переправа войск происходила гораздо севернее, но об этом не было дано знать Гильчевскому, он понял приказ буквально и принялся за дело с тою энергией, ко-

торая его отличала, тем более, что распоряжение шло от Лечицкого, а это был генерал серьезный.

В виду неприятеля, занимавшего позиции на другом берегу Вислы, с лесопильного завода, расположенного верстах в двенадцати от русских позиций, начали доставлять доски для постройки моста. Над эгим трудилось много полковых лошадей и много людей, но это был мирный труд. Немцы с другого берега широкой реки наблюдали его спокойно: пока мост не был перекинут через реку, им и беспокоиться было нечего, а вот стрсить мост под орудийным и пулеметным огнем,— это могло, конечно, привлечь пристальное внимание кого угодно, не только немцев.

Гильчевский достал не только доски, но и булыжник для башмаков козел моста, — горы этого булыжника привезли подводы на берег, — и железо, и скобы, и гвозди, и канаты, — строить так строить, — нужно, чтобы все при этом было под руками, но прежде всего, конечно, надо было отогнать подальше зрителей с другого берега, а для этого переправить каким-нибудь образом свою дивизию на тот берег и занять позиции немцев.

Это и было то самое, чего испугался его заместитель, засевший пока в штабе корпуса в ожидании, когда сломает себе на этом голову Гильчевский.

Однако Гильчевский ломал голову только над переправой и ломал не зря. Он изъездил верхом весь свой участок берега, — приблизительно верст двадцать — и хорошо изучил и глубокую реку с ее быстрым течением, крутыми берегами и широкой, версты на три, на четыре, долиной, и небольшие, заросшие ивняком острова на ее старом русле. В эти-то острова он и вцепился.

Берега Вислы здесь были чрезвычайно густо заселены: польские деревни, еврейские местечки, отдельные фольварки, господские дома в имениях польских помещиков, окруженные парками, — все это, с одной стороны, содействовало продвижению дивизии к намеченным для переправы островам, — с другой же, убеждало в том, что сделать это тайне от противника, хотя бы и пользуясь ночами, было невозможно: глаза и уши его непременно должны были таиться тут везде.

Гильчевский пустился на хитрость, чтобы сбить с толку и противника и его шпионов: днем он развил большую суету в одном, более удобном для переправы месте, чтобы

ночью начать переправу в другом, менее удобном на любой взгляд. Он учел при этом и то, что против места, выбранного им для демонстрации, тянулись позиции, занятые германцами, а позиции против островов, намеченных для переправы, занимали австрийцы.

Но где бы и как бы ни переправлять дивизию, этого нельзя было сделать без каких-нибудь, хотя бы и небольших, лодок. Однако у приречных жителей лодок не оказалось. С трудом удалось узнать, что лодки были, но владельцы сознательно утопили их, чтобы сохранить от реквизиции. Действительно, когда в хмельниках помещичьих имений нашли длинные жерди, то при помощи кёрдей этих разыскали утопленные лодки; выбрали из них камень, подняли, и Гильчевский довольно потер руки отдачи. Теперь оставалось только приступить к переправе передовых отрядов там, где намечена была демонстрация.

В сумерки 9 октября эта демонстрация началась и, конечно, встречена была орудийными залпами немцев, но зато в ту же ночь на 10 октября пять батальонов переправились где в брод, где вплавь, где на лодках, которых было всего несколько штук, от острова к острову, на другой берег Вислы, выбили австрийцев из их окопов и закрепились в них при поддержке артиллерии, стоявшей на берегу.

Бесперывная артиллерийская пальба доносилась на другой день с севера, около Ивангорода, где завязались серьезные бои, так что, выйдя на левый берег, дивизия Гильчевского должна была ударить во фланг австро-германцам, — как он сам понимал свою задачу. Поэтому, лично руководя переправой полков, он руководил и брэм, пока наконец то, во считалось совершенно невыполнимым с точки зрения форсии. — форсирование ширской реки без малейшего одобрения моста и под обстрелом с сильно укрепленных позиций противника, не закончилось вполне успешно, хотя проводилось и не одну только ночь, а захватило еще четыре дня и три ночи.

За это время у самого Гильчевского не раз возникали сомнения, не подтянет ли противник достаточных сил, чтобы опрокинуть и утопить в Висле и авангард его и другие батальоны, которые он вводил в дело постепенно, имея средств для переброски их разом: на пяти-шести

лодчонках много людей не поместишь, но ведь, кроме людей, нужно было переправлять и лошадей и орудия.

В то же время никаких новых указаний он не получал, — значит, прежние оставили в силе. Ему приходилось думать, что начальство знает и силы и замыслы врага и где-то в другом месте проводит против него основательный нажим. а он должен не только приковать к себе немецкие и австрийские части, но еще и расколотить их и все это сделать со своими запасными, которые весьма упорно продолжали считать себя если и взятыми в ряды армии, то исключительно для службы в тылу, а не для сражений на фронте.

Во всей дивизии был только один штаб-офицер — подполковник, командовавший одним из полков, и его-то поставил Гильчевский начальником авангарда. Однако и он, кадровый офицер, не был уверен в успехе штурма неприятельских позиций, назначенного Гильчевским в ночь с 12 на 13 октября; он просил перенести его на утро, когда солдаты будут по крайней мере видеть, куда именно они идут на штурм.

Гильчевский в ответ на это только подтвердил свой приказ и ждал потом, что из этого выйдет: он считал, что штурм подготовлен артиллерией, и думал, что ночью его запасные будут действовать отчаянней. Артиллерия замолкла как с русской стороны, так и со стороны врага. Настала тишина. И вдруг — «ура» с того берега. Сначала жидкое, оно становилось все могучей, и трескотня пулеметов и винтовок не могла его заглушить.

Это значило — начался штурм. Но его могли отбить, могли опрокинуть штурмующие колонны в Вислу... В землянке у своего офицера связи сидел Гильчевский и смотрел на него выжидающе, время от времени повторяя: «Ну? Что? Ничего нет?..» Провод мог быть, конечно, и перебит пулей теперь или перед атакой осколком снаряда... Гильчевский скрипел зубами, выходил из землянки, вглядывался в сырую темь, откуда «ура» хотя и продолжало еще доноситься, но уже гораздо слабее, а выстрелы показались громче и чаще.

Наконец затихло там все — ни ура, ни выстрелов... Что же там происходит? Тонут его солдаты в реке?.. Не забыл в то время Гильчевский никаких крепких слов, которыми вспоминал он свое начальство, давшее ему приказ, заведомо неисполнимый... Но вдруг дошло до связиста первое доне-

сение с того берега: «Позиции противника взяты, идет подсчет пленных...»

— Ого! Ого, запасные!.. Вот тебе и запасные! Знай наших! — радостно выкрикнул Гильчевский и вытянул из кармана полфляги коньяку.

Потом пришло другое донесение: «Пленных 700 с лишним человек, из них 13 офицеров».

Для того, чтобы броситься на штурм, солдаты должны были перейти в брод через проток — рукав Вислы — по грудь в воде, держа вещевые мешки и винтовки над головой. Как бы ни энергично вели обстрел батареи в течение дня, но гарнизон противника понес не такие большие потери, если после сопротивления сдалось еще несколько сот человек: можно было предположить, что не меньше бежало в тыл, пользуясь темнотой ночи. Эти бежавшие, конечно, должны были притянуть к утру гораздо более крупные силы, и вот перед Гильчевским встал вопрос, что делать дальше. Он решил в эту же ночь перебросить на тот берег всю остальную дивизию.

И переправа началась, тем более, что накануне удалось поднять со дна реки уже не рыбацью лодку, а целую баржу, на которую погрузили теперь пушки. К утру на другом берегу было уже одиннадцать батальонов, восемь орудий и две сотни донцов. Это позволило отбить контр-атаку противника, который ввел на другой день в дело бригаду босняков с артиллерией. Отбитые босняки окопались вблизи, ожидая подкреплений. Гильчевский тоже мог бы, как сделал бы другой начальник дивизии на его месте, остаться вблизи боевых действий около остальных пяти батальонов и пяти восьмьюрудийных батарей, расположенных на правом берегу, и отсюда руководить действиями большей части дивизии, переброшенной на левый.

Однако он предпочел переправиться на каком-то наскоро сбитом плоту, причем случилось так, что через проток ему пришлось идти в брод наряду с солдатами. Это его отличало от других генералов, тем более от академиков, что он не переносил неизвестности, неразлучной с сиденьем в тылу, когда дивизия его вступила в бой.

Свои одиннадцать батальонов на бригаду босняков он вел уже сам, начав штурм их окопов в четыре часа ночи. Штурм этот был так же удачен, как и первый. Окружены были все передовые позиции противника, захвачено больше

шестисот пленных с офицерами, гаубичный парк, и от окончательного разгрома босняков спасли только их быстрые ноги.

Впрочем, преследовать их было запрещено командиром корпуса, приславшим в этом смысле строгий приказ. Предписывалось заняться постройкой моста.

Пришлось приступить к строительству, хотя материалов для моста было собрано не так много и качество их было плохое. Но через несколько дней на буксирных пароходах прибыл наконец из Ивангорода понтонный мост.

Вслед за тем явилась возможность отчислить Гильчевского в штаб корпуса с передачей им своей дивизии, тому самому генералу, который выжидал в штабе более легких задач, чем форсирование Вислы без всяких надежд на удачу.

Никто из высшего начальства не обратил внимания на то, за что иного любимца судьбы могло бы выдвинуть или хотя бы отметить, и целую зиму Гильчевский был не у дел. Только в марте 1915 года он получил дивизию, которую надо было еще самому формировать из дружин, притом в большом портовом городе — Одессе.

Впрочем, долго с этим возиться не пришлось, — фронт требовал пополнений.

Вооруженные берданками, снабженные старинными запасами патронов с дымным порохом, дружины потянулись в Буковину. — в тот краешек ее, который был близок и к Каменец-Подольску, и к Хотину.

В каждой бригаде этой дивизии было шесть дружин, а при каждой из дружин по конной сотне и по батарее в шесть орудий. Так они и действовали в первых своих боях: стреляли отсыревшими патронами сорокалетней давности, причем пули летели не дальше как за пятьдесят шагов, а сами стрелки окутывались непроницаемым для глаз дымом, под защитой которого можно было бросать свои окопы и уходить, что они и делали, так как никакой дисциплины не знали. Бывало и так, что и окопы свои рыли они, обращая их фронтом не к противнику, а в тыл — до того не умели они располагаться на местности. Офицеров было очень мало; все они были или из отставки, отягченные годами, болезнями, не отнюдь не знаниями боевых действий, или зауряд-прапорщики, что было не лучше.

И вот такую дивизию получил боевой генерал, причем времени на ее обучение ему не было дано. — она была бро-

шена на фронт отстаивать отечество. Выходило так, что не зачисление в резерв генералов на полгода, а назначение командиром такой дивизии было подлинным наказанием для Гильчевского. Он все-таки привык ценить себя, если даже не ценило его начальство, но в первые дни и недели на новом для себя фронте и с совершенно небоеспособными дружинами что мог он сделать против неприятеля, прекрасно укрепившегося, вполне дисциплинированного, в изобилии снабженного новейшим оружием и боеприпасами?

Он мог удивляться только тому, что не делал ничего и противник, только сидел в своих отлично оборудованных окопах и не то чтобы стрелял даже, а постреливал, — держал фронт и давал понять, что всего у него вдоволь, что воевать для него — приятное занятие, поэтому к каким-нибудь решительным действиям, которые бы сократили это удовольствие, он не стремится.

В то время как австрийцы защитили свои окопы сплошной стеной колючей проволоки на четырех рядах кольев и выбрали для окопов командующее положение, дружины должны были закапываться в землю в сырой низине, и ни кольев, ни проволоки им не доставляли долгое время. Много настоятельных требований об этом послал по начальству Гильчевский, пока наконец-то явилась возможность забить хоть один ряд кольев, а также раздать в дружины вместо берданок японские винтовки, которыми надо было еще научить пользоваться ополченцев, привыкших уже из-за дыма берданок не замечать, производит ли какое-нибудь действие их стрельба или нет.

Каждый день делал Гильчевский то, чего нельзя было даже и вообразить в русской армии того времени, — он, начальник дивизии, обходил окопы всех своих двенадцати дружин, проверяя лично чуть ли не каждого ополченца, не говоря об офицерах. Но когда в конце апреля 1915 года получил приказ о наступлении на своем участке фронта, он все-таки ахнул от изумления.

— Кто же сидит в штабе корпуса и армии, какие мерзавцы, хотел бы я знать?! — кричал он у себя в штабе дивизии. — Как же мы будем наступать, когда у нас нет даже ножниц для резки колючей проволоки? Как наступать, когда у нас почти нет снарядов? И против кого наступать мы должны с голыми руками? Против австрийцев, у которых снарядов горы, которые по одиночным людям нашим не

стесняются из орудий лупить! Хороши мы будем, если начнем наступать! Красивый вид мы будем иметь, когда нас возьмут в работу!

Однако приказ он выполнил и если к чему стремился, то только к тому, чтобы уберечь своих ополченцев от больших потерь, когда австрийцы пошли в контр-атаку, показав при этом, что у них есть в глубине позиций даже и двенадцатидюймовые орудия, а по колючей проволоке пропущен с электростанции ток. Так защищали они в апреле 1915 года г. Черновицы, который штаб девятой армии намерен был взять силами двух рядом стоявших дивизий из ополченских дружин.

Впрочем, отогнав вздумавшие наступать дружины, австрийцы тоже не пошли вперед: они снова засели в свои чистенькие сухие окопы, наводя этим на размышления привыкшего к кипучим действиям Гильчевского. Но это был крайний левый фланг тогдашних русских позиций Юго-Западного фронта, а серьезные действия готовили австро-германцы не против девятой армии генерала Лечицкого, а против третьей, — которой командовал Радко-Дмитриев, — стоявшей на Карпатах и угрожавшей вторжением в богатые долины Венгрии.

Гром и грянул именно там в ближайшее время, а здесь, против Черновиц, раздались только его отголоски. Со стороны противника появились новые части, между ними и бригада баварских улан, и началось наступление, которое готовилось с ранней весны. Штаб корпуса приказал Гильчевскому, как и начальнику другой ополченской дивизии, отступать планомерно, а сам умчался в тыл сразу верст на сто.

Отступать под натиском значительно превосходящих сил — трудное искусство. Не раз случалось, что, поддавшись панике, ополченцы-артиллеристы бросали свои орудия, хотя и бесполезные, правда, в тот момент из-за отсутствия снарядов, а пехотинцы накидывались на свои же обозы, сбрасывали с повозок обозных, садились в них сами и, нахлестывая коней, мчались в тыл по дорогам и по хлебам вдоль дорог...

Гильчевский сам собирал, кого только удавалось собрать, чтобы приостановить напор противника арьергардными боями, пока не укрепился наконец там, где представилась возможность защищаться продолжительное время. Но это было уже за Хотиним, на подступах к Каменец-Подольску.

так что пришлось бросить и долину Прута и перейти через Днестр.

Не только удалось укрепиться, но даже неугомонный Гильчевский решил перейти сам в наступление на австро-германцев, пользуясь тем, что они тоже приостановились и начали окапываться на вновь занятых рубежах.

Местность была богатая. Огромные сливовые сады окружали частые деревни. В одной из них, прилегавшей к Хотинскому шоссе, был большой сахарный завод, занятый противником. Туда-то и решил направить Гильчевский свой удар. Это была вполне понятная для всех ополченцев цель, и радовалось сердце начальника дивизии, когда, после артиллерийского обстрела завода, ринулись туда среди бела дня, — в четыре часа пополудни, — три дружины.

И завод был взят к ночи — это было первое удачное дело дивизии, за которое Гильчевский готов был расцеловать каждого из своих ополченцев, будь то зауряд-прапорщик, будь то рядовой. Этот завод был ключом новых позиций противника, поэтому последствия успешной атаки оказались гораздо более крупными, чем ожидал Гильчевский: в следующую ночь австрийцы очистили все, что было ими занято, и откатились к старой линии своих окопов.

Гильчевский повел свои дружины следом за ними, чтобы не потерять соприкосновения с врагом, между тем как другой ополченской дивизии рядом с ним теперь не было, а штаб корпуса успел забраться так далеко, что о нем ничего не было слышно. Дивизия действовала так, как будто одна — она и представляла все русские силы между Днестром и Прутом в направлении Черновиц.

И нужно же было, чтобы как раз в то время, когда дивизии удалось нагнать противника, нагнал и дивизию офицер, посланный вдруг проявившим признаки жизни где-то в тылу командиром корпуса генералом Федотовым. Офицер этот привез категорический приказ остановиться и ждать подхода остальных частей корпуса — второй ополченской дивизии и конных полков.

Пришлось остановить дружины, горевшие желанием боя, но это значило дать противнику возможность и время подготовиться как следует отпор, тем более, что он занял холмистую местность, покрытую буковым лесом, — очень удобную для защиты и трудную для нападения.

Подошла вторая дивизия; подошли даже и кавказские

пластуны, которые, пробыв перед тем несколько дней в Севастополе, отправлены были потом морем в Одессу. Однако, как ни приятно было Гильчевскому иметь у себя под боком кавказцев с одной стороны и вторую дивизию ополченцев — с другой, он горестно бил себя по бедрам, прикусывал ус и грозил кулаком в сторону предполагаемой штаб-квартиры Федотова, приговаривая:

— Эх, вот кого бить некому, а следует! Пропустил время, лодырь божий!

Относительно пластунов он знал еще по Кавказу, что они не признают никаких окопов и никогда не занимаются саперным делом, что вместо окопов у них кусты, пеньки, камни, но они — меткие стрелки. Пренебрежение к окопам произошло им на Кавказе, но здесь была другая война, и тревожно было за них: как-то они себя здесь покажут?

Впоследствии пластуны приспособились и к этой войне, и противник их очень боялся, но в эти дни неудача ожидала всех, так как пришлось атаковать врага на его старых, давно им обжитых, позициях.

Даже те двенадцатидюймовые гаубицы, которые были уже знакомы дивизии Гильчевского, заговорили снова, делая огромные воронки десятиметровой глубины. Три атаки одна за другой были отбиты венгерскими и хорватскими частями, и, хотя несколько окопов было взято, их все-таки пришлось оставить. Потери были значительны, и единственным результатом этих атак явилось только то, что, укрепившись потом вблизи австрийских позиций на австрийской же территории, ополченская дивизия Гильчевского оказалась единственной в этом отношении дивизией во всей русской армии, продолжавшей отступление в глубь своей страны.

После того надолго установилось затишье в этом углу фронта. Летом из двенадцати дружин каждой из двух ополченских дивизий 32 корпуса были сформированы по четыре трехбатальонных полка, командиры которых были присланы из полевых войск, а бывшие командиры дружины стали командовать батальонами. Самое слово «ополченец» было с тех пор вычеркнуто из обиходной даже речи.

— Ну, братцы, раз вы назвались груздями, так полезайте теперь в кузсы! — сказал своим теперь уже обстрелянным питомцам Гильчевский и приступил к их окончательной шлифовке, когда тот или иной полк поочередно находился в резерве.

Тут все тогда делалось при нем: и показная атака позиций, укрепленных рядами проволочных заграждений, и решение тактических задач на местности, и вождение войск в лесах, для чего было выписано много компасов. Последнее было самым трудным делом: части попадавшие в лес, очень быстро теряли и направление и связь и становились беспастушным стадом. Тут же делались саперами ручные гранаты из консервных жестянок, заготавливались рогатки, которые потом по ходам сообщения выносились к передовым окопам.

Все научились тогда резать ножницами колючую проволоку, но на деле оказалось, что одно дело заниматься этим у себя в тылу и совсем другое—под огнем противника. Однако введенного тогда уже французами способа уничтожения проволочных заграждений при помощи гранат в русской армии еще не знали.

Даже учебную команду на триста человек для подготовки унтер-офицеров учредил в своей дивизии Гильчевский. Никто не помогал ему в работе ни из штаба корпуса, ни тем более из штаба армии, но он был рад и тому, что никто не мешал.

Так простояла его дивизия до конца года, когда весь корпус был переведен в восьмую армию Брусилова, в район города Ровно, на Волинии, где и застала его весна 16-го года.

Через месяц после того, как утвердился здесь Гильчевский, он, по своей личной инициативе, порел атаку одним из полков на высоту противника, с которой тот обстреливал и днем и ночью из винтовок и пулеметов дорогу между местечком, где был штаб дивизии, и деревней, где был штаб этого полка, — нельзя было ни ходить, ни ездить много было потерь.

Высота эта взята была ночным штурмом, и два батальона не только заняли на ней бывшие окопы австрийцев, но и удержали их за собою, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и неоднократные попытки противника их отбить.

Так как штурм высоты произведен был без ведома корпусного командира Федотова, то он задержал список отличившихся при этом, представленных Гильчевским к награде. Но вскоре после этого явился на смотр нового корпуса всей армии Брусилон, и для него приятной новостью ока-

залось, что доложил ему сам Гильчевский о взятой его полком высоте.

— Как же вы не донесли мне об этом? — обратился Брусилов к Федотову.

— Дело это у меня совершенно подготовлено, но просто по недостатку времени, ваше высокопревосходительство. — вывернулся Федотов.

Сам он никогда в окопах не бывал и теперь, идя следом за Брусиловым, видимо даже не понимал, как может командующий армией ходить там, где все время свистят над головой пули.

— Я представил к награде командира полка, а также всех отличившихся в этом деле, — не постеснялся сказать Брусилову Гильчевский, — но до сих пор однако...

— Как же вы так? — обращаясь к Федотову, перебил Гильчевского Брусилов. — Сегодня же передайте мне список представленных, — добавил он сухо, — и на будущее время прошу вас этого не делать.

И тут же, остановившись под пулями, которым то и дело кланялся Федотов, Брусилов, поняв уже, что не Федотов отважился приказать взять высоту штурмом, а этот бравадный начальник дивизии, сердечно поблагодарил Гильчевского. Это была первая благодарность, какую получил от высшего начальства во всю войну боевой генерал.

∴

Ливенцев за два-три дня успел познакомиться и со своей ротой и со всеми офицерами четвертого батальона, благо им было пока немного, да и весь батальон еще только составлялся тут из маршевых команд, окопы же, которые он занимал, оставила ему другая часть, переведенная гораздо левее по линии фронта.

Оказалось, что на людей в эту весну не скупилась ставка, — людей в тогдашней России нашлось еще очень много несмотря на огромные потери летом 15-го года: мало было тяжелых орудий и снарядов, мало вагонов, так как сотни тысяч их было занято под постоянное жилье беженцами; мало было даже винтовок, но людей пока хватало для того, чтобы создать подавляющее превосходство в силах на всех фронтах войны.

И люди были не плохи. — это видел и Ливенцев по своей и по другим ротам. Кроме вятских, тут были и волжские

— довольно рослый и крепкий на вид народ. Наметанный уже глаз Ливенцева давал им оценку не только как копникам, — он представлял их впереди своих окопов, с пинтозками «на руку» и с ярыми лицами, какие, он помнил, были у солдат его прежней роты при атаке высоты 370 в долине, и говорил Обидину:

— Ничего, народ в общем бравый.. Главное, много молодых, а старых гораздо меньше.

Но Обидин смотрел на него растерянно.

— Бравый, вы говорите? Это просто орда какая-то, — никакой дисциплины, — бормотал он и махал безнадежно рукой.

— Какой же вы хотели бы дисциплины? Как в казарме? Такой нельзя и требовать, ведь это — позиции, — пробовал беждать его Ливенцев. — Тут они не перед лицом устава армейской службы, а перед лицом ее величества Смерти.

— Однако без дисциплины как же перед лицом Смерти востовать себя? Скосит — и все!

У Обидина было при этом такое обреченное, отчаявшееся во всем лице, что ему не нужно было и делать того слабого жеста рукой, какой он сделал, чтобы представить косу смерти над его ротой. Это заставило Ливенцева мгновенно стать на его место и тут же попятиться назад. Он сказал ему наставительно, как старший младшему, как опытный новичку:

— Разумеется, вы сами, лично вы должны себя чувствовать так, как будто и сидеть в окопах, вшей кормить, для вас ничего не значит, и в атаку идти если. — пожалуйста, сколько угодно, — вот тогда и будет у вас дисциплина в роте, а иначе откуда же она возьмется? Солдат в роте все равно, что ученик в классе: вы наблюдаете его, а он вас. Ведь вы тут живете с ним рядом и терпите то же, что и он, ведь вы не начальник дивизии, а всего только командир роты — невеликая птица. Вот и покажите ему на своем примере, как надо терпеть все солдатские нужды, тогда он вас слушать будет и за вами куда угодно пойдет.

— А вы? — вдруг, как будто раздраженный его тоном, просил Обидин.

— Что я? — не понял Ливенцев, так как, говоря Обидину, он старался как бы убедить самого себя.

— Вас слушают?

— Ну, еще бы!

— И за вами пойдут? — качнул Обидин головой в сторону австрийских окопов.

— Непременно! — постарался убедить самого себя Ливенцев.

— Непременно?.. А зачем? — вызывающе спросил Обидин и снова махнул рукой в знак безнадежности.

Это случалось иногда раньше с Ливенцевым, что другой человек для него становился мгновенно вдруг чужим, ненужным, даже ненавистным — иногда после одного какого-нибудь слова, если только это слово выражало его неприглядную сущность, с которой он не мог мириться. Так вышло и теперь с Обидиным, который как будто воплотил в себе все дряблкое, что таилось и в самом Ливенцеве под его внешней бравадой, но совершенно было ни к чему тут, где все жестко, жестоко, стихийно-бессмысленно, трагично в огромнейших масштабах, а не в личных и не в семейных, и даже не в масштабах одного города, пусть столь же населенного, как Лондон или Нью-Йорк... Ливенцев сам как будто вырос сразу, в один этот момент, когда появилась в нем острая неприязнь к человеку располагающей внешности, с которым он ехал сюда в одном вагоне и ночевал по приезде первую ночь в одном блиндаже.

— Вы помните, у Достоевского есть капитан в среде ему чуждой, в среде атеистов, а? — спросил он резко. — Помните, как он бросил на пол свою фуражку и сказал: «Если бога нет, то какой я капитан?» Как же вы хотите остаться жить на свете и считаться вполне порядочным человеком, если не будет России, если вместо России будет откровеннейшая немецкая какая-нибудь Остланд или как-нибудь иначе, а?

— Ничего в этом страшного не вижу, — убежденно-спокойно отозвался на его горячую тираду Обидин.

— Ну, если так, то... то, признаться вам, я не хотел бы иметь вас своим соседом по роте, — столь же убежденно сказал Ливенцев и отошел от него поспешно.

Это произошло как раз на той самой дороге, которая теперь была безопасна для ходьбы и езды, так как на некрутой высоте перед нею, версты за полторы-две, сидели теперь в окопах не гонведы, а русские солдаты другого полка той же дивизии, которые и взяли штурмом эти окопы, и сидели они там упорно, несмотря на долговременный и силь-

ейший артиллерийский огонь австрийцев, которые наконец примирились с потерей и умолкли.

Иногда нужны бывают толчки извне, чтобы осмыслить то, что в себе самом еще недостаточно ясно. Таким толчком и был для Ливенцева этот короткий разговор с прапорщиком, хотя и побывавшим в военной школе, но не вынесшим оттуда ничего, кроме равнодушия к судьбам своей родины.

Ливенцев не знал о себе самом и многого другого, что удалось узнать только во время войны. Он не думал, например, даже и представить не мог, что он способен так стойчески переносить все неслыханные и невиданные им до того неудобства фронтовой жизни и даже привыкать к ним; он не думал, что может засыпать под залпы тяжелой артиллерии и в то же время вскакивать, как резиновый, когда его будили по неотложному делу; он не думал, что в нем найдется то же самое сопротивление разным воздействиям извне, какое он с изумлением наблюдал у солдат в первые недели своей службы, — однако сопротивление это нашлось у него под тяжелым ворохом математических формул и прочего, очень многого, совершенно ненужного теперь, но что он усваивал всю свою жизнь ревностно и жадно.

Если бы ему сказали раньше, что те два-три месяца, какие он провел вне фронта, не заставят его ни возненавидеть, ни проклясть, ни даже прочно забыть фронт, — он бы ни за что не поверил, и однако это было именно так: в госпитале он просто скучал по тому, что осталось на фронте, хотя остались там только снега, бураны, замерзающие солдаты, «самострелы», окопы, в которых нельзя было ни сесть, ни лечь от избытка в них почвенной воды, и случайные товарищи по несчастью, среди которых не было и не могло быть друзей.

Выздоровев от раны в грудь он не искал себе места в тылу, как делали многие другие, — его тянуло снова на фронт, и он объяснял самому себе эту тягу несколько сложно.

Человек науки, он сравнивал это с тягой ученых в неведомые страны, обозначаемые на картах белыми пятнами. В этих странах что могло ожидать путешественников? Всевозможные виды лишений, опасностей и даже смерть от чего бы то ни было. Однако ученые шли, подчиняясь тому, что было в них сильнее любви к тихому удобному кабинету, и иногда погибали, но зато белых пятен на картах

мира становилось все меньше и меньше. Или он сравнивал это с наводнением, которое угрожает залить город, и вот все от мала до велика начинают работать кирками и лопатами, строить дамбу, способную защитить город. Тут нельзя отговариваться тем, что никогда не копал земли, что это гораздо лучше могут сделать грабари, привычные к земляным работам: вода не ждет, она приближается, она вот-вот хлынет и разрушит город. поэтому всякая сила нужна, хотя бы и стариков и ребят. Наконец он сравнивал это и с созидательным трудом, в котором участвуют миллионы. Ничто в природе не пропадает, на развалинах одного воздвигается другое и непременно более совершенное... «Что такое эта война?» — спрашивал он себя самого и отвечал себе: «Гигантский процесс отмирания отживших форм, понятий и представлений и зарождение других», и вспоминал при этом известные стихи: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

Все это ничуть не мешало ему возмущаться тем, как делалось то или другое на фронте, однако гораздо больше возмущало его то, что делалось в тылу, где все оставалось по существу своему довоенным, как будто тут, на западе страны, не совершалась титаническая ломка всех старых устоев.

В числе многих сторон в себе, которые были ему до войны не известны, оказалось, неожиданно для него самого, и то, что он любит Россию. Если бы перед войной кто-нибудь спросил его: «Как вы смотрите на Россию?», он бы ответил, улыбаясь: «Посмотрите лучше в том словаря Брокгауза, так и озаглавленный «Россия», там вы, наверное, найдете ответ на свой вопрос». А если бы вопрос повторили, с нарочитым ударением на «вы», он процитировал бы две тютчевские строчки: «Умом Россию не объять, аршином общим не измерить» и на этом бы кончил. Теперь же слова Обидина показались ему кощунством и по смыслу и по тону, каким были сказаны: русскому человеку, каким был Обидин, он их простить не мог.

Генерал Гильчевский не то чтобы производил смотр своим полкам в эти дни, — строгое по содержанию слово «смотр» сюда не подходило, — он просто ознакомился с тем пополнением, какое ему присылали, так как основные полки знал хорошо. Однако фронт насыщался людьми с большою щедростью, так что в пополнениях, приходивших в каждый полк, было почти столько же человек, сколько во всех трех

старых его батальонах: дивизия удваивалась, она становилась крупной военной единицей, что, с одной стороны, повышало значение начальника дивизии, а с другой, значительно осложняло его роль.

Новые десять тысяч человек могли совершенно изменить весь установившийся уже облик и уклад дивизии, так как боевого опыта они не имели. Особенно беспокоили Гильчевского четвертые батальоны, которые должны были действовать вполне самостоятельно наравне с тремя первыми, а разве их можно было поставить наравне с теми, которые провели уж на фронте целый год?

Обыкновенно и прежде Гильчевский каждый день посещал тот или иной участок своей позиции или даже, если позволяло время, обходил ее всю из одного конца в другой. Но последние дни он был занят только резервами, и полк Кюна был последним, куда он попал, уже обеспокоенный тем, что пришлось ему видеть в других полках.

Его беспокоило не то, что люди плохо знали службу, что у них была плохая выправка, даже и не то, что они плохо умели стрелять, — все это в его глазах было дело наживное, но он заметил среди них довольно много людей тяжелого, как он сам определил, взгляда.

— У моей матери, — говорил он своему начальнику штаба, полковнику Протазанову, — было маленькое домашнее хозяйство и между прочим, водились коровы. Она сама их, конечно, доила и по части коров, как я потом по части лошадей, кое-что понимала. Так вот, помню я это еще с детства, говорила она своей соседке: «Ты хочешь корову себе приобрести, а того не знаешь, какую. Ты ей на имя глядишь, — она, моя мать, так и говорила не «вымя», а «имя», — а ты бы ей еще и в глаза поглядела: как если глаза у нее тяжелые, нелюдимые, ту корову не покупай, — она тебе и доенку ногой может из рук выбить, а то когда в углу прижмет, то и рогами забрухтает...» Вот я это мамино наставление и вспомнил, как на наших маршевиков смотрел: тяжелый какой-то у многих, действительно — «нелюдимый» взгляд!

— Это и я тоже заметил, — отозвался Протазанов, очень всегда подтянутый, размеренно-деятельный человек, с красивыми сухими чертами лица, — академик. — Физически народ подходящий, а психика стала уж не та, какая была у наших ополченцев год назад. Это — действие затяжной

войны. Через год люди, надо полагать, будут глядеть на свое начальство еще нелюдимее. И вполне объяснимо это, — все больших удач нет, а только большие неудачи.

— То-то и есть... И только у меня и надежды, что через год и у немцев пополнения будут глядеть нелюдимо.

Так настроенный пришел в четвертый батальон Гильчевский, где его встретили Кюн со своим адъютантом, прапорщиком Антоновым, и командир батальона подполковник Шангин.

Шангина Ливенцев определил с первого с ним знакомства словом «разболтанный». До своей отставки, откуда был он взят, Шангин служил в корпусе военных топографов и, по его же словам, «топографию прилично знал во время оно, а что касается тактики — ни в зуб!»

Он и просто пехотного строя не знал и путался в командах, подзубривал их по уставчику, и ходил не только по-стариковски, хотя шестидесяти лет еще не имел, но и по-штатски, как-то сгибаясь в поясе и виляя плечами. Борода его, еще не седая, желтая, расчесывалась им веером от подбородка, а выцветающие глаза смотрели на всех подслеповато-приветливо, так как здоровьем он, повидимому, был еще крепк и «переносить труды походной жизни», как писалось в «аттестациях штаб-офицеров», мог, почему и был назначен командиром батальона, идущего на фронт. От недостатка зубов говорил пришепетывая и перед большим начальством робел.

Так как тринадцатая рота Ливенцева была первой в батальоне, то с нее и начался смотр.

Ливенцев успел уже кое-что услышать об этом новом для него начальнике дивизии в штабе полка и потому глядел на него с большим любопытством, но он заметил, что не меньшее любопытство было в серых, под получерными бровями, круглых глазах генерала.

— Зауряд? — коротко спросил Гильчевский.

— Никак нет, ваше превосходительство, бывший прапорщик запаса, каким стал еще в прошлом столетии. В японскую войну призывался из запаса, в эту призван из отставки, — обстоятельно ответил Ливенцев.

— А-а! — довольно протянул Гильчевский. — И, может быть, даже в боях бывали?

— Так точно, бывал, и в эту войну, так как служу уже больше чем полтора года.

— Бывали? — очень оживился Гильчевский. — На каком именно фронте?

— На Галицийском.

— Отступали, ну-ка, а?

— Никак нет, пришлось наступать. — невольно улыбнувшись затаенному лукавству, с каким был задан вопрос, ответил Ливенцев и добавил: — Моей ротой была занята вытла с австрийскими окопами... Впоследствии я был ранен, ежал в госпитале, по выздоровлении зачислен в четыреста второй полк.

— Прекрасный рапорт! — почему-то с ударением на «о» весело сказал Гильчевский. — Вполне уверен, что вы прекрасно представите и свою роту.

— В этой роте я всего только три дня, так как приехал сюда прямо из госпиталя, — сказал Ливенцев, но Гильчевский отозвался на это попрежнему весело:

— Это не составляет сути дела, когда вы приехали!

И Ливенцев понял, что этот начальник заранее готов прогнать ему все недочеты, но вышло так, что ни о каких недочетах он и не говорил.

К тому, чтобы иметь под своим начальством полтора ста, вести или даже полностью двести пятьдесят человек, Ливенцев уже привык; столько людей он способен был и быстро запомнить и долго держать в памяти, тем более, что рота делилась на равные части взводов и отделений. Человек пятьдесят из разных взводов он успел узнать за эти три дня несколько ближе, чем других, потому что спрашивал их, откуда они и чем занимались до призыва в армию.

Он спрашивал это для себя лично, чтобы иметь понятие о людях, которых придется когда-нибудь ему вести на окопы противника: как же он будет вести на смерть тех, кого совсем не знает? И как они могут идти за ним, когда его не знают? Обоюдное знание это казалось ему гораздо более необходимым, чем знание разных мелочей службы.

Поэтому он становился искренно рад, если вдруг оказывалось из расспросов, что бывал сам в той или иной местности, откуда родом его новый подчиненный, или даже просто читал, слышал о ней. Так один, Селиванкин, оказался из села Ижевского, Рязанской губернии.

— Постой-ка, братец, село Ижевское, это, кажется, Спасожого уезда? — начал припоминать Ливенцев.

— Так точно, Спасского! — радостно ответил Селиванкин.

— И там ведь у вас все бондари, насколько я знаю. — должно быть, и ты — бондарь?

— Так точно, бондарь я! — еще радостнее отозвался и прямо засиял Селиванкин.

— Ну, значит, мы с тобой земляки, выходит, Селиванкин!

Но и волжанин из Большой Глушицы под Самарой — Дымогаров тоже был назван им своим земляком, хотя он сам никогда не был в Большой Глушице, а только случайно слышал о ней.

Подобных «земляков» из опрошенных им оказалось около тридцати человек, и он знал наперед, что когда опросит таким образом всю роту, то окажется их не меньше двухсот: всегда ведь можно было что-нибудь припомнить о той или другой местности, вроде: «А-а, это у вас там битюгов разводят?» или: «Знаю, знаю: у вас там паточный завод Понизовкина!..» Когда один оказался из села Березайка и Ливенцев припомнил, что когда-то слышал: «Там возле села и станция «Березайка», — кому надо, вылезай-ка!» — то березавец заулыбался во все широкое заросшее сорокалетнее лицо: ведь это и ему было знакомо едва ли не с детства.

К удивлению Ливенцева, приблизительно в таком же духе знакомился с его ротой и генерал Гильчевский, только у него оказался еще и язык, богатый народными словечками, красочными и яркими, и язык этот очень шел к нему с его лохматыми серыми усами: по годам своим каждому солдату он мог годиться в отцы.

Он обратил внимание на то, что в тринадцатой роте трубы окопных печей были прикрыты мешками, чтобы дым из них не поднимался столбом, а расползлся над землей. В других ротах этого не было, и он, не говоря об этом ничего самому Ливенцеву, сказал солдатам:

— Это ваше счастье, ребята, что у вас такой ротный командир оказался! Будь бы я рядовой, а не начальник дивизии, я бы знал, что с таким ротным нигде бы не пропал, а немцам бы по первое число всыпал! Впрочем, и мне, начальнику дивизии, тоже не плохо, раз у меня нашелся офицер до того к вам заботливый, что от неприятельских пушек вас и в резерве спасает!

И только тут он показал пальцем на трубы в мешках.

Каганцы вместо телефонных проводов уже появились в окопах по хлопотам Ливенцева; привезли и свежей соломы, — вообще окопы приведены были в более сносный вид, что тоже не укрылось от зорких глаз Гильчевского, и к смуту четырнадцатой роты он приступил уже в приподнятом настроении.

Там приказал он Обидину вывести первый взвод на укрытый от противника участок, чтобы узнать, умеют ли его новые солдаты если не стрелять из австрийских винтовок, которые получили они перед отправкой сюда, так хотя бы заряжать, и знают ли они сборку-разборку.

Но, когда взвод роты Обидина, расстелив на земле шинели, принялся по команде Гильчевского разбирать винтовки, действуя отвертками, случилось то, что смутно ожидал начальник дивизии от людей с нелюдимыми глазами.

Он посмотрел ствол одной винтовки, другой, третьей, — оказались грязными, несмазанными; разбирать магазинную коробку не умели: не знали даже, как называются отдельные части.

Гильчевский не ставил этого в вину Обидину, зная, что он в роте — человек новый, не винил и солдат, зная, что винтовки эти выданы им только перед отправкой, а до того в их руках были берданки. Он только говорил Обидину: — Надо вам подналечь, подзаняться этим делом!

И солдатам:

— Прежде всего, ребята, береги винтовку, а винтовка уберет вас! Сборке-разборке, — этому вас научат, а чистить ствол вы уж должны уметь...

Так, переходя от одного к другому, подошел Гильчевский и к рядовому с тяжелым взглядом. Это был рослый малый со сжатыми губами и с желваками под скулами; держа в правой руке ствол винтовки, как дубинку, глядел он на генерала явно ненавистно.

— Как фамилия? — спросил Гильчевский, сразу насторожась.

— Мослаков, — протиснул тот сквозь зубы.

— Отвечать не умеешь! — слегка поднял голос Гильчевский, беря в то же время ствол его винтовки за нижний конец, и разглядел, что он забит землей.

— Кэ-эк это тэ-эк не умею? — с выдохом, с запалом протянул Мослаков, глядя не только ненавистно, но и вызывающе.

Предчувствуя уже недоброе, Гильчевский крепко держал обеими руками гладкое железо за свой конец, но вдруг Мослаков сильно дернул ствол к себе и тут же сделал им выпад вперед, в грудь генерала.

Очень острый момент этот не ускользнул от зорких глаз тех, кто окружал Гильчевского, и первым подскочил к нему на помощь Протазанов, — человек крупных и крепких мышц, — потом адъютант дивизии, и командир полка Кюн, и Антонов, и Шангин, и другие...

Мослакова срали наземь, связали ему солдатскими поясами руки.

Когда его уводили потом под конвоем, он совсем не казался обескураженным: напротив, он старался идти браво, поднимая голову и презрительно и часто исплевывая, как будто случилось с ним все именно так, как ему хотелось.

На допросе в штабе дивизии он тоже держался вызывающе, намеренно не желая отвечать по-солдатски. Его спросили, чем он занимался до призыва в армию.

— Чем занимался? — надменно переспросил он. — Мослакова вся Одесса знает, а вы — «чем занимался»? Знаменитый я вор-домушник... Между прочим, и «медвежатник» тоже.

— Это что же значит такое «медвежатник»? — спросили его.

— Не знаете? А это же по части несгораемых касс. — подмигнул он. — Считается — высшая марка!

— И что же, — сидеть приходилось?

— Разумеется, сидел, — что же тут диковинного?.. А вы лучше спросите, почему я аж до самого фронта с маршевой ротой дошел, — это, конечно, вопрос!

— В самом деле, почему же именно?

— Так себе, признаться, ради интереса, — беспечно с виду ответил Мослаков.

— Ради интереса? Хорошо, допустим. А вот что ты сегодня выкинул — эта штука зачем?

— Это, прямо вам сказать, ради скуки.

— Как «ради скуки»? То есть в видах развлечения, что ли? — спросили его.

— Так точно, — для пущей веселости, — шевельнув желваками, ответил он с напускным спокойствием.

Когда Гильчевскому доложили о результатах допроса, он сказал:

— Мерзавец этот не врал насчет скуки. А вот в расчете на то, что его пошлют по этапу в тыл для суда, а он, конечно, сбежит при первой к тому возможности, он ошибся! Судить его полевым судом за покушение на начальника дивизии!

В то время, как Гильчевский, растирая под шинелью грудь, уходил из четырнадцатой роты, он ничего не сказал прапорщику Обидину, но посмотрел на него долгим тяжелым взглядом.

Мослаков на другой день был расстрелян; Обидин же переведен в другую роту.

ПРЕДВЕСТНИКИ

1

Среди русских былин есть очень примечательная о том «Как перевелись витязи на святой Руси». После одной из своих побед «на Сафат-реке» расхвастались витязи, что побьют и «силу нездешнюю». И «нездешняя сила» не замедлила явиться, чтобы наказать их за святотатство. Она предстала перед ними в лице двух воителей, которые тут же пошли на них боем.

Первый же витязь перерубил их пополам одним взмахом меча, но их стало четверо, и они снова идут боем на витязей. Второй перерубил пополам этих четверых в два взмаха, — их стало восьмеро, и живы все. После действий третьего витязя их стало шестнадцать, четвертый сделал из них тридцать двух, и когда кинулись на них все витязи, то благодаря их же геройству и силе перед ними выросло такое нечислимое войско, что витязи испугались и обратились в бегство. Они бросились в Киевские горы, в «каменные пещоры», а подбежав к горам — окаменели сами. Отчего же окаменели? Конечно, от ужаса перед непостижимым.

Бактерия слишком мала, но как и «нездешняя сила», она размножается делением надвое в каждый час своей жизни. Так за десять часов из одной получается тысяча бактерий.

За три дня при таком способе заполнять пространство по-
двухфутовому одной бактерии было бы тесно в пятиэтажном доме;
но нет еще такого небоскреба на земле, чтобы разместить в
нем семью одной бактерии в конце четвертого дня ее жизни:
для этого понадобилась бы внутренность такой горы,
как Казбек, если бы можно было оставить от Казбека од-
ну только его оболочку.

Нечто подобное этому совершилось на всем длиннейшем
фронте запада России весной 1916 года, когда германским и
австрийским генералам казалось, что Россия совершенно
разбита летом предыдущего года и уже не в силах больше
подняться, — остается только прикончить Италию и Фран-
цию, и выиграна будет затянувшаяся, вопреки всем расче-
там, война.

В России перед войной числилось сто восемьдесят милли-
онов населения, но хотя и свыше десяти губерний на запа-
де были уже заняты врагом, хотя потери в войсках, почти
безоружных благодаря предательству перед наступавшими
армиями австро-германцев, и были действительно громадны,
все же гораздо более мощными оказались русские резервы.

Немецкие публицисты писали еще в начале войны в сво-
их газетах, что, лишенные таланта организации, русские бу-
дут в первый же год войны голодать среди изобилия съе-
стных припасов в их стране. Однако, несмотря на то, что
это предсказание казалось правдоподобным, голода не было
и к концу второго года войны. А главное, росли и росли
силы на фронте от Румынии до Финляндии.

Больше всего подкреплений шло в армии Эверта и Ку-
юпаткина, меньше — в армии Брусилова, однако никогда
раньше эти последние армии не были так многолюдны,
как теперь.

Это бросалось в глаза и Ливенцеву, чем дальше, тем
ярче, потому что даже и на том маленьком участке фрон-
та, какой занимала 101 дивизия, становилось день ото
дня заметней небывалое раньше насыщение фронта людьми.

Пришли пятисотенные роты пополнения, составившие
ближние резервы каждого полка; пришли новые батареи.
Прежде были только старые скорострельные японские пуш-
ки и сорокавосемилейные гаубицы, теперь явились еще
лонские конные казачьи батареи и туркестанская горная в
шесть орудий, — и для них усиленно рылись окопы и
снарядные погреба.

Донцы, туркестанцы, волжане, вятские, мелитопольские, подпрапорщик Некипелов, оказавшийся сибиряком, боевой начальник дивизии — кавказец, — в Ливенцеве все это отслоилось, как великая русская домовитость и плодовитость, щедро бросившая теперь сотни тысяч, миллионы людей не на захват чужих земель, как было в начале войны, а на защиту своей.

Разве не исконно-русская земля была Волянь? И вот на ней теперь сидели, в нее закопались австрийцы, мадьяры, босняки, немцы... Они заняли цепь холмов, командующих над русскими позициями; они укрепили их восемью рядами кольев, опутанных толстой колючей проволокой, и четырьмя рядами рогаток. Они не страдали недостатком тяжелой артиллерии, а тем более не знали, что такое снарядный голод. Штабные германские офицеры, командированные для ревизии укреплений на этом участке, нашли в начале апреля, что эти укрепления совершенно неприступны, и это позволило Конраду фон-Гетцендорфу бросить с русского фронта несколько дивизий против итальянцев. Там, у австро-германцев, машины истребления ставились на место людей, — здесь людьми заполнялись места, предназначенные для машин.

Это оживотворяло войну в глазах Ливенцева. Не многомашинность, а многолюдство, — в этом для Ливенцева таился и смысл русской пословицы «на людях и смерть красна». И что еще находил он теперь нового в себе самом, — это непосредственное живое ощущение России.

Никогда так ярко и ясно не приходилось ему чувствовать этого раньше. Этого не было и в Севастополе в первый год войны, когда он томился в своей дружине, в которой недоставало содружества; этого не было потом и в Галиции, когда он жертвовал здоровьем и жизнью за что же, как не за ту же Россию. Наконец, может быть, этого не было бы и теперь, и, во всяком случае, не было бы с такой определенностью, четкостью, если бы к нему в госпиталь, когда он уже почти оправился от своей раны, не приехала из Херсона, получившая для этой цели отпуск всего только на три дня, Наталья Сергеевна Веригина — библиотекарьша публичной библиотеки, сказавшая ему, подавая «Размышления Марка Аврелия Антонина о том, что важно для себя самого»: «Других книг этого автора у нас нет».

Он простил ей эту фразу библиотечарши тогда же, а дальше ей нечего было прощать. Он помнил, он представил ее теперь только такою, какой она была, когда поднималась по лестнице на второй этаж, где он, опираясь о гену, чтобы не упасть от счастья, стоял и глядел на подсолнечник ее золотых волос, едва прикрытый шляпкой, на голубые, как просветы в небо, глаза, поднятые к нему смотревшие встревоженно за него, и радостно за встречу с ним, и по-матерински любовно, и, как у сестры, нежно, как у самого дорогого человека во всем мире, отзывчиво. Это был не шопенгауэрровский гений рода, а гораздо больше,— неизмеримо больше: Родина!.. Он вспоминал теперь, не пропуская ни одного слова, все, о чем они говорили тогда, сидя рядом на жестком деревянном диване в спитальной столовой, которая во внеобеденное время служила также и комнатой для свидания с посетителями раненых, могущих ходить.

Она сказала ему тогда: «Разве для вас секрет это, что мы уже накануне революции?..» Он же говорил ей потом, когда они уже спускались вдвоем и рядом с лестницы вниз: «Я не хотел бы только одного: отставки!.. Я не хотел бы, чтобы меня разоружили, потому что революцию способны сделать все-таки вооруженные люди, а не безоружные...» Он добавил еще тогда: «Чтобы сделать рагу из яйца, нужен заяц,— так говорят французы,— а чтобы сделать революцию в России, нужна прежде всего Россия!»

Этим тогда он как бы Родине присягал на ее защиту. Родине с золотыми подсолнечниками, с золотыми морями белых хлебов и с голубым тихим орловским небом.

Неожиданным для себя самого чувствовал он себя теперь, когда снова попал в меотийские болота грязи воынской, которая была ничем не лучше прошлогодней галицийской грязи. Тогда он стоически перенес все не потому, конечно, что читал в Херсоне стойка Марка Аврелия, однако не потому, что в его жизнь вошла Наталья Сергеевна. Тогда он просто был еще полон нерастраченных молодостью сил, тогда в нем было упорство, упрямство, иногда даже соперничество с другими подобными ему «математиками в шинелях», как называл себя он сам. Он был самолюбив, конечно, и по одному этому уже не мог позволить себе быть слабее кого бы то ни было. Но зато он отводил душу, подшучивая над войной, не только над тем, как она

велась, но и зачем велась. Теперь ему казались странными даже чужие шутки по поводу целей войны: он твердо знал, что война велась во имя преобразования России, но не оципанной, не обдерганной, не кургузой России, а такой, какую создалась она в силу исторической необходимости. Теперь, сам защищая границы государства, он несравненно глубже понимал слово «границы», чем это было раньше, хотя он и на новой границе оставался тем же прапорщиком и был снова тем же ротным командиром, но больше того: он готов был теперь аплодировать, кричать «ура» каждой новой роте, каждой новой батарее, прибывающей на участок дивизии Гильчевского.

И даже именно то, что он попал в дивизию к такому боевому генералу и что он будет действовать, худо ли, хорошо ли, в рядах бывшей армии Брусилова, казалось ему тоже удачей: он верил в то, что приказаний, легкомысленных, неразумных, неисполнимых, полк, а значит и его рота не получат от начальника дивизии, потому что командир корпуса не получит подобных приказаний от Каледина, а Каледин от Брусилова.

Ливенцеву во что бы то ни стало хотелось, чтобы теперь, именно теперь, была не цепь каких-то непостижимых нелепостей, как в прежнем полку, у полковника Козалевского, в Галиции. Он, математик, хотел точного учета всех вероятностей, прежде чем началось бы наступление, чтобы новое наступление это прошло иначе, чем прошлогоднее — седьмой армии генерала Щербачева, когда полку их не дали даже оглядеться, а прямо с подхода погнали в бой.

Теперь проходил день за днем, подсыхала земля, выше и выше ходило в небе солнце, больше и глубже втягивались в позиционную жизнь солдаты четвертого батальона, знавшие комее становились холмы врага, окутанные паутиной граждений, и не только всем существом желалось успеха, — верилось в успех.

Пасха в этом году пришла на 10 апреля. С днем этого весеннего праздника у Ливенцева, как у всех русских людей, связывалось многое впитанное еще с детства: целодневный, даже целонедельный, колокольный трезвон во всех церквях; крашенные в разные веселые цвета, но больше в розовый и красный, яйца; христосование; блаженное ничегонеделанье; визиты, сплошь подвыпивший, кое-где и до положения риз пьяный народ; яркие новень-

ие платья женщин; песни жаворонков в полях; пушистые, ючно в подвенечном уборе, вербы у прудов; сладкий, как ирезсвый сок, весенний воздух...

От одних этих воспоминаний больно щемило душу здесь, на фронте, где все пытались притвориться праздничными: поздравляли друг друга, христосовались, приглашали друг друга пить водку и есть ветчину и крашенки, оставленные к этому дню в окопы.

Однако день этот никому не давал забыть, что «друг друга обьемем, рдем: «Братие!» и ненавидящие ны протим», как пелось в церквах утро. там же, в церквах, и стало, а здесь можно было жить только смутной надеждой на счастье Иванушки из русских сказок, дела которого за его великую простоту и терпеливость возьмут вдруг да и увенчаются полной удачей, ошеломляющим успехом.

И, как предвестник действительно большого успеха, в половине апреля выпал на долю 101 дивизии, успех, хотя и маленький сам по себе, но звонкий, и виновником его был сам начальник дивизии, который чем дальше, тем больше нравился Ливенцеву.

За две с лишним недели Ливенцев успел уже как следует присмотреться к этому неугомонному человеку, так как тот несколько раз бывал в его роте. Совершенно естественно у него выходило, когда он, задавая какой-нибудь вопрос солдату, добавлял при этом: «Ну-ка, друг сердечный, таракан запечный.— умудрись!» А если ответ был неудачный, то: «Нет, брат, не ходи один, ходи с тетенькой!» или что-нибудь еще в этом роде, так как подобных словечек был у него огромный запас.

Изумляло Ливенцева прежде всего то, что он не только видел Гильчевского, но и часто видел, — между тем как у него уже сложилось убеждение о начальниках дивизии вообще, как о существах таинственных, наподобие тибетского Далай-ламы: сидят где-то в своих штабах, обычно верст за десять — пятнадцать от своих дивизий, получают приказания свыше, издают приказы по дивизиям, — и это все. Таким был и начальник той дивизии, в которой он был раньше, некий генерал Котович: Ливенцеву его так и не пришлось увидеть.

И вот — новый, у которого уже немало под начальством: двадцать две тысячи пехоты, одиннадцать батарей,

обозы всех видов, сложная сеть укреплений, которую он ежедневно усиливал... И каждый день он непременно лично бывал здесь или там, наблюдая глазами хозяина за всем своим немалым хозяйством, и штаб его в колонии Новины приходился всего в трех верстах от передовых окопов.

Успех, выпавший на долю дивизии, показал совершенно неожиданно для многих чересчур осторожных, что наступать даже и среди белого дня на Юго-Западном фронте можно.

В отместку за неожиданное ночное нападение мадьяр на выдвинутые вперед окопы двух рот соседнего 403 полка,— причем были, конечно, и убитые и раненые, и несколько десятков человек вместе с командиром одной из рот, старым подпоручиком, попавшим в пехотное ополчение, были взяты в плен,— Гильчевский приказал полку немедленно же отбить у мадьяр окопы.

Расчет его был простой: с наблюдательного пункта он видел, что мадьяры не успели еще сделать в свою сторону ходы сообщения из занятых русских окопов, так что ни отступить им было нельзя,— они были бы перебиты все равно перекрестным огнем из соседних окопов,— ни помощи дать им свои тоже не могли из опасения слишком больших потерь.

— Ага, сукины сыны, сами в крысоловку попали! — кричал возбужденно Гильчевский, наблюдая с вышки в бинокль за тем, как падают и взрываются снаряды гаубичных батарей в только что под утро занятых врагами окопах.

Конечно, артиллерия с той стороны тоже развила возможный для нее огонь, но она оказалась слабее русской: хотя от ее снарядов фонтанами летела кверху грязь из болотистой речушки Муравицы, протекавшей через позиции 403 полка и дальше, уже за позициями австрийцев, впадавшей в реку Икву.

Ожесточенно стрекотали пулеметы с обеих сторон, гремели винтовки,— казалось, что сражение, начавшееся на не большом участке, разовьется в очень серьезное, но оно только удивило как соседей Гильчевского справа и слева так и соседей венгерской дивизии: о начале серьезных действий должно было дать знать высшее начальство, а начальство это пока молчало.

Не больше как через два часа после начала сражения, когда три роты потерпевшего полка пошли в атаку, канонада утихла: из окопов, занятых ими ночью, начали выходить венгерцы с белыми флагами и сдавать оружие.

По ходам сообщения, потом по мосткам через Муравичку прошли под конвоем в тыл остатки двух батальонов мадьяр — шестьсот с лишком солдат при двадцати трех офицерах. Это были сытые на вид, здоровые люди в серо-голубых шинелях; они имели ошеломленный вид, особенно офицеры. После удачи, стоившей им очень дешево, по их же словам, так как силы их были четверные, и вдруг плен!

Зато ликовал 403 полк, и вся 101 дивизия, и сам виновник «крысоловки» начальник дивизии Гильчевский, причем его ликование относилось не столько к удаче контратаки, в чем он заранее не сомневался, сколько к тому, что командир корпуса генерал Федотов не успел ему в этом помешать.

Все потери 403 полка свелись к двумстам сорока солдатам и семи офицерам, а разгромлено было полностью два батальона мадьяр.

2

В конце апреля Брусилов должен был ехать из своей штаб-квартиры сначала в Одессу, а потом в Бендеры снова встречать царя. Верховный главнокомандующий отправился из ставки на смотр сербской дивизии, в которой, кроме сербов, было много и других славян, бывших подданных Франца-Иосифа, попавших в плен.

Все не нравилось в этой новой встрече с царем Брусилову.

Прежде всего то, что из пленных воюющей страны формировались дивизии, — это противоречило международному праву и давало основания немцам делать то же самое в отношении русских военнопленных. Правда, немцы кинули на Юго-Западный и Западный фронты польские легионы, но они прикрывались тем, что поляки в них — подданные Германии и Австрии, а не из бывшего «Царства Польского». Что же касалось привлечения пленных русских солдат к работам в тылу фронта, то к подобным мерам прибегали и русские военные власти, только назначались на работы.

австрийцы, а не германцы; пленным германцам выдавались кормовые деньги, но делать они ничего не делали, на чем настояла сама императрица.

Не нравилось Брусилову и то, что царь, объявивший себя главнокомандующим, как будто все время только и думает о том, куда бы ему улизнуть из ставки, где одолевает его смертельная скука. Брусилов часто признавался и самому себе и своим близким, что совершенно ничего не понимает в этом императоре величайшего государства в мире. Не понимал он и его вечного стремления куда-то схать, хотя с точки зрения дела ни малейшей в этом не было нужды. Можно было только поставить эту особенность царя в прямую зависимость от наследственности. Любил ездить без всякой ощутительной цели Александр любил ездить брат его Николай, причем царские кучера постарались два раза вывалить его из тарантаса, и один раз, на Кавказе, он чуть было не свалился в пропасть. — едва удержался за колючий куст, — другой раз, под городом Чембаром в Пензенской губернии, сломал себе ключицу; любил ездить и Александр II, который бывал даже во времена своего долгого наследничества и в Сибири, жители которой принесли ему за время путешествия шестнадцать тысяч письменных жалоб на лихоимство чиновников: более тяжел на подъем был Александр III, но много ездил и он, и умереть ему довелось не в Петербурге, не в Гатчине и не в Царском селе, а в Ливадии.

Но как бы ни была эта черта в Николае II наследственной, все-таки наиболее бесцельные поездки, лишь бы убить время, были у этого, очень незадачливого человека.

Наконец не нравилось и то, что его, Брусилова, отрывают на несколько дней на то, что совершенно и ни для чего не нужно, от того, что в высшей степени необходимо: от подготовки к наступлению на его фронте, для чего ценен и важен каждый час.

Царю было скучно в ставке, где он ежедневно по утрам принимал Алексева с докладом о положении дел на фронте, чем и оканчивались все его заботы о взятых на себя огромных обязанностях, а семье царской скучно было в Царском селе, тем более теперь, весною; когда, как известно, даже и счастливых тянет вдаль; поэтому-то теперь царь путешествовал вместе со своим семейством.

В Бендерах на вокзале встречал царя Брусилов, потом представлял ему новую, только что сформированную пехотную дивизию. Смотр этот прошел так, как ему уже было известно по Каменец-Подольску: у царя не нашлось ни одного сердечного слова для обращения к полкам, которые предназначались на фронт, где готовились невиданные еще эту войну бои.

Впрочем, и с самим Брусиловым царь не говорил о подготовке к наступлению, как будто не об этом наступлении целый день совещание в его присутствии в ставке с есяц назад. Брусилов не заговаривал об этом сам, так как не задавал вопросов царя, но так и не дождался и терялся в догадках — почему же именно это? Была ли это забывчивость, была ли это деликатность, — дескать, я в вас уверен, и не незачем задавать вам вопросы, как у вас там на фронте и что; была ли это осведомленность из других источников, например, от Алексеева, или, наконец, было это наименьшее равнодушие ко всему, что делалось и во всей армии и во всей России? Брусилов боялся думать, но все же не мог не думать, что последнее предположение, быть может, самое верное, если только он вообще способен понять что-нибудь в таком тщательно закупоренном человеке, как царь.

Так как сербская дивизия была в Одессе, то нужно было ехать туда в свитском вагоне, где приходилось делить время с такими пустыми людьми, как Воейков, флаг-капитан адмирал Нилов, способный пить сколько угодно, начальник конвоя граф Граббе, гофмаршал князь Долгоруков, — все же знакомые ему по завтраку и обеду в царской столовой Могилеве, в день совещания.

К дивизии сербской в Одессе царь выказал не больше внимания, чем к дивизии из своих ополченцев в Бендерах. Но зато в Одессе Брусилов неожиданно для себя был приглашен в вагон императрицы.

Жена Брусилова деятельно трудилась по части поездов-кладов и поездов-бань, обслуживающих армию на фронте носивших название «поездов ее величества», так как через канцелярию царицы шли средства на их содержание; жена Брусилова не раз получала от императрицы и благодарственные телеграммы за труды, — сам же Брусилов впервые удостоен был ее внимания.

Стояла яркая южная весна, синело очень ласковое на вид море, а в вагоне перед Брусиловым сидела бледная, узкогрудая женщина, с высокой тонкой шеей, с высокой прической жидких темных волос и с какими-то брезгливо-тоскливыми карими глазами.

Ничего живого не было в этом лице, — не было и наир-ранной величавости. Напрашивался вопрос, не было ли усталости, но тут же отпадал: нет, усталости не было, но на худое длинное лицо это с прямым продолговатым носом как будто давно уже была плотно надета маска, так что оно лишено было способности изменяться; улыбающимся это лицо Брусилов никак не мог представить, однако и очень раздраженным тоже. Но что чрезвычайно удивило Брусилова, так это то, что она с первых же слов заговорила о готовившемся им наступлении на Юго-Западном фронте.

Вот кто оказался равнодушным к тому, что он затеял, на что сам напросился в ставку, не царь, а она — эта слабая на вид женщина с брезгливо-тоскливыми глазами.

— Я слышала, что вы хотите переходить в наступление на своем фронте? — с легким немецким акцентом, медленно подбирая слова, спросила она по-русски.

— Да, ваше величество — удивленный, что с этого вопроса началась беседа, ответил, поклонившись ей, Брусилов.

— И что же вы, уже вполне готовы к этому наступлению? — делая ударение на «вполне», спросила она с таким выражением глаз, что он не знал уже, чего в них стало больше — брезгливости или тоски, видел только, что в них отнюдь не было равнодушия, как в рано выцветших глазах царя.

— Я не могу уверенно сказать, что вполне, ваше величество, но и я и мои подчиненные командующие армиями, командиры корпусов и дивизий, все мы делаем все, что в наших возможностях и силах.

Брусилову показалось после этих слов, сказанных тоном доклада, что брезгливости в глазах царицы стало как будто больше. Она ничем не отозвалась на сказанное, только смотрела прямо ему в глаза долго и внимательно, так что ему стало не по себе, наконец спросила:

— Когда же именно, какого числа думаете вы переходить в наступление?

Этот вопрос заставил его насторожиться. Он лично считал, что наступление нельзя откладывать дальше 10 мая, и чуть было не сказал так, но тут же себя одернул: подозрительным показалось ему вдруг любопытство этой женщины к тому, что касалось только ее мужа, как верховного главнокомандующего, и в то же время не возбуждало никакого любопытства в нем. Кто из них пытался стать вождем русской армии — царь ли, бегавший из ставки, она ли, благословляемая на это своим «святым» старцем? Ее симпатии к немцам были ему известны, и он ответил на ее вопрос, насколько можно было, гуманно:

— Пока ничего еще определенного на этот счет мне неизвестно, ваше величество... Обстановка на фронте ежедневно меняется, а момент должен быть выбран наиболее подходящий... Об этом нам, главнокомандующим фронтами, будет дано знать, я полагаю, только накануне наступления, ваше величество. Тогда мы получим телеграмму из ставки и начнем.

— И что же, вы надеетесь на успех? — быстро спросила она, очевидно, заранее подобрав слова.

В этом вопросе, в самом его тоне почудилась Брусилову тонкая ирония, хотя выражение маски-лица как будто несколько не изменилось. Это подстегнуло Брусилова, как удар хлыста, и он ответил твердо:

— В этом я вполне убежден, ваше величество: в этом году мы разобьем противника!

Тоскливая брезгливость глаз дополнилась еще и сожалением, — так показалось Брусилову, но вот отвернулись от него глаза, тонкие руки начали искать что-то и нашли: она протянула ему маленький серебряный образец с эмалью — Николая Мирликийского.

— Вот примите от меня, — сказала она совершенно неопределенным тоном, и Брусилову оставалось только пробормстать слова благодарности и взять образец.

— Приносят ли пользу на фронте мои поезда? — спросила она без любопытства.

И когда Брусилов ответил, что приносят и очень большую, она подала ему руку.

Беседа была окончена. Эмаль же с образка Николая-угодника почему-то отскочила, и Брусилов принес в свой вагон только серебряную пластинку.

— Главкомандующий большим фронтом несколько похож на театрального режиссера.— говорил Брусилов своему начальнику штаба Клембовскому, возвратясь из этой поездки в Бердичев,— разницу между ними я вижу только в том, что режиссеру-то известна во всех мелочах пьеса. какую он собирается ставить, а главкомандующий только еще собирается писать эту пьесу, имея при этом соавтора, который внесет в нее существенные поправки.

— Кого же вы разумеете под соавтором, Алексей Алексеевич? — спросил Клембовский, так понятливо улыбаясь при этом, что Брусилову оставалось только сказать: «Конечно, вас, как начальника штаба», но он сказал:

— Разумеется, я имею в виду австрийского главкомандующего русским фронтом,— а не вас. Точнее, я говорю о нескольких: и об эрцгерцоге австрийском Иосифе Фердинанде с его четвертой армией, и о генерале Пфланцер-Балтине с его седьмой, и о генерале Линзингене, подпирателем своими немцами австрийцев, а не об одном только главкомандующем фон-Гетцендорфе. Это они все будут вносить поправки в то, что мы с вами тут сочиняем... А все наши расчеты в конце-то концов основаны только на том, что против нашего фронта стоит, по нашим сведениям, до полумиллиона, а у нас, что мы знаем, гораздо больше... Вот, в сущности, и все наши шансы: у нас есть резервы, у нашего же противника их нет. А когда он их подтянет, то наши шансы сойдут на-нет, но зато мы прикуем к себе силы противника и не дадим их бросить на Эверта и Куропаткина, которые тем временем будут громить немцев. Только так мне рисуется наше будущее.

На умном, нервном лице Клембовского улыбка, погасшая было, разгорелась вновь.

— Не всякий рожден для того, чтобы счастливо командовать сотнями тысяч людей,— сказал он.— Я, например, как уже не раз говорил вам, Алексей Алексеевич, не рожден для этого. Но что касается генералов Эверта и Куропаткина, то, мне кажется, что и они...

Вместо того чтобы договорить, он предпочел вздохнуть и развести руками.

— Нет, теперь уж им нет выбора,— теперь уж жребий брошен! Теперь им просто прикажут из ставки наступать

пать, и тогда берлинские и венские умники поймут, как оставлять весь фронт без резервов! — с горячностью возразил Брусилов. — На всем фронте тысячу верст, если мы нажмем одновременно. — Чего ведь не было за всю войну и что составляет всю мою идею наступления, — они затрещат, они откатятся!.. Бить противников по частям, — сегодня одного, завтра другого, — вот и вся их стратегия. Сейчас, когда они сцепились — германцы с французами, австрийцы с итальянцами, если мы не выступим всем фронтом, то что же мы такое будем, а? Байбаки, дураки или.. или даже просто-напросто негодяи, а? Ведь своим бездействием даже и сейчас, когда идет уже май, а мы не двигаемся, мы только играем наруку Вильгельму! А вот если выступим во-время, то Вильгельм будет уже не Вильгельм, а журавль!

— Почему журавль? — не понял Клембовский.

— А это я о том журавле говорю, который «птица важная и вальяжная: нос вытащит, — хвост увязит, хвост вытащит, — нос увязит». Тогда немцам придется метаться между Верденом и нашим Западным фронтом, а фон-Гетцендорфу между итальянцами и нами, а кто за двумя зайцами гонится, ни одного не поймает, или вот еще, как это говорят у нас на Кавказе горцы: «Два арбуза под одной юдышкой не унесешь». Только на это мы и можем идти при нашей отсталой технике, а больше на что же нам старить?

Вопрос женщины с тоскливо-брезгливыми глазами: «Вполне ли вы готовы к наступлению?» стоял перед Брусиловым каждый день с утра до поздней ночи, когда он приехал в свою штаб-квартиру. Он придавал ему особенную нарочитость: склонный к мистике, он считал эту женщину роковой для России. Все немские слова, какие он от нее слышал в вагоне, он по многу раз перебирал в памяти, стремясь проникнуть в то, что таилось за ними.

Чего она не хотела никакого наступления, это он понял, конечно, еще тогда, в вагоне.

Чего же она хотела? В каком направлении она действовала на царя — вождя всех войск?

«Ничто немецкое, конечно, не было ей чуждо, и все русское непременно должно было казаться ей чужим, — раздумывал над словами царицы Брусилов, — а как же соглашавать это с русским конокрадом, пьяницей и сатиром,

«святым старцем» Распутиным? Наконец, пусть это — неразрешимый вопрос, но не по желанию ли царицы сделан главнокомандующим Северо-Западного фронта Куропаткин, разумеется, для того только, чтобы фронт его двигался назад, а не вперед, так как он испытанный мастер отступлений? И не действовал ли по тайному приказу царицы Эверт, когда проваливал свое большое наступление в марте и когда остановил в самом начале наступательные действия в апреле? Не изменник ли он, попросту говоря, такой же, каким оказался бывший военный министр Сухомлинов, — когда-то свой человек во дворце?»

Обилие и острая горечь этих мыслей угнетали Брусилова.

В апреле, две недели спустя после совещания в ставке, Эверт, как бы желая воочию доказать царю, что его фронт к наступлению совершенно не способен, приказал одной из своих армий продвинуться на коротком участке при озере Нарочь, потерял за два дня до десяти тысяч человек и на том закончил, послав донесение с ядовитым вопросом в конце: следует ли ему пытаться вернуть потерянную территорию и уложить ради этого еще три корпуса или «упрочить только современное положение»? Алексеев предложил остановиться на последнем.

Алексеевым руководила вполне понятная Брусилову мысль: не спешить с наступлением на каком-либо одном фронте, пока не подготовлено оно на всех, — а какие мысли владели Эвертом? Эта была загадка для его соседа по фронту Брусилова, загадка, которую решить он не мог, пока не началось наступление, и которую было бы поздно решать, если наступление на своем фронте тот провалил.

Если к позициям Брусилова подходили подкрепления из резервов и подвозились орудия и снаряды, то это вызывалось только необходимостью развернуть трехбатальонные полки в четырехбатальонные и дать им пополнения на первый случай. — это делалось, само собою разумеется, и на других фронтах. Но, кроме того, Эверт в первую голову, Куропаткин во вторую — получали еще и новые части, и тяжелые орудия из общearмейских резервов, и обильные запасы снарядов к ним.

Брусилов понимал, конечно, что сломить противника, стоявшего против Эверта, труднее, чем ему сломить смешанные австро-германские армии, но зато и средства для

того отпускались щедро, а он был обделен. И к Эверту, и к Куропаткину, как к старым генералам времен японской кампании, у Алексеева как бы оставалось еще старинное подчиненное отношение, хотя могло бы уж, кажется, оно выветриться с годами. Брусилова возмущало в Алексееве именно то, что он, будучи теперь выше по положению, чем эти двое, все-таки был с ними в ставке преувеличенно любезен, чуть ли даже не низкопоклонничал перед ними, а между тем...

Когда 11 мая из ставки, в телеграмме от Алексеева, подтверждено было то, что уже просачивалось в газеты об отчаянном положении итальянских войск на плоскогорье Азиаго, где теснили и местами гнали уже их австрийцы, забирая огромные трофеи и массу пленных, Брусилов принял это как долгожданный сигнал к действиям.

Об этом именно, по словам телеграммы, и просило высшее командование итальянской армии: наступать, чтобы оттянуть от них петлю, уже занесенную над их головою, сыграть роль вытяжного пластыря. Алексейев запрашивал почти теми же словами, как и царица в вагоне: готов ли вы выступить на помощь союзникам и когда мог бы он это сделать?

Брусилов ответил, что вполне готов, — теперь он уже не опасался слова «вполне», — и начать наступление мог бы через неделю — 19 мая, если только в тот же самый день приступит к боевым действиям и Эверт.

Послав такую телеграмму, Брусилов ждал приказа, чтобы немедленно передать его всем четырем своим армиям, однако напрасно ждал день, два, три. Наконец Алексейев вызвал его для разговора по прямому проводу. Оказалось, что он не бездействовал эти дни: он уламывал Эверта и добился того, что 1 июня обещал начать действия этот упрямец. Поэтому-то, чтобы сократить разрыв во времени, он предлагает Брусилову начать наступать не 19, а 22 мая.

Напрасно доказывал Брусилов, что десять дней — это огромный срок, что за десять дней можно или разгромить нужную армию или потерять свою, если не будет поддержки. Он убедился, что Эверта, от имени которого говорил Алексейев, ему не переубедить, — приходилось мириться и на этом сроке.

— Ну, а могу я получить гарантии, Михаил Васильевич,

что Эверт не передвинет свое выступление на несколько дней? — спросил Брусилов.

— Нет-нет, Алексей Алексеевич, об этом не беспокойтесь: этот срок зафиксирован прочно, о нем должно быть доложено государю, — донесся вполне твердый, убеждающий голос Алексева, и на этом закончилась деловая беседа.

Брусилову оставалось только передать своим командирам, что день наступления приурочен к 22 мая, что он и сделал. Однако напрасно он думал, что с этим все уже кончено: сколько ни вопили о помощи итальянские генералы, ставка стремилась под тем или иным предлогом, очевидно, в угоду Эверту и Куропаткину, оттянуть решительный день.

Теперь в дело вмешался сам царь и вмешался как раз накануне открытия действий — вечером 21 мая.

Опять был вызван к прямому проводу Алексеевым Брусилов, и, как оказалось, для того, чтобы он отказался от своей тактической мысли, от своего детища, которое вынашивал так долго, руководясь опытом своих и чужих боевых действий.

— Алексей Алексеевич, прошу не принимать этого за мое личное вмешательство, этого желает государь, чтобы вы сосредоточили свой удар в одном месте, а не разбрасывались по всему фронту, — кричал Алексеев, отчетливо произнося слова.

Как ножом по сердцу ударили эти слова Брусилова! Менять всю тактику наступления, назначенного через несколько часов, на рассвете следующего дня, — что это такое было: самодурство царственного невежды в военном деле? Явное желание оттянуть срок наступления, так как произвести новую перегруппировку войск для удара в одном месте нельзя было даже и за несколько дней? Может быть, тут-то именно и вмешалась роковая женщина на с ее брезгливыми ко всем русским усилиям глазами? А может быть, это просто нажим Куропаткина на свдего бывшего подчиненного, хозяина ставки?..

— Прошу меня сменить! — прокричал в телефонную трубку Брусилов.

— Что вы такое говорите? — испуганным тоном отозвался ему Алексеев.

— Прошу его величество сменить меня, если мой план ему негоден! — повысил голос Брусилов. — Сейчас же сменить, сейчас же!

Очевидно, и резкий тон и смысл сказанного Брусиловым ошеломили Алексева, — этого-то он во всяком случае не ожидал от человека, так умевшего владеть собою, как Брусилов, насколько он был ему известен.

— Что вы, что вы, Алексей Алексеевич; как так сменить вас, — успокойтесь! Речь идет ведь не о вас совсем, а о системе действий, — заговорил Алексеев как будто даже испуганно. — Несколько дней еще большой разницы не составят, а зато испытанный уже прием удара в одном месте принесет большие результаты.

— Испытанный кем? Противником, у которого транспортные средства вчетверо больше наших? — кричал в ответ Брусилов. — Да пока я успею перевести дивизию, он переведет пять, если не шесть, и все наступление пойдет прахом! Сейчас он не знает, где будет нанесен ему удар, и даже я сам этого не знаю; где удастся! А начни я перегруппировку, — для него все карты будут раскрыты!.. В одном месте? К этому месту он и стянет пятерные силы против моих!.. Нет, я вижу, что мне не суждено ничего сделать, нет!.. Прошу меня сменить! Доложите верховному главнокомандующему, что я прошу заменить меня кем угодно, хотя бы генералом Эвертом!

— Я не могу сейчас ничего докладывать верховному: он не может спать, — ответил Алексеев, — а вы все-таки подумайте, Алексей Алексеевич.

— Зато я не сплю и не могу спать, когда у меня все готово и все на своих местах! И мне не о чем думать, — сон верховного меня не касается, — раздражаясь до предела, кричал Брусилов. — Прошу доложить немедленно, чтобы меня сменили!

— Ну, что вы, что вы, как же я могу его будить ради этого, — примирительно уже заговорил Алексеев и закончил вдруг: — Ну, бог с вами! Делайте, как задумали сделать, — желаю успеха! И да поможет вам бог!

Алексеев был человек религиозный, и бога призвал он к концу разговора не зря. Он знал, что и Брусилов был человек тоже религиозный, хотя и оказался излишне горяч и несдержан.

Но если горяч оказался Брусилов, то потому только, что слишком холодна была ставка. Да и что могло загореться в ней, если верховный главнокомандующий являл собою образец превосходной воспитанности, то есть невозмутимости? И для чего же торчали в ставке вместе с ним все эти Фредериксы, Воейковы, Долгоруковы, Граббе и прочие, как не для того, чтобы ставка имела вид невозможного царскосельского дворца в миниатюре?

Если исконный, вшедший в дворцовый ритуал, обряд христосования на пасху царя с «народом» производился ежегодно во дворце, то разве он мог быть отменен в ставке? И 10 апреля царский скороход (совершенно, кажется, ненужная должность в век телеграфа, телефона, автомобилей и самолетов) по заранее составленному списку выкликал в ставке фамилии лиц, допущенных к христосованию с царем. Тут были и генералы, и офицеры ставки, и духовенство, и придворные служители, и служители гаража, и рабочие гофмаршальской части, и администрация императорских поездов, и иностранные военные агенты, и певчие штабной церкви, и вся почтовая контора при штабе, и моголевский губернатор Пильц.

По мере того как их выкликали, они выстраивались и шли в затылок к царю в его обеденный зал. Царь стоял там около стола с горою фарфоровых яиц разных цветов с его вензелем и украшенных лентами. Генералам и офицерам при христосовании он подавал еще руку, остальных же только слегка касался губами ли, бородкой ли, вообще касался, — и каждому подавал фарфоровое яйцо. Разумеется, о каждом из попавших в список скорохода было заранее известно, не болен ли он чем-нибудь неподходящим для такого торжественного обряда.

На другой день обряд был продолжен и для войск, несущих наружную и внутреннюю охрану ставки. причем предварительно все офицеры и солдаты должны были пройти через медицинский осмотр.

Но если пасха бывала только раз в году, то ритуал каждого дня, сложный и затруднительный для непривычных, не изменялся, как бы ни менялось положение на фронте. И если в основные понятия царской ставки вошло такое новое понятие, как «прорыв», то оно уж и должно было

держаться прочно, как христосованье царя с «народом», не заменяться по своеволию одного из высших генералов кем-то совсем небывалым: «прорывами» в нескольких местах! Такой невспитанности не могли допустить ни министр императорского двора, ни дворцовый комендант, ни фельдмаршал, ни даже начальник штаба Алексеев, который, как пасхальное фарфоровое яичко, получил на пасху генерал-адъютантство, причем сам царь переподнес ему два знака: в одном — золотые аксельбанты, в другом — погоны царским вензелем.

Благодаря тому, что верховным главнокомандующим был сам царь, ставка жила своею жизнью, а фронт своей, даже Алексеев, не замечал он этого или замечал, безразлично, хотел он этого или не хотел, становился понемногу придворным.

Удар, который готовил Брусилов, был направлен на Луцк, чтобы приковать к этому участку своего фронта, смежному с Западным фронтом, дивизии противника и тем дать возможность развернуться во всю мощь Эверта, с его тяжелой артиллерией и громадными людскими силами.

Когда Брусилов попытался обратиться как-то в ставку требованием дать ему еще хотя бы один только корпус, получил отказ: Алексеев мягко, но решительно ответил: «Все, что у нас есть, отправляем на Западный фронт». Это значило, что даже и против своей воли, но именно Эверт был избран в спасители России. Так приходилось на него смотреть и Брусилову, которому давалась только подчиненная роль.

Против Луцка должна была действовать стоявшая на том участке восьмая армия с Калединым во главе. Но была еще задача, решение которой зависело от другой армии: нужно было вывести из выжидательного состояния сумятицу и притянуть к себе крупным успехом. По соседству с Румынией стояла девятая армия, — она-то и должна была одержать этот успех: задачи седьмой и одиннадцатой армий сводились к тому, чтобы подпирать девятую восьмую.

Но саперные работы кипели на всем фронте. Размякшая осенняя земля была податлива для саперных лопат, — старинная русская земля, воспетая еще в «Слове о полку Игореве». В разных местах, чтобы сбить противника с тол-

ку и запутать. рылись окопы в направлении к неприятельским позициям, подходя кое-где к ним уже всего только на полтора-два шага, чтобы накопить в них пехоту, необходимую для штурма укреплений, когда они будут разгромлены артиллерийским огнем. Каждый солдат понимал, зачем он копал подходы к врагу, вдыхая волнуемый землеробом запах сырой земли. Бесчисленные ходы сообщения связывали передовые линии окопов с тылом: огромная армия подбиралась к засевшей в земле армии врага: это оказался единственный удобный путь.

В тот вечер, когда происходил последний перед началом действий разговор Брусилова с Алексеевым, весь фронт напрягся для прыжка вперед, и в дивизии ильчевского, назначенной для прорыва против чешской колонии Новины, все было закончено: подтянуты резервы, расставлена артиллерия, устроен для самого начальника дивизии наблюдательный пункт в расстоянии всего лишь семисот шагов от окопов. Попавшие в плен 15 апреля мадьярские офицеры ахнули от изумления, когда их привели в штаб начальника дивизии, расположенный всего в трех километрах от передней линии укреплений, — теперь им пришлось бы удивиться чудачку русскому генералу гораздо сильнее.

А Гильчевский весь полон был подмывающей гордостью оттого, что его ополченскую дивизию командующий восьмой армией Каледин поставил в ряд с двумя боевыми кадровыми дивизиями: четырнадцатой — с ее полками Вольским, Минским, Подольским, Житомирским, прогретыми на весь мир еще во времена Крымской кампании, и четвертой стрелковой, «железной» дивизией, покрывшей себя славой в русско-японскую войну. Могло показаться, что исторические традиции стойкости русских войск как бы непосредственно от него одного впитали четыре полка с новыми для военного слуха именами: Карачевский, Усть-Медведицкий, Вольский, Камышинский.

Усть-Медведицкий полк, 402-й, в котором командиром был Кюн, равнодушно относившийся к выстрелам даже своих пушек, наряду с другими готовился к необычному. Офицеры писали письма своим близким, прощаясь с ними на всякий случай; иные составляли духовные завещания.

Ливенцеву нечего было завещать и некому. Его старая мать, которой он посылал ежемесячно часть своего жалования, должна была как-то одна перебиваться, если ему

Родена была смерть, и она знала это. Она жила в Орле Садовой улице. После каждого получения от него де она неизменно справлялась письмом, не обижает ли он бя самого; — что-то уж очень расщедрился, а к чему? добавляла: «Мне-то ведь, старухе, немного надо, а тебе сныги гораздо нужнее, — у тебя товарищи: тот придет в сти, — угощай; тот придет займы просить, — дай, а на эвизиях жизнь, это уж всем известно. очень дорогая...»

К пасхе от нее получилось письмо с поздравлением, но ришло также письмо и от Натальи Сергеевны, пахнувшее ухами лориган. От нее же передали ему письмо в штабе лка и 20 мая, и он держал его в кармане гимнастерки распечатанным. У него, человека энергичного, знающего бе цену, была такая маленькая странность — не спешить накомиться с письмом человека, которого он любил. Писью есть ведь, — вот оно, здесь, ближе к сердцу, чем что-нбо другое. Меня помнят, обо мне думают, — и вот доазательство этого — письмо в закрытом конверте. Милым вердым почерком, крупными буквами в нем может быть аписано и то, и другое, и третье. Ну, а вдруг написано всем не то, чего бы мне хотелось, или не так выражено, в теми словами? Это письмо — слишком дорогой подарок, тобы в нем обнаружился вдруг какой-нибудь изъян. И огда же? Как раз тогда, когда здесь совершается такое, овершено ведь невидное из Херсона, напряжение огромйших сил, о котором будет сказано в телеграммах мертыми, казенными словами: «Войска Юго-Западного фронга ерешли в наступление». Наконец, что бы ни было напиано в этом письме, пусть оно звучит в душе только как ароль — «Россия». Впереди — позиции противника, укреплявшиеся им всеми средствами техники в течение долгих святи месяцев и потому признанные знатоками этого дела овершено неприступными; рядом — смелое желание соен тысяч людей русских переступить через них, а позади — золотонивая, голубонебая Россия.



НАЧАЛОСЬ

Тогда год спустя, в 1917 году, англичане готовяли атаку немецких позиций на Ипре, они выпустили для этой цели четыре с половиной миллиона снарядов стоимостью в двадцать два миллиона фунтов стерлингов, то есть двести двадцать миллионов рублей золотом, или около того. Вес этих снарядов был равен 107 тысячам тонн, так что для доставки их из Англии на материк нужно было пустить 27 судов по 4000 тонн водоизмещением, а для подвоза с берега к линии фронта — 36 тысяч трехтонных грузовиков.

Когда генерал Макензен в 1915 году осуществлял свой прорыв на Карпатах, на фронте третьей армии русские войска, его артиллерийская фаланга развивала огонь такой силы, что на два погонных метра фронта приходилось сорок три снаряда.

О таком поражающем воображение богатстве снарядами не мог и мечтать Брусилов, когда разослал своим командирам приказ начать бомбардировку австро-венгерских позиций на рассвете 22 мая (4 июня), и все же внушительность начавшейся канонады явилась совершенно неожиданной для австрийских и германских генералов.

Всего за неделю до того совещались два союзных главнокомандующих — Конрад фон-Гетцендорф и Фалькенгайн, не опасно ли будет снимать с русского фронта большое число дивизий для переброски их на итальянский фронт, и первый убедил второго, что никакой опасности нет и быть не может, что без тяжелой артиллерии было бы безумием со стороны Брусилова пытаться прорвать неприступные позиции, а чтобы подвезти тяжелые орудия в достаточном числе, а также снаряды к ним, русским при их отвратительных дорогах потребуется не меньше месяца, — время вполне достаточное, чтобы совершенно разгромить итальянцев.

Гетцендорф был так увлечен своим проектом натиска на Венецию из Тироля через плоскогорье Азиаго, что сумел убедить Фалькенгайна в полной безопасности этого шага, давшего уже с первых дней наступления большое количество пленных и трофеев и сулившего полный успех.

Фалькенгайн не выдержал роли строгого опекуна и развязал руки Гетцендорфу. Несмотря на то, что местность, по которой шло наступление, была высокогорная, покрытая снегом, что затрудняло военные действия, австрийские войска, окрыленные удачами, рвались преследовать отступающих итальянцев, — оставалось только поддерживать их пыльными и новыми частями: любая армия наступает стремительно, если перед ней бежит противник и о ней заботится начальство.

Победы в Италии приказано было праздновать на австрийских позициях как раз 22 мая (4 июня), слив этот праздник с торжеством по случаю рождения австрийского эрцгерцога Фердинанда, командующего четвертой армией, которую била брусиловская восьмая армия в предыдущем году.

Очень кстати оказался таким образом салют огромного числа русских орудий, — среди которых, вопреки уверениям Гетцендорфа, были и тяжелые, — раздавшийся на фронте в четыреста километров почти одновременно на рассвете: трудно было бы и придумать лучшее начало для празднования побед в Италии, с одной стороны, и для рождения одного из членов австрийского императорского дома, с другой.

Когда начинают свой разговор тысячи орудий, далеко разносится он по земле: салют эрцгерцогу Иосифу-Ферди-

нанду слышала вся Подолия, слышала вся Вольшь, слышали Карпаты, Галиция, Буковина, Румыния, а скоро услышали его в Вене и Берлине.

Это была торжественная увертюра к тому, что потрясло основы одной из старейших монархий Европы, решительно повернуло лицо победы в сторону держав Антанты и могло бы привести к полному разгрому Австро-Венгрии летом, если бы ставка с царем во главе так же поверила в русского бойца, как поверил в него Брусилов, и дала бы тому, кто хотел наступать, а не тем, кто решил, как Эверт и Куропаткин, отсидеться, все средства к наступлению.

Западный и Северо-Западный фронты считались ставкой важнейшими, так как они прикрывали Москву и Петроград, что же касалось Юго-Западного, прикрывавшего Киев и Одессу, — Украину — житницу России, с ее криворожской рудой и донецким углем, то он считался второстепенным.

Эта предвзятость привела к тому, что обделенный тяжелой артиллерией, без которой нечего было и думать о прорыве укреплений, имевших накатники в шесть-семь рядов толстых бревен, присыпанных слоем земли в несколько метров толщиной, а где и бетонных, с рельсами вместо бревен, — Брусилов вынужден был перебрасывать тяжелые mortars не только из одного корпуса в другой, которому давалась ударная задача, но даже из одной армии в другую.

И все-таки к началу бомбардировки австро-германцы семидесяти брусиловским тяжелым орудиям и mortars могли противопоставить сто шестьдесят, — важно было только то, что внезапность русского огня не дала времени их сосредоточить именно там, где оказалось нужней и важней. Случилось то, на что надеялся Брусилов, открыто ведя саперные работы, как подготовку к наступлению, во многих местах своего фронта.

Для многих австрийских генералов неожиданным оказалось и то, что сила русского огня не только не слабела с часами, напротив — росла. За первыми выстрелами следили с наблюдательных пунктов и, только убедившись, что снаряды ложатся в намеченные цели и производят там, у противника, ожидаемый вред, учащали пальбу.

Расстояние между окопами местами доходило до трехсот, а где даже и до ста шагов, что позволяло австрийским

солдатам во время пасхи выкрикивать поздравления с праздником.

Теперь поздравляли минами и бомбами из минометов и бомбометов. причем минометов было больше у австро-германцев, бомбометов оказалось больше в русских окопах.

В апреле, в двухдневных боях у озера Нарочь, на Западном фронте впервые в ту войну были введены и только что изобретенные немцами огнеметы, но на брусиловский фронт они еще не успели попасть.

Дивизия Гильчевского был отведен для прорыва участка в две версты; два полка — Карачевский и Усть-Медведицкий — готовились идти на штурм позиций противника, когда артиллерия проделбит для этого проходы в густой сети проволочных заграждений, ежей и рогаток, которым не причинили вреда даже и пироксилиновые шашки саперов, подползавших к ним ночью перед началом канонады.

Когда Гильчевский услышал утром о неудаче саперов, он горестно прокричал рядом с ним стоявшему своему начальнику штаба:

— Пи-ро-кси-лин не взял. — шутка, а? Вот так гадохин!.. А давно ли ножницами нас заставляли проволоку под огнем резать. да и тех не давали, сколько требовалось, подсады! Уйму народу зря из-за этого положили!

Он был взбешен еще дня за два до этого и все никак не мог успокоиться: командир корпуса Федотов взял у него один полк — 404 Камышинский — и передал его в другую свою дивизию, 105-ю, хотя она и не была ударной. У него осталось только три полка и на одну батарею меньше, чем было, — он чувствовал себя ограбленным как раз тогда, когда от него требовалось напряжение всех сил.

У него оставалось двенадцать гаубиц и пятьдесят пушек, из которых японские стреляли шимозами, дававшими слабый разрыв. Хотя Камышинский полк увез с собою тоже японские пушки, но рачительному хозяину, каким был Гильчевский, все-таки было их до боли сердца жаль, и время от времени, когда ему казалось, что работа его артиллерии слаба, он принимался ругать Федотова, оставшегося и теперь в тридцати верстах от фронта.

Все рвалось, грохотало, гремело и впереди, и позади, и около его наблюдательного пункта; кроме орудий, еще и

бомбосметная батарея, стоявшая между первой и второй линией окопов Карачевского полка, старалась расширять проходы.

Но если огонь противника был гораздо более беспорядочным, зато там не жалели снарядов, и гаубичный дивизион 101 бригады глушил батареи гонведов. Гильчевский знал, что против его дивизии стояли 38-й, 68-й, 79-й и 21-й полки мадьяр, из которых один был уже обескровлен наполовину в середине апреля, но вновь пополнен, а командир гаубичного дивизиона, старый кадровик полковник Давыдов, знал расположение батарей этих полков, поставив в новые укрытия незадолго перед днем атаки свои батареи.

Как дирижер огромного оркестра, впитывал и отражал Гильчевский в порывистых движениях, в остром блеске горевших глаз, в мимике подтянувшегося сероусого лица разрушительную музыку своих орудий. Он различал действия своих донцов и туркестанцев с их горными пушками и не раз выкрикивал: «Ого, молодцы донцы!.. Так-та-ак, туркестанцы!» и кричал на ухо полковнику Протазанову:

— Что бы мы делали, если бы их нам не прислали, а? Наши чортовы шимозымцы ни-ку-да!.. А донцы-то, донцы-то — прямо конфетки, а не донцы! Так и чешут!

Однако шли часы непрерывной пальбы, — на батареях обедали поочередно, — стало уже тускнеть солнце, но, как ни чесали, всей гущины чересчур щедро разросшейся всюду колючей проволоки прочесать не могли, насколько хотелось; местами были просто поля проволочных заграждений шириною в сотни шагов, где предполагал Гильчевский и заложенные фугасы.

— Артиллерия должна сделать свое дело на совесть, чтобы не подвести под монастырь пехоту, — говорил он. — Пехота пойдет безотказно, а если она на фугасах взорвется, кто перед нею будет ответчик? То-то и есть!

Ответчиком за все скверное, что могло случиться с его полками во время штурма так старательно, тоже вполне «на совесть», укрепленных позиций, он считал только самого себя, поэтому был осторожен, как никогда раньше.

Снаряды гаубиц громили легкие батареи мадьяр, проламывали, долбя раз за разом в одно и то же место, бетонированные своды блиндажей. Видно было, как взлетали там на воздух разные обломки вместе с фонтанами сы-

рой земли. Снаряды забирались и в «лисы норы», выкуривая оттуда врагов. Рассчитанно действовали донцы, туркестанцы и свои дивизионные испытанные наводчики скорострельных японских пушек; проходы ширились, однако наступал уже вечер этого громогласного дня, а Гильчевский не давал еще сигнала к атаке.

— Утро вечера мудренее, — сказал он Протазанову. — Ночью пусть люди спят, и нам с вами это тоже не мешает.

— А чтобы мадьяры ночью не заплели проволоку, нужно бы продолжать обстрел. — возразил Протазанов.

— Не заплетут, врут, не заплетут! — подмигнул ему Гильчевский. — А для остротки — редкий огонь по проходам и осветительные снаряды из трехдюймовок — и все! Что они могут сделать при таком наблюдении? Рогатки поставить? Утром мы эти рогатки расшибем к черту — и пойдем к ним с визитами. Все устали, все мало-мало оглохли, — пусть спят!

— Подкрепления подбоосят за ночь, Константин Лукич, — сказал уверенно Протазанов, но Гильчевский отозвался на это бодро:

— Если у них они есть. — милости просим! Лучше увидеть их завтра, чем послезавтра.

2

Придя в действие большие силы, каких никогда до этого не было под его начальством, Брусилов в штабе, в Бердичеве, не мог, конечно, чувствовать себя спокойным и вполне уверенным в успехе, особенно на фронтах одиннадцатой и седьмой армий, где он за полнейшим недостатком времени не успел даже и побывать.

Он не был по натуре сухим человеком. Он всегда склонен был верить в приметы, отыскивать таинственное и непостижимое в жизни, одно время даже увлекся спиритическими сеансами, которые, впрочем, вообще были в моде во второй половине прошлого века.

Теперь он мог бы назвать себя пифагорейцем: он стал себя чувствовать во власти магии чисел. Отлично изучив по карте фронта расположение частей своей бывшей восьмой армии, он изучал также соотношение сил своих и австро-германских на фронтах — Сахарова, Щербачева, Ле-

чицкого и еще перед началом наступления говорил в штабе:

— Да, вот видите, как вышло, господа: оказывается, наше превышение в силах над противником сводится к пу-
стякам, — сто с чем-то тысяч всего на четыреста верст по
линии фронта! Ведь это совершенно ничтожно для насту-
пающего на такие крепкие позиции... А вот Эверту соз-
дают тройное превосходство в силах! У нас едра набирает-
ся двадцать процентов перевеса, а у него целых триста!..
Да, плохо, плохо быть пасынком даже и среди главноко-
мандующих... Конечно, мы не старшие козыри в игре, од-
накоже с нас начинают игру, а мы... все ли мы подщи-
тали как следует?

И подсчеты людей, орудий, пулеметов, снарядов, патро-
нов, лошадей, повозок и прочего начинались в штабе
снова.

В день, назначенный для открытия бомбардировки по
всему фронту, уже не занимались подсчетами, а ждали те-
леграмм от командующих армиями.

Важнейшая задача прорыва была оставлена за восьмой
армией, которая, соответственно задаче, была и сильнее
остальных, вобрав в себя больше трети всех сил Юго-За-
падного фронта — пять пехотных корпусов и один конный.

Ей приказано было Брусиловым действовать путем
штурма не раньше утра на второй день бомбардировки,
так что ожидать донесений об успехах или неудачах пе-
хоты можно было из других армий, и первая радостная
телеграмма пришла в полдень. Генерал Сахаров доносил,
что его 6 корпус прорвал фронт противника в назначен-
ном для того месте, захватил одну из командующих над
его позициями высот и закрепился на южном скате дру-
гой высоты.

За этой радостной вестью часа через два пришла и дру-
гая от того же Сахарова: второй его корпус — 17-й, кото-
рый, как знал Брусилов, должен был только содействовать
6-му, в свою очередь прорвал позиции австрийцев против
деревни Сопаново.

— Вот видите, вот видите, как! — ликовал Брусилов,
впиваясь глазами в карту-верстовку.

— Странно только, что против Сопанова, а не против
Богдановки, — заметил на это Клембовский. Хорошо пом-
ня, что 17 корпусу предписано было действовать против

Богдановки, а Сопаново называлось только на всякий случай.

Но Брусилов тоже помнил все эти деревни, против которых готовились плацдармы.

— Да, да, Богдановка, совершенно верно, но успех-то, успех ожидал нас у Сопанова, — в этом все дело! — объяснял он оживленно своему начальнику штаба, доставшемуся ему в наследство от Иванова. — В этом только и состоит вся суть моего плана!.. Умница комкор Яковлев решил, значит, против Богдановки, где его ждали, устроить только демонстрацию, а ударить по-настоящему от Сопанова, вот и все, — и получился успех! А между тем, — вы ведь знаете это, — сам же Сахаров в Волочиске на совете заявлял, что успеха не ожидает!

— Не рано ли все-таки он пустил пехоту, Алексей Алексеевич? — раздумывал, глядя в ту же карту, Клембовский. — Артиллерия у него не так сильна, особенно в шестом корпусе... да и в семнадцатом тоже. Не погорячился ли Гутор, вот чего я боюсь.

Генерал Гутор был командир 6 корпуса, только что оправившийся от тяжелой раны и как раз накануне наступления, 21 мая, вновь принявший свой корпус.

— Да ведь что же Гутор? Он ведь боевой генерал, а не штабной. и свой корпус знает и позиции немцев знает, — вступился за Гутора, известного ему еще до войны, Брусилов.

— Но ведь против него немцы, а не австрийцы, и командующие высоты, а не ровное место, и даже не лес, как против Яковлева.

Брусилов знал, конечно, что против 6 корпуса стояла часть Южной германской армии генерала Ботмера, — именно две дивизии — 32-я и 29-я, — что командующие над всей местностью там высоты — 369, 389, 390 — были чрезвычайно сильно укреплены за девять месяцев упорно сидевшими там немцами, знал и то, что артиллерия 6 корпуса слаба, как и всей армии Сахарова, — ведь несколько батарей тяжелой артиллерии он сам приказал передать оттуда в восьмую, ударную, армию.

— И артиллерия слаба, и корректировать стрельбу по второй линии немецких укреплений нельзя без аэроплана, однако же вот держатся в занятых окопах, — молодцы! — скорее подбадривал самого себя, чем понимал причины ус-

пеха Гутора и верил в его прочность Брусиллов. — Да, наконец, ведь задача всей армии Сахарова только завязать дело, задача вполне второстепенная, — оттянуть на себя резервы армии Бем-Ермоли, а завтра ударит восьмая, и это уж будет настоящий удар.

Армия генерала Бем-Ермоли была австрийская, расположенная севернее армии Ботмера, против восьмой русской.

Телеграммы шли за телеграммами, — сплошной поток телеграмм, — но из седьмой — от Цербачева и из девятой — от недавно вступившего снова в ряды несущих службу командармов Лещинского — телеграммы касались только работы легкой артиллерии, пробивавшей проходы в проволоке, и тяжелой, долбившей вторые линии укреплений и уничтожавшей неприятельские батареи.

О том же самом доносил неоднократно и начальник штаба восьмой армии генерал Сухомлин. Брусиллов замечал за собою, что все донесения Сухомлина, с которым работал он последние месяцы перед назначением главнокомандующим, его особенно волновали, хотя они пока касались только подготовки к атаке пехоты; отделаться от пристрастия к делам своей бывшей армии он все же не мог.

Однако день 22 мая был днем начала наступления, и начинала сбивать врага с давно насиженных им мест одиннадцатая армия, а не восьмая.

— Доброе начало — половина дела, доброе начало — половина дела, — механически повторял Брусиллов, внимательно между тем слушавший и просматривавший сам телеграммы и Сахарова и непосредственно обоих комкоров — Яковлева и Гутора.

Корпус Яковлева — 17-й — был временно взят в одиннадцатую армию из восьмой и примыкал к левofланговому корпусу восьмой армии — 32-му, — поэтому действия Яковлева занимали большую часть интересов Брусиллова по сравнению с действиями Гутора. Но корпус Гутора стремился пробить брешь в наиболее сильных позициях на всем фронте одиннадцатой армии, притом в позициях, защищаемых германцами. Атака 6 корпуса шла на Воробьевку, Глядки, Цебрув, но от этих галицийских деревень очень далеко было до армии кропшпринца, осаждавшей Верден, однако удар здесь был направлен против нее

там: били здесь, чтобы облегчить положение французов под Верденом, дивизии которых с тупой методичностью перемалывались артиллерией германцев; били здесь, чтобы оттянуть силы, таранящие Верден, на себя. Это была жертва на общий алтарь европейских жертв и вместе с тем это был вызов Эверту: против 6 корпуса, как и против всего почти его фронта, стояли одни и те же германцы, которые, по убеждению Эверта, были неодолимы.

Одна из телеграмм-донесений особенно взволновала Брусилова. Сахаров доносил, что, по показаниям пленных немцев, им было известно, что наступление не только готовится против линии укреплений на высотах 369, 389 и 390, но и начнется не раньше, не позже, как 4 июня (22 мая), поэтому у них все было готово к достойной встрече русских.

— Что они знали о наступлении, это понятно: такого шила в мешке не утаишь, но откуда они могли узнать заранее о дне наступления? — недоумевал Брусилов и вспоминал любознательность царицы, но Клембовский откесся к этому проще, — он сказал, вздохнув:

— Повидимому, это только объяснение неудачи, постигшей Сахарова, о которой сообщено им будет несколько спустя.

Действительно, несколько спустя пришло донесение о больших потерях 6 корпуса. Боевые полки 16 дивизии — Владимирский и Казанский — держались в занятых ими укреплениях, но им пришлось выдержать несколько контратак противника, которые нечем было отбивать, кроме как ружейным и пулеметным огнем, для чего уже теперь, в самом начале дела, нехватало патронов.

Артиллерия оказалась не в состоянии успешно бороться с многочисленной артиллерией врага. Кроме того, складки местности на высотах так укрывали неприятельские батареи, что наши наводчики не в состоянии были их наступать. Змейковые аэростаты ничуть не помогли делу: во-первых, они не могли подняться выше как на двести метров, откуда ничего не было видно; во-вторых, их так раскачивало ветром, что наблюдатели заболели морской болезнью и сделались вообще ни к чему не пригодны.

В семнадцать часов (суточный счет часов был введен в ставку в ночь с 3 на 4 апреля) пришло донесение из штаба восьмой армии, что особая группа генерала Зай-

ончковского двинулась в наступление на штурм германских позиций из деревни Черныж, но вслед за тем новое донесение обрисовало этот штурм как неудачный: он был отбит с большими потерями для частей 30 корпуса, виной чему была плохая артиллерийская подготовка.

Брусилов встретил это донесение спокойно.

— Что из того, что отбит первый штурм? — говорил он. — Первый не удался, — второй удастся. Зато немецкие резервы не пойдут оттуда на юг и не помешают тридцать второму корпусу и восьмому прорваться на Луцк и Ковель. Хорошо сделал Зайончковский, что выступил вовремя: и раньше выступить было бы хуже и позже еще хуже. А немецкие резервы припаяны теперь к Черныжу, — кончено!

Он не хотел допускать и мысли, что на его фронте, на который смотрят теперь злобно Эверт и Куропаткин, скептически Румыния, с надеждой отчаянья Италия, с проблеском надежды Франция и с верой исстрадавшаяся за двадцать два месяца войны Россия, может провалиться все начатое им большое дело в самом начале.

Он пил крепкий чай, курил папиросу за папиросой и вчитывался в подносимые ему телеграммы, всем существом стремясь найти в них что-нибудь радостное.

Но через час, — это было уже совсем к вечеру, — донесения рисовали картину еще более безотрадную: противник, не считаясь с числом расходуемых снарядов, разви ураганный огонь по занятым владимирцами и казанцами окопам, не переходя в атаку, и таким образом создал большие затруднения, даже полную невозможность поддержки наших бойцов, несущих большие потери.

— Это уже похоже на то, что было в марте и апреле у Эверта, — сказал Клембовский.

— Нет, не похоже, нет! — вскипел Брусилов. — Генерал Гутор — прекрасный корпусный командир, но... но он только вчера вернулся в корпус свой из госпиталя, — вот причина! Подготовка велась без него, — вот!.. Кто ее вел? Как ее вел? — Вот где причина! Говорится: без хозяина дом — сирота, так и это. Нужно телеграфировать Сахарову: «Завтра с утра во что бы то ни стало занять на участке шестого корпуса обе главные высоты — триста восемьдесят девять и триста девяносто, для чего ночью произве

сти перегруппировку артиллерии и подготовить к атаке части четвертой дивизии».

Записав сказанное, Клембовский вспомнил и о высоте 369:

— На высоте триста шестьдесят девять тоже ведь положение трудное, Алексей Алексеевич.

— Ну, вот и добавьте об этом: «Шестнадцатой пехотной дивизии расширить плацдарм на высоте триста шестьдесят девять, оставив при этом только один полк в корпусном резерве».

Заметив некоторую нерешительность на нервном лице Клембовского, записавшего и это добавление к приказу, Брусилов спросил резко:

— Что вы хотите мне сказать?

— Неизвестно, как велики потери шестого корпуса теперь и насколько их будет больше к ночи, Алексей Алексеевич, — осторожно выбирая слова, ответил Клембовский. — Вдруг эти потери уже сейчас доходят до численности целого полка?

— Вы так думаете?

— Это вполне возможно... А к ночи там, может быть, потеряют еще два батальона, раз наша артиллерия не может соперничать с неприятельской.

Брусилов раза два прошелся по кабинету, остановился у окна и сказал, не поворачивая головы:

— Добавьте в таком случае: «Исполнение по усмотрению командира корпуса».

3

В штаб Брусилова, как и в штабах всех четырех командармов, писались и оттуда сыпались на линию фронта телеграммы с приказами, ясными, категоричными и очень требовательными к людям. Все было рассчитано, — магия цифр и чисел владела всеми, — не было только предусмотрено такой досадной мелочи — дождя, а дождь, сильный весенний дождь, притянутый днезной канонадой, хлынул как раз ночью, когда нужно было совершать перегруппировку войск и передвигать артиллерию.

То, что действительно могло быть сделано за ночь в сухую погоду, при напряжении всех сил, не успели сделать под дождем, когда глубоко размок и без того сыро-

батый грунт, когда за сплошной сеткой споро падавших крупных капель люди даже и в трех шагах перестали что-нибудь видеть, точно заболели куриной слепотой.

Кроме того, не в одной ведь дивизии Гильчевского, а во всех дивизиях одно и то же: не солдаты, а народ, одетый в серые шинели. Народ же этот был разный, и чем только он не занимался до войны!

Крестьяне и рабочие городов, попав в армию, проходили, конечно, и военный строй и стрельбу из винтовок, но неискоренима была в них привычка отдыхать в то время, когда работает дождь. Так что даже и здесь, на фронте, за несколько часов до боя, когда тысячам из них грозили смерть или увечье, многие не хотели понять, что дождь ли, грязь ли, ночь ли, а работать надо: им все казалось, что это как-то не по закону с них требуют.

К утру, впрочем, дождь перестал.

Четвертый батальон 402 полка продолжал оставаться в резерве, но был предупрежден все-таки, что, как только пойдут на штурм первые два батальона, он должен быть готовым по команде немедленно двинуться по ходам сообщения вперед в определенном порядке.

Готовиться к возможной смерти и не прочитать письма, — может быть, последнего письма от любимой женщины, было невозможно, конечно, и Ливенцев нашел время уединиться с письмом утром и вскрыл конверт. И только когда вскрыл его, осознал, почему все откладывал это; он понял, что боялся каких-нибудь не тех ее слов, не тех ее мыслей даже, таящихся между строчек письма, — боялся какого-нибудь разительного несоответствия ее мира с тем, который окружает его; но с первых же строк письма увидел, что напрасно боялся.

Письмо Натальи Сергеевны начиналось с того, чем иная на ее месте могла бы закончить:

«Храни вас бог! Благословляю, целую!»

Он остановился на слове «благословляю». Почему «благословляю»? Не иначе ли как-нибудь? Может быть, «обнимаю»? Но почерк четкий, буквы крупны. — не «обнимаю», а действительно «благословляю»... Это наполняло его тою торжественностью, какая была, несомненно, в ней, когда она писала, и дальше он читал уже без опасений и с огромным вниманием к каждому ее слову, как будто она была рядом, и он ее слышал:

«Мне было очень тревожно за вас все последние дни. В газетах так много пишут страшного, а говорят люди еще больше. Мы все живем для лучшего будущего, конечно, но хотелось бы все-таки, чтобы оно настало, не требуя от нас такой слишком дорогой цены. Если за него придется отдать все, что еще осталось у нас, тогда зачем нам и это лучшее будущее? Тогда, значит, мы его просто-напросто недостойны и напрасно его добиваемся. Если к лучшему будущему приходится делать прыжок через такое море крови, то можно ведь и не перепрыгнуть, а утонуть. — то есть, я хочу сказать... утонуть всем лучшим, что у нас есть, и что же тогда останется? Вы меня умнее, и вам виднее там, на месте, где творится наша новая история, какими средствами она творится и какими именно людьми. Не обо всем можно писать, — вам известно это, не все бумага терпит, но мне хотелось, чтобы с вами лично ничего плохого не случилось. Говорят и пишут, что летом должны начаться на фронте какие-то большие события, — они и начнутся, конечно... Я не пишу вам: «Не сдавайтесь в плен!» Я знаю, — вы и так не сдадитесь. Но мне бы хотелось, чтобы у вас были хорошие начальники, чтобы они знали, что надо делать, чего нельзя. Это ведь не так много я хочу, не правда ли? Ведь я имею право этого хотеть?.. Жду от вас письма. Пишите мне каждый день, если можно, хотя бы по два слова только! Н. Веригина».

Ливенцев украдкой поцеловал письмо, тут же написал на клочке бумаги: «Жив. здоров», подписался, надписал на обороте адрес Натальи Сергеевны и сунул клочок этот в карман, так как не знал, кому передать его. Трудно было и знать это перед боем, который мог вырвать из списка живых кого угодно.

Артиллерия уже гремела, подготавливая бой.

Перед позициями 401 и 402 полков стояли две высоты — 100 и 125 метров, — на них-то и были расположены мадьярские окопы. Но если к окопам первой линии почти вплотную подобралась в земле русские окопы, то вторая линия укреплений была запрятана за гребни высот. Аэроплан поднялся было, чтобы корректировать стрельбу тяжелых батарей по второй линии, но, обстрелянный, быстро улетел в тыл.

За ночь всюду в пробитых проходах мадьяры успели

понаставить рогаток, но горные и легкие орудия, а также бомбометы очень быстро разметали эти препятствия.

Гильчевский с Протазановым с раннего утра были уже на наблюдательном пункте и видели, как тяжелые снаряды мадьяр ищут батареи, переставленные все-таки ночью, несмотря на дождь и грязь, — ищут ревностно, однако неудачно. Но снаряды падали и в передовые окопы обоих ударных полков, и это беспокоило Гильчевского.

Начало штурма было назначено командармом в девять часов. Гильчевский решил применить хитрость: ввести в заблуждение солдат противника тем, что прекратить огонь и заставить их выскочить из окопов для отражения штурмующих штыками, а в это время накрыть их новым градом артиллерийских снарядов и тем обеспечить дело штурма.

Но вышло не так, как ему представлялось.

Командир 402 полка Кюн получил этот полк не так давно, — в январе. О том, что у него сильная проекция в Петрограде, Гильчевский знал; что он — исправный службист, это видел; проверить, каков он в деле, не пришлось, не было случая — и всю зиму и раннюю весну тянулось позиционное сиденье. Если даже и говорил кто-нибудь ему о Кюне, что он не выносит артиллерийской пальбы, Гильчевский принимал это за злую шутку. В первый день канонады не случилось его видеть, а на второй день злополучная нервность Кюна испортила штурм.

Гильчевский приказал прекратить оружейный огонь ровно в половине девятого, а через четверть часа, когда мадьяры выскочат из окопов, чтобы отражать штурм, открыть пальбу снова и продолжать ее до девяти, когда всем батареям умолкнуть.

Этот приказ был передан и командирам полков, но Кюн был точно в столбняке, — так он был оглушен канонадой. — приказ не понял и, чуть только упала в половине девятого тишина на окопы, погнался две передовые роты на штурм.

Точнее, его полковой адъютант, прапорщик Антонов, не успел предупредить в этом ставшего совершенно невменяемым Кюна, как удалось ему приостановить движение вперед других ударных рот.

Гильчевский с часами в руках считал минуту, когда

должна была вновь открыться пальба по врагу, подавшемуся на хитрость, как вдруг услышал впереди «ура».

— Что это там такое, что? Кто это? — ужаснулся он, но остановить тех, кто уже бросился в неприятельские окопы, не мог, конечно.

Роты были полного боевого состава, высокого боевого духа. Неудержимой лавиной бросились они в проделанные проходы и вскочили в окопы противника, не дав ему времени выбраться оттуда для встречи штурмующих.

У Гильчевского была еще надежда, что окопы мадьяр, быть может, сильно разбиты артиллерией и уже наполовину пусты. В этом он почти убедился, когда вдруг очень быстро по ходам сообщения начали проводить партии пленных. Непредвиденный оборот дела, казалось, обещал удачу, но следом за пленными кинулись назад остатки рот, бравое бежавших на штурм и оставшихся без поддержки.

Только гораздо позже узнал Гильчевский, что прекрасно построенные окопы врага дали возможность мадьярам оправиться после первых минут растерянности и забросать гранатами с обоих флангов ворвавшихся к ним. Оба командира рот были убиты, роты потеряли управление, и хотя до трехсот человек насчитывалось пленных, но зато и потери рот были не меньше.

Менять данный раньше приказ было нельзя из-за того, что несвоевременно вырвалась вперед часть ударных батальонов двух полков, — четверть часа молчания батарей были выдержаны точно, и началась новая пальба. Она, несомненно, с лихвой отплатила мадьярам, так как кое-где, видно было, они все-таки выскочили из окопов, и снаряды накрыли их, пока остатки их успели спрятаться снова.

Гильчевский был очень взвинчен первой неудачей, однако он не знал, что гораздо более крупная неудача ожидала его дивизию вслед за этой, сравнительно мелкой.

Тяжелые батареи, стихнув только на время, чтобы дать этим сигнал к общей атаке, начавшейся точно в девять часов по фронту всех трех ударных дивизий Каледина, перенесли потом огонь на вторую линию австрийских укреплений. Вот тогда-то и ринулись очень дружно и остальные роты первого батальона 402 полка и все роты тоже первого батальона 401, Карачевского.

Гильчевский наблюдал за их действиями не отрываясь,

приказал продолжать артиллерийскую стрельбу и уехал в колонию Новины на свою квартиру совершенно подавленный и расстроенный.

Единственное, что его теперь занимало, это опрос взятых двумя ротами 402 полка пленных. Так или иначе, но оказалось, что непредвиденно вырвавшиеся эти роты сделали хоть что-нибудь, — им помогла именно эта самая непредвиденность, внезапность.

— Так что, если бы их поддержать тогда еще шестью ротами, — говорил дорогой Протазанову Гильчевский, — то, пожалуй, вышел бы толк, а? Но как было знать это? Я хотел сделать лучше, а вышло хуже, а совсем не лучше.

Он ждал, что Протазанов найдет что-нибудь такое, чего не находил теперь он для оправдания своей хитрости, которая послужила на пользу только мадьярам, заставив их подготовиться к штурму за четверть часа передышки. Однако Протазанов, не менее его удрученный неудачей, сказал только:

— Вот показания пленных покажут, как работала наша артиллерия. Ведь только на ее работу и была надежда, а пехота тут ни при чем, как и мы с вами. Не мы назначали штурм в девять часов по всему фронту, а командарм. Кто поручится за то, что это не было заранее известно противнику?

— Было известно, было известно, вы правы! Они знали все в точности, да! — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Хотя от этого и не легче, но это так, — знали!.. Язык наш — враг наш, такой же, как немцы!.. Шпионы, — вот кто воюет против нас прежде всего! А сволочь эта — шпионы — вербуют изменников. Разве можно было назначать заранее один общий час для штурма по всему фронту? Нет, как хотите, как вам будет угодно, а этот наш командарм новый, генерал Каледин, сущий дурак! Не зря он каким-то отпетым дураком и смотрит. Меланхолией он, что ли, страдает, а? У него и усы висят, как у покойника, и глаза мутные... А если ты меланхолик, так на чорта же ты командарм, а? Скажите, пожалуйста, — ведь я слышал, что Брусилов его не хотел, — царь назначил!

— Может быть, в четвертой дивизии успех или в четырнадцатой, Константин Лукич, — попробовал возразить

до боли в глазах, и увидел вдруг то, что им просто не предполагалось даже. Бешеный заградительный огонь открыла австрийская артиллерия, точно заранее ей была известна минута штурма; началась жестокая трескотня бесчисленных пулеметов. И, что всего неожиданней вышло, он заметил своих солдат не только падавших кучами сколо разорванной проволоки вражеских окопов, но еще и таких, которые вертелись пылающие, как факелы.

— Огнеметы! — догадался он. — Огнеметы!.. Неужели успели доставить?!

Да, их успели доставить, эту дьявольскую выдумку немцев, принесшую много потерь русским полкам в апреле, на Западном фронте, в боях у озера Нарочь. Для отражения штурма мадьяры выступили во всеоружии. Может быть, канонада предыдущего дня и уничтожила многие пулеметные гнезда, но или их было чрезвычайно много, или на место выбывших появились за ночь новые пулеметы из резерва: только и противострелковой и заградительный огонь оказался необычной силы.

Можно было рассмотреть в бинокль, как выскакивали на бруствер своих окопов неприятельские стрелки и расстреливали из винтовок залегших у проволоки солдат обоих полков. Пришлось отдать приказ открыть самую частую стрельбу по этим проклятым оксам, чтобы хотя обеспечить этим отступление в свои окопы тем, кто еще в состоянии был бежать оттуда назад, иначе можно было потерять оба батальона в весьма короткий срок.

И стрельбу подняли сразу из всех орудий, и остатки батальонов отползли к своим окопам, благо не так далеко это было.

Гильчевский приказал немедленно произвести подсчет потерь, и когда узнал, что около восьмисот человек погибло за десять — пятнадцать минут, схватился за голову. Установить точно, сколько именно было заживо сожженных огнеметами, не удалось: донесли, что несколько десятков человек.

Этот новый вид смерти бойцов на фронте особенно волновал старого командира дивизии. Бросать в атаку очередные батальоны своих ударных полков при такой налаженной обороне неприятельских позиций он не считал возможным. Он телеграфировал в штаб корпуса о своей неудаче.

Протазанов, но Гильчевский, пробормотав: «Дай бог, конечно, дай бог нашему теляти волка поймати», разошелся вновь, и Протазанов убедился вновь в том, что только опрос пленных может ввести его начальника в потерянное им равновесие, хотя бы одним только краем.

А между тем, когда совершенно упавший и в своем собственном мнении и в том мнении о своей дивизии, какое он себе составил, Гильчевский возвратился, как привычно, верхом в колонию Новины, он заметил, — не мог не заметить, — что к северу от его позиции шел бой. Видны были высоко вздымавшиеся, как смерчи на море, столбы дыма и земли от разрывов тяжелых снарядов; эти снаряды были русские, 8 корпуса, в который входили кадровые дивизии — 14-я и 15-я, с овечьими боевой славой полками: Волынским, Минским, Подольским, Житомирским — в первой и Модлинским, Прагским, Люблинским, Замосцким — во второй. Эти полки тоже почти целиком состояли из новых уже людей, но положение обязывает: вливаясь, точно новое вино в старые бочки, новые люди спустя короткое время уже говорили о себе с гордостью: «Мы, волыньцы», или «Мы, минцы!», «Мы, модлинцы!..» Боевые традиции полков впитывались в них даже и независимо от усилий небольшой кучки кадровиков: они перерабатывались день ото дня сами тем неисповедимым путем, о котором хорошо сказано народом: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Незаметно для самих себя они впитывали в старых полках и выправку, и выдержку, и сметливость, и стойкость: это был тот воздух, которым они дышали.

И первая атака этих старых полков с новыми людьми тоже не увенчалась успехом, но они ее повторили и уже в десять часов прочно заняли первую линию австрийских окопов на участке от фольварка Носовичи до деревни Корыто, откуда был выход на широкое Луцкое шоссе.

Правда, этот участок фронта был все-таки легче для атаки и артиллерии и пехоты, чем участок 101 дивизии: здесь не было высот, и вторая и даже третья линия укрепления противника отлично просматривалась и простреливалась, — не нужно было прибегать к помощи аэропланов и змейковых аэростатов, чтобы корректировать стрельбу.

Но если бы поднялся на аэроплане Гильчевский, он

увидел бы дальше, севернее, те же могучие разрывы тяжелых снарядов русских батарей, дающие высокие смерчевые столбы дыма и пыли: это вели упорный бой с противником тоже боевые и овейные слабой полки двух стрелковых дивизий 40 корпуса — второй и четвертой. Полки эти не имели названий, — только номера: с 5 по 8 — во 2 дивизии и с 13 по 16 — 4-й, но и под этими номерами они были известны и всей армии, и России, и ее врагам.

В это утро 2 стрелковая дивизия и 15 полк «железной» 4-й взяли штурмом две линии окопов на всем своем участке от фольварка Носовичи и дальше к северу до деревни Дерно. Отсюда шоссе на Луцк было еще ближе, чем от участка 8 корпуса.

Наконец, еще севернее не переставая гремел бой 39 корпуса: две молодые дивизии из бывших ополченских дружин, — 102-я и 125-я — пробивались тут непосредственно на Луцкое шоссе, которое перекрещивалось на их участке с железной дорогой на Ковель.

В полдень пробита была брешь между двумя деревнями — Ставок и Хромяково. Брешь эта хотя была и не так широка, зато пришлось по соседству с деревней Дерно, занятой стрелками, под фланговым огнем которых австрийцы по всем признакам дожидались только наступления темноты, чтобы бросить и третью линию своих укреплений и откатиться, насколько было можно, на запад.

Брусилов поднялся в этот день раньше обычного.

Он привык за долгие двадцать два месяца, как командарм, сурово размеренно распределять свое время, — иначе нельзя было бы и справиться со всей работой, которую приходилось нести. Но неудачи предыдущего дня слишком потрясли его, хотя внешне он старался держаться спокойно и даже уверять своего начальника штаба, что все идет именно так, как им и ожидалось.

Нельзя было надеяться, конечно, на то, что ночь внесет какие-либо перемены к лучшему в обстановку, сложившуюся днем. Нельзя было ждать этого и от раннего утра, но когда человеку хочется, чтобы события, в которые втянуты миллионы людей, развивались как можно быстрее, он, совершенно даже против воли, механически начинает, например, переставлять мебель в своей квартире или перекладывать книги на своем письменном столе.

Главнокомандующий фронтом Брусилов жил интересами всего четырехсотверстного фронта в целом, а не отдельной какой-либо армии на нем, не отдельного корпуса пехотного или конного, не отдельной дивизии. Это ощущение биения живого пульса целого фронта в нем самом было ново. Хотел или не хотел он этого, но он уже как будто не вмещался в прежнем своем «я», он расширялся, рос по мере впитыванья в себя интересов, нужд, сил и надежд других армий, кроме своей бывшей восьмой.

Этот стремительный процесс роста не мог обойтись конечно, без слишком большого напряжения всех способностей главнокомандующего, а теперь наступал решительный день, — день отчета, день экзамена, который сдавал его фронт, который сдавала через посредство его фронта вся страна, который сдавал в конечном итоге он сам, напросившийся в ставку 1 апреля на этот экзамен. Ведь если бы он послушался тогда Куропаткина и так решительно выявленное желание привести свой фронт в наступление взял бы обратно, не гремела бы теперь артиллерия, по соотношению тяжелых орудий гораздо более слабая, чем австрийская, и не домогалась бы прорвать фронт противника, несравненно более крепкий, чем Юго-Западный.

Но дело уж было начато, артиллерия гремела. День 22 мая показал, что гремела она как будто впустую: она не испугала врага, не нанесла ему ощутительных потерь, а если и сделала проходы в колючей проволоке, то — как знать? — может быть, эти-то самые проходы, образуя собою поневоле узкие дефиле, простреливаемые и справа и слева фланкирующим огнем, станут местами гибели десятков тысяч беззаветно храбрых людей без всякой пользы для дела прорыва? Так было у Эверта в марте, и, может быть, он, Брусилов, оказался просто чересчур легкомысленно-самонадеянным, несмотря на свой почтенный уже возраст?

В сотый раз он задавал себе этот последний вопрос и накануне и в этот день, 23 мая утром. За окнами дома, в котором помещался штаб, был разбит небольшой палисадник, и в нем цвела теперь пышными кистями ранняя персидская розовая сирень.

Запах сирени напоминал ему безмятежную жизнь с женою в Виннице, городе садов; однако это воспоминание

даже, милое его сердцу, поневоле должно было пронестись мимолетно, — он не смел остановиться на нем. Жена выражала в письмах не раз уже желание приехать к нему в штаб-квартиру, но, как ни хотелось ему этого тоже, он всеми силами давил в себе это и ей писал, что не может позволить себе такой радости.

Он знал, что в девять часов Каледин назначил штурм всеми своими ударными частями, — об этом была получена его зашифрованная телеграмма в полночь, — и вот стрелки стенных часов, как и стрелки карманных его старых золотых часов, заводившихся ключиком, показывают ровно девять: штурм!

Кипа бумаг, поднесенных ему на подпись, не давала ему возможности сосредоточиться на мысли, что там сейчас, на фронте одной только восьмой армии. Бумаги были все деловые, касались вопросов снабжения сотен тысяч человек, бывших под его начальством. Сколько из этих сотен тысяч будет «снято с довольствия» сегодня к вечеру?.. Бумаги подписывались им и откладывались в сторону, снова вырастая в толстую кипу. Он не читал их, конечно, это за него делали другие.

Первой телеграммой с фронта, остановившей его внимание, была телеграмма комжора Федотова о взятии в плен двумя ротами 402 полка трехсот мадьяр.

— Ага! Вот! — радостно сказал Брусилов. — Это — сто первая дивизия, — как же! Там начальник дивизии Гильчевский, — отличный генерал, прекрасный начальник дивизии!.. Отличное начало! Спасибо ему!

О том, что штурм был отбит, что счень много было потерь у Гильчевского, Федотов не сообщал, но это пока и не было нужно. Нужно было другое, и оно приходило с других участков фронта. Радость за радостью: 8 корпус, 40 корпус, даже 39 ополченский корпус — везде успех!

Брусилов опасался радоваться этим успехам в полную меру: он знал, что командиры имели совершенно непреодолимую склонность раздувать даже и незначительные удачи своих частей до размеров больших и, напротив, большие неудачи сводить к незначительным. Он требовал и теперь подтверждения успехов, подробностей, он не отходил от своей карты фронта, чтобы взвешивать все воз-

возможности своих войск к дальнейшим действиям и учитывать возможности врага к их отражению.

Но, когда вечером пришли одна за другой несколько телеграмм командарма восьмой армии, что захвачены все три линии окопов противника на самом главном направлении, на Луцком, куда и был направлен основной удар, так тщательно обдуманый еще задолго до совещания 1 апреля в ставке, Брусилов позволил себе наконец довольную улыбку охотника, выстрел которого попал в цель.

В этот вечер было составлено им и послано в ставку на имя Алексеева подробное донесение о действиях его бывшей армии, так же как и о действиях других армий его фронта. В этом донесении заключительной была фраза: «Фронт противника на большом участке, на Луцком направлении, прорван».



« « ПЕРЕД НОВЫМ ШТУРМОМ » »



1

ри опросе пленных в штаб-квартире Гильчевский все время сидел сам, иногда задавая и вопросы: он не забыл еще немецкого языка, который когда-то штудировал в академии.

Его занимало главным образом то, какое впечатление в окопах противника произвела пятнадцатиминутная пауза в артиллерийской стрельбе перед атакой. Эту паузу ввел он сам, думая, что так будет лучше, но вышло как будто хуже, потому что две роты приняли ее за сигнал к штурму, выскочили не во-время и тем испортили все дело.

Пленные были настроены враждебно, показания их были отрывочны, однако несколько человек из них проговорились о том, что в передовых окопах их и в ходах сообщения было много потерь от русских гранат, когда обстрел неожиданно начался снова в восемь часов сорок пять минут.

— Ага! Много потерь! — воспрянул духом Гильчевский и переглянулся с Протазановым.

Представить это было можно так: из глубоких блиндажей и «лисых нор» выбегали солдаты противника для отражения штурмующих штыками и заполнили, конечно,

и ходы сообщения и передовые, более мелкие окопы, когда их накрыл неожиданно для них новый град русских снарядов.

Установив, что благодаря его выдумке потери мадьяр, считая с пленными, никак не могли быть меньше, чем потери его дивизии, Гильчевский несколько успокоился. У него возник тут же и новый план артиллерийской атаки, и он поделился им после опроса пленных со своим начальником штаба.

— Вот что мы сделаем: не будем совсем прекращать огня, когда будет назначен нам новый штурм. Люди пусть бегут на штурм по проходам, а легкие орудия в это самое время пусть дупят по окопам и ходам сообщения, чтобы...

Он имел привычку иногда не договаривать того, что понятно без слов: он любил, когда за него договаривали подчиненные, особенно же солдаты; ему казалось, что таким приемом он приучает их думать.

— Чтобы перенести огонь на вторую линию, когда наши добегут до первой, — договорил Протазанов. — Это было бы хорошо, если бы артиллерия с пехотой спелась как следует, чтобы не накрыть по сплошности своих же.

— Как же так накрыть своих? Что вы это такое? Ведь не ночной же назначат нам штурм? — взмахнул обеими руками, как крыльями, Гильчевский.

— Хотя бы и днем, но видимость может быть плохая. Константин Лукич, — например, дождь... Или плохо будет видно из-за дыма.

— Ничего, мы выберем время, вот что мы сделаем. Теперь уж не командарм и не комкор даже, а я сам назначу время для штурма. — вот что-с. Я отвечаю за действия своей дивизии, я и назначу... Раз у меня ополченцы, то пусть в мой монастырь с кадровым уставом не ходят. У меня свой устав... А все-таки, почему же это выскочили не во-время две роты, — вот вопрос? — вспомнил вдруг Гильчевский. — Надо бы вызвать к прямому проводу полковника Кюна.

С Кюном по этому поводу еще не говорили, — совсем не до того было. У начальника конвоя при пленных, заряд-прапорщика, была сопроводительная бумажка и донесение, подписанные Кюном; было потом и новое донесение его же о неудачном штурме в девять часов; но лично с

ним еще не говорил Гильчевский, и вот Протазанов вызвал к телефону Кюна.

Оказалось, что Кюн заболел внезапно, и вместо него говорил полковой адъютант Антонов.

— Чем заболел? — удивленно спросил Протазанов.

Прямого ответа он не получил. — Антонов передавал, что командир полка лежит и плохо стоит на ногах, если пытается встать, поэтому ложится тут же снова.

— Что такое с ним? — удивился и Гильчевский. — Вертячка, как у овец от глистов в голове бывает, или, может быть, живот схватило? Спросите определенно.

Однако и на более определенный вопрос Протазанова Антонов отвечал так же неопределенно и путанно; приказание же двум погибшим в бою командирам рот о начале штурма ровно в девять часов было, по его словам, утром передано им, как и всем прочим.

— Ну, на мертвых можно валить что угодно, у них не добьешься правды — сказал Гильчевский Протазанову, — значит, я буду иметь в виду, что полковник Кюн подозрителен по холере... или по чуме или по сибирской язве, почему и руководство штурмом передать командиру четвертого полка, Николаеву, — вот как мы сделаем... И теперь пусть оба полка полностью идут на штурм, — была не была, — псвидалася... А в резерве остается пусть третий полк. А четвертым пусть подавится комкор Федотов... В такой момент полк у меня взял, а? Только бумажонки строчит в тридцати верстах, а порох он едва ли когда нюхал!

Зная, что по поводу комкора Гильчевский может наговорить много, Протазанов постарался вставить как можно мягко:

— У нас есть еще учебные команды, Константин Лукич.

— А как же нет? Конечно же, есть полторы тысячи человек, — обрадованно, точно сам не знал этого раньше, подхватил Гильчевский. — Вот и их тоже, их тоже в резерв... Конная сотня еще имеется, — и конную сотню в резерв: пустим ее за отступающим противником вдогонку... если он, проклятый, вздумает стступать перед ополченцами.

Все-таки он не мог отделаться от мысли, что штурм этого дня провалился потому только, что ополченцы, во

скольких водах их ни мой, настоящего военного обличить не будут, и ожидать от них чего-нибудь путного — просто глупо.

Горькие мысли эти несколько раз вкладывал он в течение дня в гораздо более резкие и злые слова. Впрочем и о себе самом он тоже сказал как-то между делом:

— Дал маху!.. Понадеялся на какой-то кислый сброд, что ни ступить, ни молвить не умеет. На что же я надеялся, скажите. — на счастливый случай? Только Ивандурак на счастливый случай надеется, и то в дурацкой сказке.

— Хотя бы узнать, как в четырнадцатой дивизии штурм прошел, грому там было пропасть, — сказал Протазанов.

— Авось завтра утром узнаем, — отозвался Гильчевский хмуро.

Но узнать об этом удалось ему еще задолго до утра, когда все распоряжения на завтрашний день были им переданы в полки и команды.

Он уже укладывался спать, когда услышал с надворья громкий круглый голос:

— Генерал Гильчевский здесь квартирует?

Потом кто-то звучно спрыгнул с коня.

— Вот тебе на! Кто же это там такое? — прозвучало недовольно Гильчевский, натянул снова на плечи то, что было сброшенные подтяжки и взял со стула распланный на его спинке староватый уже свой диагональный френч.

А за дверью тот же круглый голос:

— Доложи его превосходительству, что полковник Ольхин, командир шестого Финляндского стрелкового полка.

— Ваше превосходительство, полковник Ольхин! — явился и сказал отчетливо, точно подстегнутый бодрим голосом приехавшего вестовой Архипушкин, которого Гильчевский обыкновенно звал, переставляя ударение Архипушкин.

— Проси же, что же ты! — крикнул Гильчевский, тягивая френч.

И вот в комнате, служившей начальнику дивизии и кабинетом и спальней, появился молодой еще для коман

полка генштабист, крутоплечий здоровяк, и откомендовался по уставу:

— Ваше превосходительство, честь имею представиться, назначенный в ваше распоряжение со своим шестым Финляндским стрелковым полком, генерального штаба полковник Ольхин.

— Как так в мое распоряжение?— подавая ему руку, спросил Гильчевский.

— Точно так же, ваше превосходительство, как и пятый полк той же дивизии, который идет за моим полком и часам к четырем утра, я думаю, будет на месте,— весело ответил Ольхин.

— Вся бригада в мое распоряжение? — удивился Гильчевский.

— Относительно первой бригады мне известно, что она назначена в резерв вашего корпусного командира, генерала Федотова, а уже его распоряжением будет передана в ваше распоряжение в порядке постепенности, начиная с моего полка.— тем же веселым тоном сказал Ольхин и добавил: — Поэтому, в случае надобности, располагайте и мною и моим полком, ваше превосходительство.

— Да это же. позвольте, как замечательно вышло! — обрадованно заторопился Гильчевский, усаживая за стол позднего, но очень вовремя явившегося гостя. — Архипушкин! — крикнул он весело. — Раскачай, бестия, самовар. Будем пить чаем полковника.

Он поднял, конечно, и Протазанова, и весь штаб собрался у стола послушать вести от свежего человека, кстати сказать, умевшего увлекательно передавать эти вести.

Прежде всего Ольхин осведомил всех о том, чего здесь еще не знали, — что австрийский фронт прорван двумя корпусами — 8-м и 40-м.

Все крикнули «ура», подняли рюмки, как-то неизвестно даже кем и поставленные на стол перед чаем, и выпили шустовского коньяку «четыре звездочки», вытщенного из «неприкосновенного запаса» ради исключительного случая, как шутил разошедшийся Гильчевский.

— Странно только одно.— заметил после того, как вспрыснули победу, Протазанов: — Ведь четырнадцатая дивизия рядом с нашей, а мы об ее успехах не извещены.

— У четырнадцатой успехи скромнее, у пятнадцатой большие,— сказал Ольхин,— а почему в вашей дивизии

неудача, этого, простите меня, и в штабе корпуса мне не объяснили.

— А чего же там хотели от ополченцев? — обиженно вскинулся Гильчевский.

— Да ведь ополченцы-то были — ваша дивизия, — улыбаясь, возразил Ольхин.

— Так что же из того, что моя?

— От вас привыкли уже ожидать чуть что не чудес, ваше превосходительство. Я ведь помню, был как раз тогда в ставке, — как вы там всех изумили, что без моста через Вислу дивизию свою, кажется, восемьдесят третью перекинули.

— Да, восемьдесят третью, только та была второочередная, а не ополченская.

— Хотя бы даже и кадровая, хотя бы даже и наша — финляндских стрелков дивизия, — но чтобы ее под огнем противника перебросить через реку в полверсты шириною да еще и австро-германцев с того берега выбить, это, знаете ли, до такой степени поразило тогда нас всех, что мы там аплодировали заочно, как могли бы только Варламову в Александринском театре аплодировать.

Ольхин говорил вполне искренно, — он был увлечен даже воспоминанием о том, что успело полузабыться в самом Гильчевском, а это, с одной стороны, польстило старому генералу, — с другой — несколько смутило его.

— Во-первых, там запасные были, — пробормотал он, — а во-вторых, офицерский состав лучше... А то, представьте вот, один полк у меня взял тот же Федотов, полк с хорошим командиром полка Татаровым, а у меня остался полк с таким командиром, что вот он там заболел какой-то сибиркой или чумой, чортом или дьяволом и всю мне обедню испортил.

— Как же именно испортил? — полюбопытствовал Ольхин.

— Как? Не распорядился как следует, — тем и сорвал штурм. — вот как именно.

— А какой же штурм? Первый, второй, третий? — добивался ясности Ольхин.

— Ну-ну, — «второй, третий». Разумеется, первый, он же был и единственный.

— Так вы с одного штурма хотели позиции на высотах взять? — изумился Ольхин. — Да этого не то что от

ополченцев, а и от любого кадрового полка едва ли возможно было добиться. Я слышал о трех-четырех штурмах подряд, даже о пяти и шести штурмах, а об одном, — простите меня, ваше превосходительство, — только от вас слышу.

— Гм... Вы как к этому относитесь? — обратился к своему начальнику штаба Гильчевский.

→ Конечно, мы тоже могли бы попробовать, да испугались больших потерь, — сказал Протазанов.

— Потери у всех были серьезные, но ведь вопрос ставился о прорыве позиций, а не о том, чтобы как можно меньше было потерь. Какие бы ни были потери у нас, у противника они будут несравненно больше, — возразил Ольхин.

— Гм... Вот видите как? — несколько укоризненно кивнул головой Протазанову Гильчевский и добавил, обращаясь уже к Ольхину: — Так что вы полагаете, если мы завтра рискнем во-всю, то... что нас может ожидать, а?

— Успех! — не задумываясь, но очень твердо ответил Ольхин.

И все выпили еще коньяку за завтрашний успех штурма, а потом уже перешли к чаю.

2

Прапорщик Ливенцев ловил себя на том, что несколько раздвоился после получения письма Натальи Сергеевны: с одной стороны, жизнь приобретала для него почему-то большую ценность, чуть только оживала в представлении ярче эта скромная и тихая женщина, высокая с четкой походкой, с верой в лучшее будущее России, библиотекарьша из Херсона, — самый близкий, хотя и мало все-таки известный ему человек; с другой, — жизнь его уже растворялась, даже почти растворилась, в тысячах (миллионов он не представлял) других жизней около него, пусть даже ныне, далекие от войны люди и называют пренебрежительно пушечным мясом все эти жизни. Никому из них не хочется умирать, но все в его роте в его батальоне, в его полку и в другом полку рядом, — несколько тысяч людей, — очень твердо знают, что в каждый новый момент могут быть убиты или искалечены, однакоже они не бегут в ужасе куда попало от одной этой мысли: инстинкту самосохранения противостоит в них другой инстинкт —

сохранения своего жилища; миллионы же их жилищ с семьями в них — это их Родина: они — граждане Родины, пославшей их на свою защиту; в этом их ценность для них же самих, хотя бы они этого и не представляли ясно; в этом их гордость самими собой; это повышает вес каждого в собственных глазах.

В часовом пробуждается гордость, когда он охраняет полковую святыню — знамя, мимо которого никто в полку не смеет пройти, не отдав ему чести. Но что же такое знамя, как не символ Родины? На часах у Родины, на страже Родины стоит каждый солдат, как и офицер тоже. Во всякого, кто подходит к знамени с целью сорвать его с древка, часовой обязан стрелять, а когда выпустит все патроны, выставить против него штык и не смеет уходить от знамени, если даже чувствует, что он слабее врага, а стоять и биться за него должен насмерть.

Это сурово, но это красиво. Тут если и теряется жизнь, зато на высшей своей точке в экстазе борьбы за самую дорогую в жизни, за то, что ее освещает, за то, что ее подымает, за то, чем она широка...

Очень много подобных мыслей приходило в голову Ливенцева, когда он смотрел на своих солдат в окопах, ощущая письмо Натальи Сергеевны в кармане своей гимнастерки. Была какая-то неукротимая потребность поделиться своей радостью, упавшей к нему, может быть, в последний день его жизни, и в то же время желание примирить своих солдат со смертью, какая их тоже, может быть, ждет, но неизвестно было ему, где взять для этого понятные им слова и даже с чего именно начать.

И, остановив глаза на рядовом Кузьме Дьяконове, очень хозяйственного вида пожилом ополченце, всегда аккуратно выбритом, с чистой и хорошо смазанной винтовкой Ливенцев спросил его для начала:

— Ну-ка, Дьяконов, как ты думаешь, для чего человек живет на свете?

— Для чего живет? — повторил степенный Кузьма Дьяконов, человек широкий, неслабый. — Да как сказать, ваше благородие, для чего человек живет...

— Ну, да, — для чего, как полагаешь?

— Полагаю так, что как бы ему хорошо поесть, да вот еще как бы, конечно, получше ему одеться, — вот для этого он, человек, и живет.

Очень серьезное лицо было у Дьяконова Кузьмы, когда он говорил это, — заподозреть его в малейшей тени насмешки над ним Ливенцев не мог, но, пораженный таким ответом, спросил:

— А что же, по-твоему, значит «хорошо поесть»?

— Ну, известно, ваше благородие, значит, чтоб настоящая пищия была, — убежденно-спокойно сказал Дьяконов (голос у него оказался теноровый).

— Не понимаю, что это за «настоящая пища», какой смысл ты вкладываешь в эти слова, — уже начиная улыбаться, сказал Ливенцев.

— Да вот, к примеру: хоть об себе мне вам доложить, ваше благородие, — безулыбочно начал объяснять Дьяконов. — Жил я до мобилизации под Керчью, — город такой есть...

— Знаю я Керчь, — ну? Селедка там ловится.

— И селедка, и пузанок, и разная там всячина: бычки, судаки, лещи, прочие...

— Чем же это не пища? — спросил Ливенцев с любопытством, но Кузьма только головой повел.

— Какая же это пищия, ваше благородие. — искренно недоумевал он, так как для него то дело было вполне ясно.

— Что же ты там делал, под Керчью? Хозяйство у тебя там было?

— Да, как сказать вам, — было, конечно... Корову баба держала, молоко там. сливки, творогом индюшат кормила... Курей штук двадцать, кролы... Ну, опять же. огородишко там у нас, — летнее дело. — кавуны, дыни там, редиска, морковка, картофля, — все зрящее, а что касается настоящей пищи, — не-ма-а...

Подошел в это время фельдфебель Верстаков с докладом о чем-то и не дал Ливенцеву узнать у Кузьмы Дьяконова, какую же именно пищу считает он «настоящей».

А другой ополченец, Завертяев Тихон, «вредными вещами» назвал как-то в подобном разговоре с ним Ливенцева картины. Он до войны служил в богатом доме лакеем, и там его заставляли каждый день обтирать пыль с картин, развешенных на стенах, — вот из-за этой пыли картины у него и стали вредными вещами; сказать же, что это были за картины, он не мог, так как это ему, по его словам, было «совсем без надобности», — картины и кар-

тины... «А кому из гостей интерес был на них смотреть, те смотрели».

Все-таки ежедневная забота о картинах приучила Завертяева к порядку, и солдат из него вышел довольно исправный. Но было много и таких, которые и солдатами были плохими и картинами не были огорчены, так как никогда их не видели, и все слова застывали на языке Ливенцева, когда его подмывало сказать им горячо и ярко о родине, о том, какая святая возложена на них задача — защищать всею грудью родную землю.

Он думал, что его поймут если не все солдаты его роты подряд, то хотя бы младший командный состав, и, собрав взводных и отделенных унтер-офицеров в одной землянке, повел было с ними беседу о том, как приходили уж не раз завоеватели на русскую землю, но уходили с разбитыми зубами, а вот теперь такими завоевателями России хотят стать немцы. Но первый же из вызванных им на разговор взводных, бородатый и расторопный, и тем похожий на Старосилу, Мальчиков, хитровато щурясь, сказал уверенно:

— До нас, ваше благородие, немец не дойдет, — мы вятские.

Оставалось только напоминать каждому, что он обязан был делать при штурме неприятельских окопов и что может всех ожидать в этих окопах, которые гораздо глубже русских, имеют отсеки и, пожалуй, будут защищаться упорно.

— Если он, немец, будет упорен, то нам надо быть вдвойне упорней, — говорил Ливенцев. — Теперь нам хорошо, — проволоку разнесла к черту наша артиллерия, а мне в прошлом году пришлось в Галиции через проволоку лезть, и вся рота так под огнем лезла, — через проволоку, даже ножниц не было у нас, чтобы ее резать, — и однако мы перелезли и окопы взяли. А теперь что же! — Теперь благодать! Теперь у нас и гранатометчики есть, а тогда ведь не было... Теперь вся армия на немцев идет, а тогда один только наш полк почему-то послали, и то мы шли с одними винтовками... Только когда мы уж в австрийских окопах сидели, пулеметная команда к нам подоспела, артиллерия же наша где-то в болоте завязала... А почему мы скопы взяли? — Потому что шли дружно, стеной, без отсталых, вот так и теперь будем: ура, — и все на свете забудь, и помни только про австрийских

окопы, а прочесал первую линию, — гони во вторую... Главное, от товарищей не отставай, не задерживайся, ни на какую окопную австрийскую хурду-мурду не зрись, что бы там у них ни валялось... Даже и с пленными не заставляйся, — это уж я распорядюсь на месте, кому с ними идти, а не я если, — убит могу быть или тяжело ранен, — то мой заместитель, подпрапорщик Некипелов. Кстати, о ранах. Легкие раны в бою не замечаются: если только с ног не свалило, — действуй, из строя не выходи! В бою каждый человек важен, а легкую рану после сам перевяжешь, на то у всех индивидуальные пакеты имеются, а не достанешь перевязаться сам, — товарищ перевяжет...

Так и в этом роде говорил Ливенцев, стараясь казаться гораздо опытнее, чем он был на самом деле. Он несколько и не подвигивал себя, — он о себе лично не думал, только о своей роте, от которой себя отделить уже не мог и ответственность за действия которой в предстоящем бою ощущал очень остро.

Но он не отделял и своей роты от всего четвертого батальона, хотя ей приходилось вести весь батальон, так как она была в нем по счету первой. Поэтому он ревниво присматривался, насколько это можно было в окопах, и к батальонному Шангину и к командирам других трех рот.

Шангин, как показался ему вначале разболтанным, так и оставался в его представлении — разболтанным и торопыгой. По опыту он знал, что такие командиры в бою не портят дела только тогда, когда остаются сзади.

Командирами четырнадцатой и пятнадцатой роты были прапорщики, как и он, Коншин и Тригуляев, а в шестнадцатую, несколько позже их, назначен был почему-то старый отставной корнет Закопырин, не способный уже ездить верхом, однако и ходивший, по причине своей толщины, так же плохо.

— Как же вы побегите с ротой в атаку? — спросил его Ливенцев без иронии, но с неприкрытым любопытством.

— Бегать я никому не обаялся, я не беговая лошадь. — с достоинством ответил Закопырин.

— Однако ведь придется же и пробежаться до австрийских окопов, — сияясь представить этого коротенького

и совершенно заплывшего до сокрытия глаз командира роты бегущим, снова спросил Ливенцев.

Но с еще большим достоинством и даже с рокочущим хрипом в жирном голосе сказал на это Закопырин:

— Вы забываете, что я не-е прапорщик пехотный, а кор-нет.

И Ливенцев вспомнил, что он слышал от прапорщика Тригуляева, человека по натуре довольно веселого, но совершенно пустого:

— Закопырин-то наш — каков? — выражал батальонному свое порицание за то, что вы, прапорщик, командуете первой ротой в батальоне, а он, кор-нет, — последней.

При этом Тригуляев подмигивал и выделял такие сложные штуки губами, щеками и ноздреватым носом, что небольшое лицо его морщилось, как у новорожденного.

Коншин, назначенный на место Обидина, был гораздо серьезнее, но по близорукости носил пенсне, а это тоже, как и солидная толщина, совершенно лишняя вещь в бою. До войны он работал в Тамбовском губернском архиве и сотрудничал там же, в Тамбове, в «Губернских ведомостях», а эти занятия расположили его к основательности действий и непреклонности суждений.

Правда, Ливенцев сомневался в том, был ли он способен бежать впереди роты своей на штурм, но все-таки он был и не такой пожилой, и далеко не так щедро упитан дарами природы, как Закопырин. А привычка копаться в архивах привела его к тому, что он довольно хорошо сумел изучить полевой устав, выпущенный главным штабом еще до японской кампании, когда не было в военном обиходе не только аэропланов, пулеметов и колючей проволоки, но даже и трехлинейная винтовка была введена не во всех частях.



ШТУРМ

1

Утром, на рассвете, пошел вдруг сильный дождь. Солнце, поднявшись, расшвыряло тучи, но сырость в воздухе держалась и повлекла за собой стрельбу химическими снарядами по батареям на участке дивизии Гильчевского: австрийцам непременно захотелось истребить всю артиллерийскую прислугу и этим сорвать новый штурм.

К газовому обстрелу давно уже готовились и носили при себе на всякий случай противогазы. Однако знали, что это слишком сильное средство войны — палка о двух концах: на газовый обстрел заранее приказано было отвечать тоже газовыми снарядами, которых достаточно было теперь как в парках, так и на позициях. Как только раздались крики: «Химия! Газы!» и лишь только успели надеть маски, взяли за эти снаряды.

Батареи в это мглистое утро имели совершенно фантастический вид.

Разрывы австрийских снарядов вообще были красные, чем издали отличались от русских, дававших белый дым, и вот теперь, в красной, как при пожаре, мгле, на батареях метались офицеры, точно на дьявольском маскараде, — с

квадратными стеклами в белых черепахах из резины и с длинными зелеными хоботами.

Они именно метались, а не ходили от орудия к орудью. Подавать команды наводчикам, тоже смотревшим сквозь стекла масок, было нельзя, — голоса противогазы почти не пропускали, приходилось командовать каждому наводчику на ухо и от него тут же бросаться к другому. А при каждом броске кололо в легкие и почти опрокидывало навзничь от удушья. Не верилось, что противогазы рассчитаны на шесть часов, — каждому казалось, что в них невозможно выдержать и часа.

Теперь никто уже не думал о возможности смерти от осколков снарядов, — это отступило на второй план, — выпало из сознания; на первом плане было только это — встает нечем будет дышать... Обстрел тянулся больше часа, и прекратили его австрийцы: они не ожидали, что русские батареи будут им отвечать так же.

Когда часам к девяти приехал на позиции Гильчевский, он увидел на батареях лошадей, валявшихся около своих коновязей с кровавой пеной, бьющей из ноздрей и рта. с мутными глазами; некоторые из них бились еще в судорогах, другие уже издохли. Люди, снявшие противогазы были бледны, красноглазы, с угольной пылью, осевшей на губах и веках; они качались и с трудом понимали простые слова. Многих пришлось отправить в тыл, передать врачам, а между тем даже и от комкора Федотова пришел приказ о повторении штурма.

Установлена была ночью связь с 14 дивизией, и оттуда пришли ободряющие вести: две линии австрийских окопов были заняты прочно, так что если бы кажала как следует 101-я, то враги очистили бы сами и третью линию.

Хотя полку Ольхина Гильчевский приказал остаться в резерве, но сам Ольхин не усидел в Новинах, — прискакал на позиции и пробрался на наблюдательный пункт начальника дивизии.

Он был вне себя от выходки австрийцев:

— Газы вздумали пустить в дело, мерзавцы, — ого! Порядочные люди так не поступают!.. Вы знаете, что это значит, Константин Лукич?

— Догадываюсь отчасти, — ответил Гильчевский, в то же время пристально вглядываясь в глаза Ольхина. — А вы как думаете?

— Это называется: не мытьем, так катаньем, — вот что это такое! — бурно кричал Ольхин, очень темпераментный человек. — Мытьем, по-человечески, отчаялись взять, а конец свой чувят, — вот и гадят!

— Дескать, семь бед, один ответ? Да-да-да, голубчик мой, я и сам прихожу к тому же выводу... к тому же выводу...

Он присматривался в бинокль к позициям противника, чтобы найти в них новое, чего не было после вчерашнего штурма, однако это новое были только рогатки, беспорядочно набросанные в основательно проделанных проходах.

— На полчаса работы для донцов и туркестанцев, только на полчаса... — говорил он больше про себя, чем для Ольхина, Протазанова и окружавших его штабных. — Они же теперь злы на мадьяр и разнесут у них все к черту с первых же залпов. Только нужно им все-таки отдышаться и привести у себя все в порядок... Упряжи новые пригнать из парков... А мосты? А в каком состоянии наши мосты? Узнайте сейчас же, — обратился он к начальнику связи.

Заблаговременно, еще перед первым штурмом, приказал Гильчевский сделать мостки через окопы и ходы сообщения, не говоря уже о ручье Муравице; мостки имели особое назначение: по ним должны были, в случае удачи штурма, проскакать горные батареи для поддержки наступающей пехоты; если же удача будет такою, какая могла мерещиться только в пылких мечтах, то вслед за горными могли бы двинуться по этим мосткам и все вообще легкие батареи, — бить по отступающему неприятелю вдгонку.

Однако мостки, возможно, были разбиты утром, и Гильчевский встревоженно ждал сообщения об этом. Но они неожиданно оказались целы, и Гильчевский сбвел всех около себя округлевшими и проясневшими глазами и сказал Протазанову:

— Приказываю: артиллерии открыть усиленный огонь ровно в одиннадцать, а ротам повторить штурм ровно через полчаса, — в одиннадцать с половиной... Пехота чтобы не ожидала, когда огонь прекратится, так как он прекращаться не будет, а будет лупить в хвост и гриву первую линию, пока до нее не добегут наши, а когда добегут, вот тогда только по второй пусть жарят все наши батареи: это вместе с тем будет заградительный огонь, чтобы вторая линия не успела подоспеть на помощь первой. Подробные при-

казания пехоте были отданы раньше без обозначения времени штурма, — теперь, значит, только точно указать время, да чтобы не выскакивал никто раньше времени, как вчера у полковника Кюна! Кстати, надо узнать, чем он таким вчера был болен, да не болен ли и сейчас этот Кюн?

— Слушаю, ваше превосходительство, — внимательно слушавший и подтянутый, как всегда, ответил Протазанов и отошел для передачи приказа.

И было всего только десять часов, когда и пехота и артиллерия узнала о решении, принятом начальником дивизии, а начальник дивизии узнал, что командир 402 полка был вчера не то что бы болен, а всего только несколько недомогаал; в том же, что две его роты вчера выскочили на штурм раньше времени, виноваты исключительно только сами командиры этих рот, которые, к сожалению, были убиты и ответственности больше ни за какие свои проступки нести не могут.

2

Ровно в одиннадцать грянула вся артиллерия, сколько ее было в дивизии. Обе высоты — 100 и 125 — в первые же минуты окутались дымом от разрывов, однако мадьяры не захотели остаться в долгу: постепенно вступали в борьбу с гаубичными и тяжелыми батареями, громившими пулеметные гнезда, их тяжелые батареи.

Но было все-таки преимущество над 38 мадьярским, короля испанского полком, и над другими полками мадьяр, занимавшими высоты, у полков дивизии Гильчевского, русская легкая артиллерия оказалась многочисленной, хотя тяжелые батареи противника и были сильнее.

Пальба все учащалась, — ее можно уже было назвать ураганной. Такой силы огня не разрешал Бруслов, боясь износа орудий, но на полчаса подготовки штурма, при условии чередования батарей, ее разрешил лишь Гильчевский.

Земля гудела и дрожала, — это все замечали в окопах. Перепуганные полевые мыши, ютившиеся между бревнами потолков, падали вниз на головы солдат, не считая уж больше своего убежища прочным; вместе с ними сыпались и мелкие комья сырой земли.

Однако держаться можно было только в глубоких окопах, — ходы сообщения теперь не спасали ни от осколков,

ни от шрапнелей. Представляя то, что творилось на позициях своих и противника, прапорщик Ливенцев вспоминал прошлогоднюю атаку свей роты на высоту 370 под прикрытием густого тумана, когда не было ни такой ошеломляющей пальбы, ни таких огромных сил, пущенных в действие с обеих сторон. Случайно тогда ждала его удача, но что ждет его теперь?

О смерти почему-то не думалось. Живого представления о ней, быть может, совсем уже близкой, не принес ему и Обидин, назначенный Гильчевским в третий батальон, в одиннадцатую роту, к удовольствию Капитановой. До этого дня Ливенцев и Обидин виделись редко и мельком и почти не говорили друг с другом, теперь Обидин был торжественно-растревожен; он сказал проникновенно:

— Итак, значит, оба наши батальона через час пойдут на убой! Ну, что ж, — раньше ли, позже ли, все равно... Николай Иванович, я верю, что вы останетесь живы и невредимы, а меня убьют... убьют, это я чувствую!

— Как же можно это чувствовать наперед, — что вы! — пытался успокоить его Ливенцев, напрасно усиливаясь в это время припомнить его имя и отчество.

— Нет, нет, не говорите, — волновался Обидин, имеющий действительно какой-то обреченный вид.

— Сны, что ли, вы нехорошие видите? В этом нет ничего вещего: при такой обстановке всякий подобные сны может видеть.

— И сны, и всё... Нет, я не уцелею, нет!.. Николай Иванович, — это, может, вам покажется тривиальным, что я скажу, но вы не смотрите так... Вообще, я — не герой, я — человек слабый... У меня есть невеста, Николай Иванович, — вот ее адрес (он сунул в руку Ливенцева бумажку). Сообщите ей, что меня убили, хотя... хотя это, может быть, и жестоко с моей стороны, но я так смотрю на это: пусть лучше она узнает, чем будет оставаться в неведении, считать меня живым, когда я уж буду гнить в земле... если только меня похоронят, а не бросят там, где убьют меня...

Ливенцев очень живо представил при этих словах внимательные глаза Натальи Сергеевны и обещал, конечно, написать невесте Обидина, но тот следил в это время ревливо за свей бумажкой и сказал по-ребячески просительно:

— Спрячьте, спрячьте, пожалуйста, Николай Иванович, а то вдруг потеряете, и как же тогда?

— А почему же вы не допускаете, что меня убьют, может быть, гораздо раньше, чем вас? — спросил, нерольно улыбнувшись при этом и пряча бумажку в карман шаровар, Ливенцев.

— Убежден в этом! — уверенно ответил Обидин. — Вы рождены под счастливой звездой, как принято говорить...

— Или в сорочке, как тоже принято говорить? Впрочем, есть еще такие, что и в талисманы верят: недалеко ходить, — корнет Закопырин верит и что-то такое на шею носит. Блажен, кто держится за тетенькин хвостик какой-нибудь ерунды: дуракам иногда действительно непостижимо везет! — насмешливо говорил Ливенцев.

Обидин смотрел на него проникновенно и вдруг передернул губами, как будто стремясь усмехнуться, и не то что бы сказал, а как-то выдохнул:

— Хватаюсь, как утопающий, за то, что вы мне бросаете: ведь я-то дурак, конечно, в ваших глазах, а? Так что, может быть, и мне повезет сегодня быть только раненым, а? Пусть даже оторвет хотя бы ногу... или даже руку. — я согласен...

И снова, как когда-то раньше, охватило Ливенцева при этих жалких словах чувство брезгливости к тому, с кем вместе, в одном купе вагона, ехал он в марте, два месяца назад, сюда, на фронт; поэтому он сказал теперь уже без улыбочно, даже хмуро:

— Был такой страшный для нас день во время русско-японской войны, когда взорвался «Петропавловск» и адмирал Макаров, и художник Верещагин, и множество дорогих людей погибло, а Кирилл Владимирович, великий князь, один из сотни ему подобных и нам ненужных и для нас вредных, выплыл каким-то образом из пучины наверх, и его подобрали, и он жив до сих пор, и, говорят, торчит зачем-то в ставке... Помнится, старый боевой генерал Драгомиров отозвался на это тогда народной поговоркой, не то чтобы великосветской, однако меткой: «Дерьмо плавает!» Так что и с вами вполне может случиться то же самое, что и с вышепомянутым великим князем.

Обидин не мог не понять колкости Ливенцева, но счел за лучшее не показывать, что понял, пробормотал: «Да, вот видите, повезло же ему. может быть, мне тоже...» и простился, а Ливенцеву было не до того, чтобы думать над Обидиным: у него под началом было около двухсот чело-

век, за многих из которых не мог поручиться он, что они не чувствуют себя теперь так же, как Обидин.

Машинально он вынул бумажку и прочитал на ней: «Г. Касимов, Рязанской губ. Верхняя ул., собственный дом, Вере Андреевне Покотиловой». Он не слышал раньше от Обидина, из каких тот мест, но теперь, хотя то был адрес его невесты, а не его самого, зачислил его тоже в касимовцы. Почерк у него оказался странный какой-то, как у малограмотных людей, что Ливенцев объяснил, впрочем, отчасти его волнением, отчасти плохо очиненным химическим карандашом.

Несколько раз за время канонады смотрел Ливенцев на свои часы, и когда наконец стрелки подошли к половине двенадцатого, он крикнул Некипелову:

— Штурм!

Некипелов снял фуражку и перекрестился. Считая, что это не плохо в такой момент, Ливенцев сделал то же, а вслед за ним, без всякой с его стороны команды, снимали фуражки и крестились солдаты.

Некипелов не зря получил подпрапорщика: он имел георгия всех четырех степеней. Как-то, разговорившись с ним, Ливенцев узнал, что у него в Сибири есть сестра, которая ходит на медведей с рогатиной и с ножом, и она недавно писала ему, что имеет на своем счету уже двенадцать медведей.

— Какова же она из себя? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Сказать, чтобы была из красивых собою, нельзя, — так она, вроде меня, ну зато она и ростом вышла с меня и силой ее бог не обидел, — объяснил ему Некипелов. — А на медведей это она приучилась с отцом ходить, я уж в это время на службе был... Ну, раз они такого громадину из берлоги подняли, что и сами не рады были... Этот мишка отца тогда повредил, мог бы и совсем задрать, если б не сестра Дуня: она к нему кинулась с ножом, как он стоймя стоял, да снизу вверх ему по брюху — тррр! А, конечно же, нож сама точила, — как бритва он был, — вот почему громадина этот повалился, а то бы конец отцу. Так что теперь уж он дома сидит, одна Дуня ходит.

— Да ведь рогатину медведь сломать может или как? — захотел уяснить это Ливенцев.

— Обязательно сломает, — в этом и дело, — невозмутимо сказал Некипелов.

— Ну вот, допустим, сломал, — как же потом?

— А потом очень просто: она подскочит и своим этим ножом его снизу вверх по брюху, — тррр! — и медведь стал ее, остается сй только драть с него шкуру да скорока его положить под шкуру на санки да домой все это везть, — и все дело.

Особенно живписно у Некипелова выходило это «тррр», — звук, которого, может быть, невозможно было и слышать даже сестре его Дуне во время ее богатырского подвига в одиночной борьбе с сильным зверем в глухой зимней тайге. И, когда бы потом ни обращался Ливенцев к Некипелову, всегда и неизменно вспоминалось ему это «тррр».

Теперь, во время сокрушающей все там наверху канонады, отдающейся во всем теле не как треск, а как совершенно подавляющий грохот, не смолкающий ни на миг, мирной идиллией могла бы показаться схватка великорослой Дуни с хозяином тайги; но зато в той схватке, которая предстояла вот-вот, можно было положиться на брата сибирской медвежатницы.

Правда, четвертый батальон назначен был идти по порядку, после третьего, но, во-первых, тринадцатая рота должна была показать пример всему батальону, а, во-вторых, третий батальон с двумя Капитановыми во главе его и с такими ротными командирами, как Обидин, Ливенцев не считал надежным. Ему представлялось, что этот батальон непременно испортит дело двух первых и не кому-либо другому, а именно ему, Ливенцеву, придется спасти положение какою-то мгновенной догадкой, каким-то «тррр», без которого все дело может погибнуть.

Батареи не прекращали пальбы, и трудно было судить в окпе о том, что делалось наверху, зато это видел взволнованно следивший за всем со своего наблюдательного пункта Гильчевский.

Слишком смело выдвинутый вперед, — всего на семь-восемь шагов от окопов, — этот наблюдательный пункт уцелел от артиллерийского обстрела, но пули залетали сюда и звучно

шлепались в бруствер, так что стоять здесь было совсем не безопасно.

Однако ни Ольхин, ни Протазанов, ни тем более сам Гильчевский, — никто из них не мог удержаться от соблазна следить за тем, как выбежали из своих окопов первые роты обоих ударных полков, как очень быстро пробежали они по расчищенным снарядами проходам, как задерживались они то здесь, то там на брустверах мадьярских окопов, но потом прыгали вниз и исчезали, а за ними следом бежали, как будто даже еще быстрее и уверенней, вторые роты, потом третьи...

— Пошло дело, пошло дело! — кричал возбужденно Ольхин.

— Подождите хвалить, — не сглазьте! — останавливал его Протазанов.

— Нет, уж — теперь не сглазишь! Теперь уж взяли их за жабры! — не унимался Ольхин.

Гильчевского ободряло это, что командир полка чужой дивизии, — притом старой кадровой, стрелковой и академик к тому же, — так близко принимает к сердцу интересы его дивизии, ополченской, к которой принято было в кадровых частях относиться не иначе, как только насмешливо; но он, как и его начальник штаба, все еще не свеял с себя горечи вчерашней неудачи, поэтому он предостерегающе поднимал в сторону Ольхина палец и бормотал:

— Цыплят по осени считают... по осени... по осени...

Глухо из-под земли начали доноситься со второй линии неприятельских окопов взрывы.

— Ага! Наши гранатометчики, наши работают! — радостно закричал Ольхин.

— По-чем вы знаете, а? По-чем вы знаете, что наши, а не ихние? — пробовал даже возмутиться этой преждевременной радостью Гильчевский и не мог: ему тоже казалось, что так рваться могут только русские гранаты!

Одна за другой бежали в проходы и уже без задержки прыгивали в глубокие окопы мадьяр, как в свои, роты вторых батальонов. Вот на высоте 125 появились кучки австрийцев с пулеметами, однако не успели пристроиться, чтобы обстрелять штурмующих, как были обстреляны сами снарядами гаубичной батареи и разбежались, бросив пулеметы и несколько убитых возле них.

— Так их, та-ак! Так-так-так, — молодцы! — кричал те-

перь уже сам Гильчевский по адресу батарейцев.— Крой их, вонючих, кро-ой!

«Вонючими» стали у него австрийцы только сегодня, когда вздумали взяться за удушливые газы: раньше Гильчевский отдавал дань уважения своим противникам за их благоустроенные деревни, в которых улицы были щедро посыпаны гравием, за то, что вместо наших грунтовых дорог, непроезжих осенью и весной, у них везде шоссе. как везде линии телеграфных и телефонных столбов и повсеместны указатели, благодаря которым безошибочно можно было двигаться в любую сторону, не прибегая к опросам местного населения, не всегда ведь толкового, а иногда даже и сознательно долго скребущего в затылке прежде чем ответить что-нибудь такое, что совершенно сбивало с толку.

Враг с сегодняшнего утра стал в его глазах подлым, и чувствуя к нему личную озлобленность, Гильчевский понял наконец, что та же озлобленность теперь у всех от мала до велика в его дивизии и что поэтому неуспеха быть уже не может, как вчера, а непременно должен быть и будет успех.

Движение рот, одна за другой идущих на штурм, было исключительно дружным, и самое дело штурма чем дальше, тем быстрее текло. Вот уже на той вершущке высоты 125 появились, взамен еще недавно там бывших австрийцев, кучки бойцов 401 полка; вот они осматривают и забирают с собою брошенные противником пулеметы; вот они, не мешкая ни минуты, переваливают через гребень к третьей линии укреплений.

— Смотрите, — пленные, пленные! Пленных ведут! — кричит раскрасневшийся от радостного волнения Ольхин, и Гильчевский видит — действительно, группа австрийцев идет под конвоем, а навстречу этой группе бегут и потом проваливаются в окопы и ходы сообщения, кажется, уже четвертого батальона какого-то полка роты... Какого именно, — 401 или 402, — трудно уж и следить стало от влаги, завлакивающей старые глаза.

Вот на высоте 100 свои, — значит, и она взята, а пленные австрийцы, группа за группой, идут сюда безостановочно, — два потока движутся: свои — широкий, туда, и враги — узкий, сюда, свои вытесняют врагов, свои занимают их окопы, свои бегут и бегут вперед молодцами, как в надо...

— Как думаете, больше уж, пожалуй, их будет, чем вчера? — кивает на пленных Протазанову Гильчевский.

— Куда там вчера! Гораздо больше! Победа, Константин Лукич! — кричит Протазанов.

— Победа, победа, — ура! — подхватывает Ольхин.

Оба они кричат потому, что возбуждены, но артиллерия как своя, так и вражеская уже умолкла, а винтовочные выстрелы и короткие очереди пулеметов доносятся теперь уже издалека, с того склона высот, откуда все подходят, одна крупнее другой, новые и новые кучи пленных.

— Ого, ого! Поздравляю! — кидается Ольхин к Гильчевскому.

Тот обнимает его, стряхивая непрошеную слезу на его мощное плечо, и говорит вдруг торопливо-начальственно:

— Поезжайте же за своим полком, — придвиньте его сюда! Сейчас я пушу в наступление свой последний резерв: куй железо, пока горячо!

— Слушаю, ваше превосходительство! Через три четверти часа тут будет мой полк! — говорит Ольхин, уходя поспешно.

А на наблюдательный пункт начальника дивизии сходятся теперь уже отдыхающие командиры тяжелых батарей, чтобы тоже поздравить с победой, а горные батареи уже спускаются с позиции, чтобы мчаться вперед через заготовленные заранее мостки над ходами сообщения и палить по отступающему неприятелю вдогонку.

4

Когда Шангин дал знать Ливенцеву, что пришло время ему передвигать свою роту в передовые окопы, чтобы оттуда бросить ее на штурм, Ливенцев не представлял еще, что ждет его солдат там, наверху, где перестала уже греметь канонада. Он не знал и того, что было уже известно Гильчевскому и его штабу; он знал только одно и знал твердо, что ему самому придется бежать впереди роты, что бы там ни было, впереди: пулеметы, огнеметы, минометы или только те же самые австрийские винтовки, какие были и в руках его бойцов. К этому он уже приготовился. По опыту он знал, что, стоит только ему начать бежать с криком «ура», непременно найдется несколько человек из молодых солдат, которые его обгонят, и тогда ему, в свою оче-

редь, надо будет догонять их, чтобы руководить рукопашным боем. Так как ум у него был насмешливый, то про себя он добавлял, думая об этом: «Необходимо в такие моменты, чтобы физиономия была наводящая ужас на неприятеля и возбуждающая невольное уважение к тебе у подчиненных. Почему-то бывает во время штурма именно так, что зверские лица точно вынимаются ради этого из бумажных мешков и приклеиваются моментально поверх обычных лиц; добродушие же исчезает даже из самых кротких в мире глаз, что, конечно, само собою понятно: откуда и взяться добродушию, когда люди бегут навстречу своей смерти и с чужою смертью, крепко, изо всех сил зажатой в руках?»

Он как бы раздвоился в эти моменты перед действием, вместо того чтобы быть собранным, но это была только старая привычка его наблюдать за собою со стороны. И когда он беспокойно думал о том, как ему надо сделать, чтобы не потерять руководства ротой там, в австрийских окопах, где в темноте и тесноте рассыпаются его солдаты, — кто-то другой в нем как будто недоуменно пожимал плечами перед такою брешней заботой.

— Рота, вперед! — скомадзовал Ливенцев, и рота пошла и сразу ясно стало, что не о чем больше думать, что дальше все случится само собою, только бы вырваться из своих окопов и увидеть чужие, теперь, впрочем, уже занятые своими или ставшие просто проходным двором: предвидеть заранее, что может встретиться роте там, наверху, все равно было нельзя.

Рота шла гуськом, змейкой вытягиваясь по ходам сообщения поспешно и молчаливо. Но чем ближе подходила к передовым окопам, тем оживленнее становились в ней все: «Победа!.. Бегут венгерцы! Сдаются в плен!..» — это слышали на ходу чаще и чаще от встречных раненых и вот начали выбираться наконец из своих окопов наружу, и первыми Ливенцев с Некипеловым: нужно было осмотреться, куда и как вести роту.

В несколько коротких, но ярких моментов Ливенцев вобрал в себя: тела убитых впереди, в проходе, разорванная проволока задралась кверху, блестит; пара сапог торчит из воронки, венгерские окопы совсем недалеко, — добежать можно в две-три минуты; бруствер их — рыжий, на нем местами тела вповалку; выше — еще линия окопов, блестит

задранная проволока, валяются убитые, но их больше: не попали ли под фланговый пулеметный огонь с соседней высоты 125?..

— Наши уж просмолили дальше! — говорит Некипелов и кричит солдатам: — Скорей, скорей, вы там! Какого чорта возитесь!

Ливенцев не знает, как лучше сделать: дожидаться ли, когда выберутся из окопов наружу все в его роте, или ждать не стоит, а бежать с теми, кто уже вылез, оставив других на Некипелова? И тут же решает: «Выиграешь в скорости, потеряешь в силе, — нельзя... А главное, потеряешь руководство ротой...»

Он знает, что сзади теперь напирает на его роту четырнадцатая, а на ту — пятнадцатая: ему кажется, что он тормозит порыв всего батальона, а между тем его солдаты сами спешат вылезть из окопов, помогая один другому, и время, потраченное ими на это, в сущности, ничтожно, самое же важное то, что он осознает: обе высоты спереди молчат, — ружейные выстрелы доносятся только с задних их скагов.

«Мы — для отражения контр-атаки мадьяр.. они теперь так же спешат отбить эти высоты, как мы спешим их занять», — думает Ливенцев в то время, как последние из его роты вылезают, и, не дожидаясь уже каких-нибудь пяти-шести отсталых, он командует, выхватывая револьвер из кобуры, — командует с огромным подъемом, на какой только способен:

— Рота, вперед, за мной!

Он бежит сам, едва через плечо оглянувшись назад.

Сначала он слышит за собою только топот многих ног и вспоминает вдруг, что нужно было ему крикнуть еще и «ура», — однако тут же кто-то сзади, должно быть, Некипелов, исправил его ошибку, и дальше он бежал, крича «ура», как и вся его рота.

По передовым окопам мадьяр и дальше по ходам сообщения расставлена была цепочка из солдат 402 полка, укazyвавших, куда бежать дальше. Ливенцев счел это за предусмотрительность полковника Кюна, но Кюн, как и командир 401 полка Николаев, получил точный приказ Гильчевского о всем порядке штурма: через какие именно проходы вести роты на штурм, через какие санитарам выносить и выводить раненых и через какие вести в тыл пленных; только начальник дивизии, сам руководивший штур-

мом, а не сидевший в безопасном месте в тылу, мог и дать такой приказ, чтобы ни пленные, ни свои же раненые не тормозили дела.

Пленные? — Толпу их увидел мельком Ливенцев, едва задержав на них глаза, когда пропускал первые ряды своих солдат в мадьярские окопы и готовился прыгнуть туда сам. Пленных вели стороною, ложиной, спускавшейся с высоты 100 к ручью Муравица. Они шли открыто, и он подумал: почему же ему не вести было свою роту так же открыто прямо ко второй линии укреплений? Но цепочка из солдат стояла не на открытом склоне, теперь безопасном, однако сплошь почти спутанном где разорванной, а где и не тронутой еще проволокой на кольях, где поваленных набок, где стоячих. Наконец, мадьяры могли обстрелять склон этот гаубичным огнем, и неизвестно еще, скорее ли этот «прямой» путь до их третьей линии укреплений.

Самым важным: казалось теперь Ливенцеву привести туда, где еще дрались мадьяры, не беспорядочную кучку солдат, а действительно роту — четыре взвода, восемь отделений с их командирами, с полными подсумками патронов. И когда он заметил, обернувшись назад, как со всех ног бегут догонять своих несколько человек отставших, он уверенно почти мешком свалился в первый австрийский окоп, как-то пришлось ему увидеть здесь, на Волини.

Дивизия занимала большой участок фронта — двенадцать верст, так что на каждый из двух атакующих полков приходилось по шести. Однако занять людьми все шесть верст даже только одних передовых окопов так, как требовала обстановка, создававшаяся к концу мая (началу июня), не могли австро-германцы. Силой своих укреплений они думали заменить недостающие живые силы, как искусственным бензином из угля заменили бензин из нефти; на место стывающей на русском фронте тактики они выставили фортификацию — в масштабах, еще невиданных в мире. И вот, русская тактика победила, и сознание того, что он — тоже участник победы, необычайно, как он и не думал даже, волновала радостно математика в рубахе защитного цвета — Ливенцева.

Если галицийские окопы австрийцев казались ему, в сравнении с русскими, образцом строительного искусства в земле, то волинские, — он видел, — далеко превосходили. Они были и глубоки, и сухи, и чисты, вполне безопас-

ные от тяжелых снарядов полевой артиллерии, вполне обжитые за девять месяцев подземные галереи, со стенами, забранными досками, с настоящими полами, — не окопы, — дачи, — так это казалось теперь, в конце весны, когда все жители больших городов неудержимо рвутся на лоно природы.

Конечно, бомбардировка двух предыдущих дней, а может быть, и только что умолкшая испортила кое-где дачное благополучие окопов: были кое-где проломы, торчали бревна концами вниз, а под ними кучи земли, свалившейся сверху, громоздились на полу, и приходилось пробираться вперед уже не во весь рост, а согнувшись; кое-где приходилось обходить тела убитых; где-то пришлось несколько шагов сделать по мягкому, — тут свалены были в кучу бинты и вата, — знак того, что здесь был перевязочный пункт, поспешно оставленный...

Цепочка солдат вывела роту в ходы сообщения, тоже сделанные аккуратно, — Ливенцев даже подумал «любовно»: о побежденном враге можно уж было так думать. И вот — вторая линия укреплений, гораздо более мощная, чем первая: Ливенцев изумился тому, как можно было бросить такие блиндажи, в которых, как определил и Некипелов: «Сорок лет сиди себе, посиживай, был бы только женский монастырь поблизости, а только, лиха беда, и есть не так далеко монастырь, так не совсем подходящий».

— А вы какой же монастырь имеете в виду? — спросил его на ходу Ливенцев.

— А вы разве не знаете, Николай Иванович? Так Почаевская же лавра от нас верстах в тридцати пяти, люди говорят, если не врут! — весело ответил Некипелов.

О том, что знаменитая Почаевская лавра так, сравнительно, близко, Ливенцев действительно не удосужился узнать, но его удивила явная веселость сибиряка, точно шел он не с ротой на где-то там впереди еще упорно сражающихся мадьяр, а со своей сестрой Дуней после удачной охоты.

Впрочем, как заметил он, у всех в роте настроение было приподнятое, хотя никто ничего еще не ел с утра. И никто не задерживался, как он побаивался перед штурмом, чтобы пошарить под нарами и койками в окопах, не стоят ли где бутылки с ромом и жестянки с консервами.

Даже любитель «настоящей пищи» Кузьма Дьяконов проворно шагал вместе с другими в неведомое грядущее, теперь уже, видимо, никому не казавшееся мрачным.

5

Четырнадцатая, пятнадцатая, а вслед за ними и шестнадцатая рота, с ее тяжеловатым и староватым корнетом Закопыриным, подпирали тринадцатую, — это придавало ей тоже немалую бодрость.

Но следом за шестнадцатой ротой двинулись батальоны 403 полка, — общий поток дивизии сделался совсем неудержимым, она уже бросала свои окопы надолго, навсегда, чтобы идти вперед далеко, как можно дальше, — на Броды, на Луцк, на Ковель — и куда бы ни приказал командарм!

Это был знаменательный день. Этого дня долго ждали. В этот день далеко не все и верили, однакоже он настал в посрамление маловерам. Если не день настоящей пищи, то настоящий день.

Уже гремели по мосткам сзади пехоты упряжки лихой горной артиллерии. И если четвертый батальон 403 полка видел, как упряжка за упряжкой по трудным проходам в проволочных заграждениях пробирались на вершину высоты 125, то в роте Ливенцева, добравшейся наконец до заднего ската своей высоты 100, видели, как батареи горных орудий догоняли своими снарядами поспешно отступающих мадьяр.

Да, они уже не сопротивлялись больше. Главные силы их видны были уже далеко и даже еле видны в облаке поднятой ими пыли. В то время, когда шла тринадцатая рота и слышна была ружейная стрельба, это только выполняли свое назначение арьергардные отряды, оставленные для прикрытия отхода главных сил, начатого под надежным занавесом обеих высот.

Штурм, проведенный накануне, как бы он ни казался неудачным самому Гильчевскому, поколебал решимость мадьярских полков защищаться до последней крайности, а выход им во фланг прорвавшейся 14 дивизии создавал для них явную угрозу обхода.

Все это стало вполне ясно Гильчевскому после беглого опроса пленных, которых к трем часам дня набралось уже в колонии Новины до четырех тысяч, — из них около сот

ни офицеров. Больше всего попало в плен из образцового венгерского 38-го, короля испанского полка, оставленного в арбергарде, как полк наиболее надежный из всей дивизии.

Донесения шли за донесениями, и все радостные.

Захвачено было свыше десяти орудий и бомбометов, несколько пулеметов и минометов, семь тысяч винтовок, большие боевые запасы, брошенные венгерцами, и двадцать пять верст конной железной дороги. А потери по общей сводке трех полков едва дошли в этот день до трехсот человек.

Мало того: отличился и 404 полк, переданный комкором Федотовым в 105 дивизию. Находясь по соседству, он не захотел отстать от своих трех полков, кинулся в прорыв и сумел захватить полторы тысячи пленных.

— Теперь вопрос: в мою или в сто пятую дивизию будут приписаны эти пленные? — негодуя спрашивал приведенного свой полк Ольхина Гильчевский.

— Практика войны показала, что подобные пленные поступают на счет той дивизии, к какой полк временно был прикомандирован, — отвечал Ольхин, — но я лично считаю это неправильным.

— Ага! Вот в том-то и дело! Неправильным, да, и даже мало того, — преступным, вот что я должен сказать!.. Полк в данном случае действовал один? — Один! Помогла ему сто пятая дивизия? — Нет, — несколько! Так на каком же основании у сто первой дивизии отнимать этих пленных, а сто пятой дарить?

— Ваше превосходительство, прошу не забывать, что мой полк так же точно прикомандирован к вашей дивизии, — пленительно улыбаясь, отозвался на это Ольхин. — Так что если он в будущем возьмет сколько тамнибудь пленных...

— То они пусть и считаются вашей финляндской второй стрелковой дивизии, — перебил Гильчевский. — а мне чужого не надо. И вообще-то зачем было нашему комкору брать полк у меня, а вместо него прикомандировывать ко мне ваш, хотя бы и в двадцать раз лучший? Зачем делать это вавилонское смешение языков? Ведь из этого может быть в конце-то концов только кавардак. Или, как поется в какой-то дурацкой песне:

Сидела честна братия в царевом кабаце,
И всяк из них говаривал на своем языке!

Так или иначе, а сейчас мне надобно ехать догонять полки. Вот пообедаем, и тут же я поеду. И вы ведите форсированным маршем свой полк, стараясь держаться на правом фланге. Пленных же забирайте, сколько вам посчастливится взять, — моя дивизия на них притязать не будет, а вам желаю успехов, каких вы, по всем видимостям, вполне заслуживаете!

Наскоро пообедав и сделав несколько главных распоряжений остающимся, Гильчевский, верхом, со своим штабом, тоже на лошадях, помчался догонять полки, увлекшиеся преследованием венгерцев.

Кавалькада взобралась на высоту 125, еще вчера казавшуюся неприступной. Оттуда должны были развернуться широкие горизонты, — так ожидал Гильчевский; они и развернулись, но ни сам начальник дивизии, и никто из его штаба не мог обнаружить ни одного из полков.

Правда, местность была пересеченная, лесистая, весьма неудобная для наблюдений даже с такой высоты. Только где-то очень далеко в направлении на юго-запад видно было широкое черное полотнище дыма.

— Эге, жгут свои склады, должно быть, немцы, чтобы они не достались нам! — сказал Гильчевский и направил своего серого, секущегося на недавно перелинявшей шее донского коня в сторону этого дыма.

Попадавшиеся навстречу отсталые и раненые солдаты тоже махали в ту сторону руками, когда к ним обращались или сам Гильчевский или кто-либо из штаба с вопросами, куда пошли полки.

Дорог в тылу австро-германцев оказалось много, однако небольшие клочки лесов неизменно на топких болотах все-таки способны были сбить с толку людей в горячке преследования такого легконогого противника; этого и опасался Гильчевский.

Рысили уже больше часа, когда вдруг заметили в стороне на холме деревню, возле которой толпилось много русских солдат, — видимо, даже расположившихся на отдых.

Это встревожило Гильчевского.

— Чорт знает что! Чьи же они такие, надо бы узнать. Не допускаю мысли, что мси, однако... Чем чорт не шутит!.. По плану тут, кажется, должна быть деревня или хутор Пьяново.

Как раз шли по дороге два старика со строгими желтым

лицами, в широкополых соломенных брилях, белых рубахах, забранных в нанковые шаровары; к ним и обратились:

— Это что за деревня такая?

— Деревня?.. Яка деревня? — начали озираться старики. — Оця деревня?

— Ну да, вот эта самая!

— Ця деревня, паночки, кажутъ люди, Пьяне, — расстановисто сказал один старик.

— Эге ж, Пьяне, пане полковнику, — обращаясь к Протазанову, подтвердил другой.

— Ну, знаете, если Пьяне, то это наводит меня на размышление, — заметил Гильчевский, упорно вглядываясь в солдат в свой бинокль. — Мне кажется, что это люди одного из наших полков, а?

— Как же могли они так забрать в сторону? — раздумывал Протазанов, когда Гильчевский сказал вдруг решительно:

— Вижу! Это четыреста второго полка люди! Едем туда! И он направил своего серого к деревне Пьяне, переменяв аллюр.

Теперь вся кавалькада скакала галопом, и Гильчевский все больше укреплялся в своей догадке, что деревня эта не зря получила такое имя.

— Ведь они же не слепые там все, они должны нас видеть, как и мы их, — возмущался он, — почему же они так расселись кружками, и что они могут там такое делать с преувеличенным вниманием?

— Не водку ли пьют? — догадался Протазанов.

— Вот то-то и есть, что не пьют ли!

Скоро ясно стало для всех: в деревне Пьяне шло пьянство, и пьянствовал третий батальон.

Он делал это вполне разрешенно, так что даже перед подъехавшим к первому кружку начальником дивизии с его штабом далеко не все солдаты встали.

— Что за чорт! Какая рота? — крикнул Гильчевский, глядя на унтер-офицера с тремя басонами, стоявшего впереди других.

Багровый и потный унтер-сфигер, не успевший поставить наземь бутылку, которую держал в руке, приосанясь, отвел без запинки:

— Одинадцатая рота Усть-Медведицкого полка, ваше превосходительство!

лицами, в широкополых соломенных брилях, белых рубахах, забранных в нанковые шаровары; к ним и обратились:

— Это что за деревня такая?

— Деревня?.. Яка деревня? — начали озираться старики. — Оця деревня?

— Ну да, вот эта самая!

— Ця деревня, паночки, кажуть люди, Пьяне, — расстановисто сказал один старик.

— Эге ж, Пьяне. пане полковнику, — обращаясь к Протазанову, подтвердил другой.

— Ну, знаете, если Пьяне, то это наводит меня на размышление, — заметил Гильчевский, упорно вглядываясь в солдат в свой бинокль. — Мне кажется, что это люди одного из наших полков, а?

— Как же могли они так забрать в сторону? — раздумывал Протазанов, когда Гильчевский сказал вдруг решительно:

— Вижу! Это четыреста второго полка люди! Едем туда! И он направил своего серого к деревне Пьяне, переменив аллюр.

Теперь вся кавалькада скакала галопом, и Гильчевский все больше укреплялся в своей догадке, что деревня эта не зря получила такое имя.

— Ведь они же не слепые там все, они должны нас видеть, как и мы их. — возмущался он, — почему же они так расселись кружками, и что они могут там такое делать с преувеличенным вниманием?

— Не водку ли пьют? — догадался Протазанов.

— Вот то-то и есть, что не пьют ли!

Скоро ясно стало для всех: в деревне Пьяне шло пьянство, и пьянствовал третий батальон.

Он делал это вполне разрешенно, так что даже перед подъехавшим к первому кружку начальником дивизии с его штабом далеко не все солдаты встали.

— Что за шорт! Какая рота? — крикнул Гильчевский, глядя на унтер-офицера с тремя басонами, стоявшего впереди других.

Багровый и потный унтер-сфицер, не успевший поставить наземь бутылку, которую держал в руке, приосанясь, ответил без запинки:

— Одиннадцатая рота Усть-Медведицкого полка, ваше превосходительство!

— А где же командир роты, а?

— Где-сь отдыхают, ваше превосходительство...

Унтер-офицер добросовестно, оглянувшись, пошарил даже глазами между хатами, не найдется ли где прапорщик Обидин, но Обидин в это время, сидя на крылечке одной из хат, в благословенной тени за столом, вместе с супругами Капитановыми и остальными ротными командирами третьего батальона, пил из стакана коричневый токай, оказавшийся довольно коварным вином: оно не казалось крепким, только вкусным.

— Вот это вино, так вино, — говорил Капитанов, причмокивая и блаженно нюхая усы.

— А кто приказал батальону повернуть сюда? — Я! Разве тебе пришло бы это в твою лысую голову? — торжествующе возглашала мадам Капитанова.

Очень скоро настроение у всех за столом стало весьма повышенным, но подлинным героем дня чувствовала себя эта дама-казак. Она сидела рядом с Обидиным и относилась к нему с самой бесцеремонной нежностью, то и дело ероша его волосы и сама подливая ему вина в стакан и называя Пашенькой.

Обидин при таком с ним обращении совсем не чувствовал себя неловко: он уже вполне привык к нежностям своей командирши, как привык сам Капитанов к бесцеремонностям супруги. Другие же ротные командиры, — все прапорщики, — были так же, как и Обидин, молодой народ, только смотрели на вещи гораздо проще, чем их товарищ, пытались непринужденно острить и хохотали весело и громко.

Остроухий серый конь с кровавыми полосками на худой шее, а на нем — начальник дивизии, известный своим крутым нравом, потом полковник Протазанов на гнедой лошади и еще несколько человек штабных, — вся кавалькада эта появилась перед крыльцом до такой степени неожиданно и внезапно, что все встали, оцепенев; не растерялась одна только Капитанова.

— Это что за ка-бак та-кой? — загредел Гильчевский. — Весь батальон валяется пьяный! У всех бутылки в руках!.. И это в то время, когда ведется наступление!.. И попали чорт знает куда-то в сторону!.. Командир батальона!

— Я, ваше превосходительство, — попытался сказать отчетливей и стать так, чтобы быть повиднее, Капитанов.

— Ка-ак вы смели допустить такой разврат, а? — обру-

шился на него Гильчевский. — Если даже вас занесло почему-то к чорту на кулички, где оказался склад вина, то вы должны были немедленно его уничтожить!

— Вот мы его и уничтожаем, — вступила в разговор с разгневанным начальством дама-казак, — а вы совершенно напрасно горячитесь по пустякам.

Капитанов хотел было остановить свою супругу умоляющим взглядом, но не успел в этом.

— А вы, вы кто такой? — остолбенел было Гильчевский.

— Во-первых, я — не «такой», а «такая», а во-вторых... — начала было объясняться Капитанова, но Гильчевский уже узнал и вспомнил ее.

— В сбо-з! — загремел он. — В обо-оз, сию минуту!.. И чтоб я вас больше никогда не видел в стрюю-ю!.. В обоз!.. А ба-тальону сейчас же строиться и итти форси-ро-ван-ным маршем на деревню Надчицу, догонять свой полк!

И Гильчевский со штабом дождался, пока офицеры, так не во-время занявшиеся кутежом, празднуя не ими добытую победу, разошлись колеблющейся походкой по своим ротам и роты тронулись в одну сторону, в ту, которую им указали, на деревню Надчицу, а дама в бешмете, которая, как и муж ее, ехала верхом, повернула в сопровождении данного ей Гильчевским ординарца в «обоз», то есть в тыл полка: несколько протрезвев, она поняла, что теперь, пока начальник дивизии слишком разгорячен, лучше не протестовать, а подчиниться.

Гильчевский же говорил, глядя ей вслед, Протазанову:

— Я терпел ее, когда дивизия сидела в окопах, и то, вы знаете, скрипя зубами, терпел, но теперь, когда мы наступаем и когда она мне тут портит и офицеров и весь батальон, — не-ет уж, — теперь атанде сказал Липранди, — теперь надо ее совсем удалить с фронта.

Дав направление заблудшему батальону, Гильчевский оставил его, когда начало вечереть, однако, хоть и не плохо скакали кони, догнать свои полки до наступления темноты не смог. Встретились только несколько рот из другой дивизии — 14-й, тоже каким-то образом отставших от своих частей.

Между тем небо в нескольких местах озарилось огнем пожаров: это австро-германцы жгли свои склады, весьма стремительно откатываясь на запад.

Деревня Надчица находилась от линии фронта в пятна-

дцати верстах, и было уже близко к полночи, когда наткнулись в темноте на 403 полк, подходивший как раз к этой деревне, а несколько впереди их оказались и два других полка, и Гильчевский дал отдых и усталым людям и себе до рассвета.

Укладываясь спать в одной из халуп, он ворчал по поводу венгерцев:

— Можно, конечно, приходится иногда, отступать, на то и война с переменным счастьем, но, чтобы так можно было драпать во все лопатки, как эти мадьяришки, это уж последний крик моды!



ОТЗВУКИ ПРОРЫВА



1

двадцатых числа мая в ставке собралась вся царская семья.

Потому ли, что весною и счастливых тянет вдаль: потому ли, что «счастливые» уже начинали тревожиться за свое счастье, — так ли оно прочно и долговечно; потому ли, что царице хотелось быть ближе к своему слабохарактерному супругу, чтобы в критический момент самой стать на страже интересов династии, но она уже водворилась в ставке, заняв в ней половину царского дома и тем нарушив весь «холостой» строй жизни многочисленной свиты царя и заставив ее уплотниться на второй половине.

Впрочем, древний годами граф Фредерикс, гордившийся тем, что шестьдесят лет уже состоял в офицерских чинах, тридцать пять лет — в генеральских и двадцать пять лет на посту министра Двора, собирался ехать в отпуск; генерал По, военный представитель Франции, тоже уезжал в Эссентуки лечиться от подагры; дворцовый комендант Воейков тоже уезжал к целебным водам своей «Куваки», причем испросил у царя разрешения отправить на работы к нему в имение и на станцию «Восейково» для ее расшире-

ния шестьсот пленных из только что взятых армиями Бруслова.

В связи с этим царь издал указ «обратить немедленно к работам внутри империи» многочисленных пленных, так как в результате мобилизаций общее количество работников на полях сократилось почти вдвое, а фронт уже и теперь жаловался на недостатки не только боевых, но и съестных припасов.

Со стороны царицы препятствий к этому указу не было, так как пленные на Юго-Западном фронте были главным образом чехи, мадьяры, босняки, хорваты, словаки, — вообще подданные Габсбургов, а не Гогенцоллернов. В покровительстве же своим немцам, как своим, так и чужим, она оставалась неизменной.

Так, когда были изобличены два молодых вольноопределяющихся с немецкими фамилиями в том, что у них и подданство германское, и они — не больше как шпионы, имеющие чины лейтенантов германской армии, — следствие по их делу, порученное сенатору Кауфману, было прекращено по требованию царицы. Сильную заступницу в ее лице нашел и бывший командующий первой армией — генерал Ренненкампф, оставивший без всякой помощи со своей стороны Самсонова с его второй армией, разгромленной Гинденбургом при Сольдау.

Мало того, что ближайшие родственники Ренненкампфа оказались германскими подданными и жили в Германии, но ревизия по делу о нем, тянувшаяся довольно долго и только что в апреле напечатанная материалы следствия, собрала этих материалов пять толстых томов, в которых на каждой странице пестрели слова: «взяточничество, лихоимство, мздоимство». Казалось бы, что все должны были отвернуться от такого «деятеля во славу русского оружия», однако перед своим отъездом в ставку царица дала аудиенцию этому мерзавцу и милостиво беседовала с ним около часа.

Четыре царских дочери, появляясь вместе около ли дома или в аллеях довольно скромного, впрочем, по своим размерам парка, — в белых ли платьях и белых шляпках с белыми перьями, или в красных, как две старшие, или в серых, как две младшие, — все-таки разнообразили унылый в общем пейзаж ставки.

Они весело улыбались, перекидывались шутками и смея-

лись, когда были одни. Но картина резко менялась, когда к ним выходила мать. Оледеневшая всех кругом себя, она леденила и своих дочерей.

Она говорила так мало, будто разучилась уже говорить, и ей стоило большого труда вспомнить то или иное употребительное слово. На лице ее почти бессменно во всех уголках и впадинах таилась брезгливость, и она не могла или не хотела согнать ее даже тогда, когда была только с дочерьми и сыном.

Наследник, правда, не стеснялся этим и в силу своего бойкого темперамента проказничал, как мог: щипал сестер, дудел в бутылку, бросал в своего дядьку Деревенко пригоршни песка.

День 25 мая был высокоторжественный — день рождения царицы; к этому дню наследник был произведен в ефрейторы, и дядька его, матрос Деревенко, сделанный кондуктором флота, сам пришел к его погонам по серебряному лычку, что очень понравилось мальчику, которому только больная нога мешала бурно проявлять свою радость.

В этот день другая хромоногая из членов царской семьи — бывшая фрейлина Анна Вырубова прислала парю поздравительную телеграмму не с победой на Юго-Западном фронте, а с днем рождения Александры Федоровны: «Горячо поздравляю всем сердцем, помощи всесильный господь. Серенький день, еду в собор, после в ванну. Очень одиноко. Аня». Телеграмма эта была из Евпатории, где она лечилась.

А накануне пришла на имя царя телеграмма из Петрограда: «Государю императору. Славно бо прославился у нас в Тобольске новоявленный святитель Иоанн Максимович, бытие его возлюбил дом во славе и не уменьшит его Ван и с Вами любить архиепископство, пуцай там будет он. Григорий Новых».

В аппаратной, принимавшей эту телеграмму, ничего в ней не поняли и даже послали запрос в Петроград, так ли приняли; оказалось, что вполне точно. Но о чем именно телеграфировал друг царя — Гришка Распутин, в ставке так и не разгадали.

В ставке, если кто и переживал по-настоящему радостно успехи армий Брусилова, то два представителя Италии — старый еще не собиравшийся уезжать Маусенго, и новый, приехавший только в начале мая, граф Ромео. Они двое

были по-настоящему празднично настроены в день 25 мая, когда ставка официально отбывала придворный праздник, когда после обедни все чины ставки, начиная с Алексева и Пустовойтенко, проходили в зале шеренгой в затылок мимо царя с наследником, обмениваясь с ними рукопожатием, и мимо царицы с дочерьми, тоже построившимися в шеренгу, целуя их руки.

Постороннему наблюдателю не могло не показаться в этот день, что из всех стоявших в православной церкви наиболее истово молились эти два католика — граф Ромео и Марсенго; что из всех поздравлявших царскую фамилию России наиболее преданные ей были эти два итальянца — граф Ромео и Марсенго; даже и за обедом, хорошим, правда, но не роскошным и с русскими винами в кувшинах старого серебра, наиболее довольными и русской кухней и русскими винами были эти два поклонника своего вина — кianti — Марсенго и граф Ромео.

Они получили уже телеграммы, что благодаря победам армий Брусилова австрийцы на плоскогорье Азиаго приостановили свое наступление, что спешившие к ним в подкрепление корпуса отзываются обратно на русский фронт.

В ставке ходила по рукам и телеграмма от адмирала Веселкина, русского военного представителя в Румынии, такого содержания: «В совете министров в Бухаресте на вопрос короля о здоровье министр Филиппеско ответил: «Наконец я попал на хорошего доктора — Брусилова. Сообщаю вам этот курьез».

Телеграмма была адресована адмиралу Нилову и не была секретной.

Между тем ставка, отпраздновав день рождения императрицы, тут же начала готовиться к другому празднеству, гораздо более торжественно обставленному, а именно: нужно было принимать икону божьей матери, называемую Владимирской, отправленную из московского Успенского собора. Разрабатывался ритуал встречи этой иконы на вокзале, куда должны были идти войска и ехать в автомобилях царь с наследником и всем семейством, его свита и чины штаба.

С подобной торжественностью в ставку доставлялась в августе 1914 года другая икона — явление божьей матери Сергию Радонежскому. Она была написана на доске от гроба Сергия, и посылала ее Троице-Сергиева лавра.

Эти внеочередные события и заботы как-то не давали ставке ни возможности, ни даже времени сосредоточиться на телеграммах Брусилова, подводивших итоги наступательным действиям его войск за первые три-четыре дня.

Одни, — к ним относился и сам Алексеев, — их просто не ожидали, этих успехов, и теперь не знали, как их оценить: принимать ли их всерьез или отнестись к ним выжидательно и осторожно, или даже счесть эти успехи раздутыми ложными донесениями командиров отдельных частей, сумевших втереть очки командармам — Сахарову и Каледину.

Количество пленных было определено в сорок тысяч за три дня, не считая офицеров, которых будто бы насчитывалось до тысячи человек. Отрицать этого успеха, конечно, не приходилось, но в то же время в нем было кое-что и нежелательное для ставки, в этом успехе: с ним просто не знали, что делать дальше, он путал все карты, сводил на нет все заготовленные уже распоряжения об отправке таких-то и таких-то пехотных частей, таких-то и таких-то артиллерийских парков, таких-то и таких-то и столько-то боеприпасов в ударные армии Западного фронта, к Эверту, а также на Северо-Западный фронт — к Куропаткину. Становилось даже как-то досадно за путаницу, внесенную в долгие и строгие соображения и расчеты неожиданно крупными размерами брусиловского прорыва. В то же время это был не прорыв, а действительно прорывы в нескольких местах, как и готовил их Брусилов и о чем он говорил в ставке 1 апреля на совещании в присутствии царя, — это тоже было неприятно и всей ставке в целом.

Выходило так, что успехом увенчалось довольно дерзкое предприятие, начатое вопреки всей практике войны с немцами и даже вопреки желанию царя: чтобы прорыв подготовить и провести в каком-нибудь одном месте фронта, не разбрасываясь в силах. Успех Брусилова заставлял прибегнуть к старой поговорке: «Победителей не судят», но от этого не могло быть легче тем, которые осуждали заранее эту затею.

Наконец, в ставке в эти дни был и генерал Иванов, для которого последним гвоздем в крышку его гроба был этот успех Брусилова.

Он все сделал и в марте и в апреле, чтобы помешать Брусилову, объявить его праздным фантазером, поколебать доверие, которое вдруг, неожиданно для бывшего главно-

командующего Юго-Западного фронта, возымел к нему царя, подчиняясь советам, идущим извне, от союзников. Он не имел удачи, несмотря на помощь ему в этом и Фредерикса и царицы: царь поддался другим влияниям и не захотел перерешать ни вопроса о назначении Брусилова, ни вопроса о наступлении армий Юго-Западного фронта.

Однако Иванов не хотел складывать оружия, которым он действовал. Он стал завзятым шептуном. Он бродил по ставке и только и делал, что всем, с кем бы ни сталкивался, вещим, пророчески-таинственным, пониженным голосом предсказывал полный провал всего начатого так: по его мнению, безрассудно, так опрометчиво наступления. Он подымал указательный палец к борде, выкатывал сильно запавшие глаза и шептал:

— Эта безумная затея окончится катастрофой, да, да, — прошу мне верить!.. Она окончится такой стратегической трагедией, размеров которой никто пока даже и представить не в состоянии. Прошу мне верить!

2

Но, кроме ставки, была Россия.

И если в ставке семейный праздник царя и приготовления к достойной встрече иконы Владимирской божьей матери отняли у всех, исключая итальянцев, слишком много внимания, чтобы его хватило еще и на дела Юго-Западного фронта, то Россия следила за ними.

Она подняла голову, опущенную под впечатлением слишком многочисленных неудач в течение почти двух лет войны; в ее опечаленных глазах засветилась надежда и с запекшихся уст сорвался возглас радости... Пусть не таким и громким еще был этот возглас! — всего несколько сот поздравительных телеграмм, — но он дошел до Брусилова и сделал его счастливейшим человеком.

Волей своего правительства Россия лишена была гражданских прав, зато русский народ был горд своей военной мощью. Но вот этой законной гордости был в течение почти двух лет войны нанесен ряд таких жестоких ударов.

Страна — та же мать. Страна выдвигала и выдвигала миллионы сыновей на свою защиту, и часть из них была истреблена, часть искалечена, часть уведена в гнусный

плен, — а где же мститель за всю эту бездонную пропасть горя?

Где тот, на кого можно было бы возложить хотя бы тень уверенности, что еще не все потеряно, не все погибло, что еще возможен поворот к лучшему, а чашу позора можно еще отбросить в ненасытную подлую звериную пасть врага?

Неужели все эти генералы, украшенные цветными широкими лентами и бесчисленными орденами, с такими длинными титулами, что их невозможно было и сказать за один прием, осыпанные с ног до головы всякими благами жизни, — неужели они все до одного оказались до такой поразительной степени невежественны в военном деле и так зопиюще бездарны?

И когда возникло там, на юго-западе тысячеверстного фронта, уже знакомое стране, но осиянное светом смелых действий и большой победы имя генерала Брусилова, люди протянули к нему руки. Телеграммы шли с разных концов России.

Председатель земского союза Львов прислал Брусилову такую телеграмму, несколько напыщенную и длинную:

«Ваш меч, тяжелый, как громовая стрела, прекрасен! Молнией сверкнул он на Западе и осветил радость и восторгм сердце России. Наши взоры, наши помыслы и упования прикованы к героической и несокрушимой армии, которая с великими жертвами, полная самоотверженности, смеет твердыни врага и идет от победы к победе. С восторгом преклоняясь перед подвигами армии, мы одушевлены тремлением по мере всех своих сил служить ей и, чувствуя эти дни вашу твердую руку, глубокую мысль и могучую русскую душу, всем сердцем хотим облегчить вам ваше почетное славное бремя».

В его лице, этого председателя союза всех русских земств, как бы на все сотни приветственных телеграмм сразу ответил Брусилов:

«Опираясь на могучий непоколебимый дух армии и при духовной поддержке всей России, глубоко и твердо надеюсь довести победу до полного разгрома врага. От всего сердца горячо благодарю вас за истинно-патриотическое приветствие и приношу вам и всему земскому союзу мою искреннюю благодарность за приветствия и пожелания».

Имя Брусилова не сходило со страниц газет как русских, так и иностранных, и это шло вразрез с установившейся уже

в России почти полной анонимностью войны даже и в отношении генералов, так как верховным главнокомандующим был вначале великий князь Николай Николаевич, сменивший потом самим царем. Какие же еще могли появиться герои? Ни малейшая тень чужого героизма не могла заслонять ореола, сияющего над головами «верховных».

И если от Николая Николаевича из Тифлиса Брусилов все-таки получил телеграмму, состоящую из четырех только слов: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю», и был этой телеграммой очень растроган, то царь хранил тяжелое молчание.

Он оставался так же непостижимо нем, как на совещании в ставке 1 апреля.

— Однако я-то не могу быть немым, — говорил Брусилов утром 25 мая Клембовскому. — Я должен выяснить свое положение. Вопрос, когда же именно выступит Эверт для нас коренной вопрос, поскольку мы только застрельщики. Соедините-ка меня со ставкой.

Одно дело — штаб-квартира главнокомандующего фронтом, совсем другое — ставка, где были в этот день свои неотложные и важные заботы. Разговор с Алексеевым удалось наладить только поздно вечером, но он не принес Брусилову никакой отрады.

— Генерал Эверт на мой запрос прислал сообщение, что он может быть готов к наступлению не раньше пятого июня, — сказал Алексеев по прямому проводу.

— Ка-ак так к пятому июня? — испуганно прокричал Брусилов. — Может быть, я ослышался? Может быть, вы сказали — к первому, а мне послышалось — к пятому?

— Нет-нет, именно к пятому, а не к первому, Алексей Алексеевич. Так что вот обойдитесь как-нибудь, а мы выкроим вам подкрепления...

— Помилуйте, Михаил Васильевич, — пока ко мне придет один корпус, немцы успеют подкинуть к своим целям пять, если не все десять! В какое же положение вы меня ставите?

— Что же я могу поделать с Эвертом, если он не готов

— Как что? Как что поделать? — возмутился и смеясь и самым тоном слов Алексеева Брусилов. — Прикажут быть готовым к первому числу, — вот что вы можете сделать! Приказать именем государя, — вот что сделать!

— Это не поможет, послушайте, Алексей Алексеевич

Что же и приказывать, если генерал Эверт и сам отлично понимает, что ему надо делать и что значит 'быть готовым.

— Понимает ли, — вот вопрос! И имеет ли желание понимать это, — вот другой вопрос!

— Ну, как так — понимает ли! Разве у него нет опыта в наступательных операциях?

— Мне, как и вам, Михаил Васильевич, отлично известен этот опыт генерала Эверта, но ведь суть дела в том, чтобы он забыл этот опыт и начал дело сначала и заново! Печальные опыты необходимо забыть в интересах общегосударственного дела, — вот что я думаю! И я очень боюсь, что именно этот свой опыт мартовских боев генерал Эверт думает применить снова, почему и оттягивает начало. В марте он тоже оттягивал, пока не началась ростепель и распутица.

— Вы очень строги к генералу Эверту, Алексей Алексеевич!

— Я опасаясь, что он, как опереточный жандарм, придет на помощь очень поздно!

Алексеев счел за лучшее не вступать в дальнейшие пререкания с главнокомандующим Юзфронта, сослаться на загруженность делами, пожелать ему дальнейших успехов и проститься, а Брусиллов долго после того ходил взбешенно по своему кабинету и повторял:

— Какая подлость!.. Какая пакость!.. Вот и выбивайся из сил, а они пальцем о палец не желают ударить!

Он еще не знал того, что как раз 25 мая (7 июня), когда к нему несся вихрь приветственных и благодарственных телеграмм, другой вихрь телеграмм, с содержанием прямо противоположным, мчался от австрийского командования к германскому. Смысл всех этих телеграмм был один: «Спасите нас, погибающих!» А частности таковы: австрийские резервы на русском фронте пришли к концу; вот-вот, если не подоспеет помощь, вся армия окажется бывшей армией; четвертую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда (едва успевшего отпраздновать свой день рождения!) приходится уже и теперь перестать считать за армию, — она разгромлена; из общего числа в четыреста семьдесят шесть тысяч человек армия в целом потеряла не меньше двухсот тысяч...

Это был громовой удар с русского неба, которое так

еще недавно, — всего несколько дней назад, — считалось совершенно безоблачным.

Телеграммы эти — вопль раненого сердца — ставили в труднейшее положение германскую главную штаб-квартиру. Затыкать австрийскую брешь было необходимо теми небольшими резервами, какие приготовил Фалькенгайн для своей армии на Сомме, где французы уже готовились перейти в наступление и только ждали, когда англичане перевезут все приготовленные ими для своей армии снаряды.

Но отдать эти резервы на австрийский фронт — значило сорвать свою обдуманную операцию на Сомме, где германцы хотели предупредить наступление англо-французов и напасть сами.

Снимать дивизии из-под Вердена, где машина перемалывания французских войск работала безостановочно и успешно, но требовала, чтобы в нее бросали все новые и свежие свои войска, тоже никак не представлялось возможным: резервы были в обрез.

Фалькенгайн проклинал и день и час, когда он позволил Конраду фон-Гетцендорфу убедить себя, что русский фронт безопасен.

Только к концу лета должны были влиться в армию пополнения, а между тем он был, конечно, очень хорошо осведомлен о том, что против германских войск на востоке стоят у Куропаткина двойные силы, у Эверта — тройные и что эти силы вот-вот будут тоже приведены в движение, иначе зачем бы они и собирались.

Он уже думал над тем, как было бы лучше сделать здесь ввиду неизбежности наступления обоих русских генералов: не отодвинуть ли линию обороны, чтобы ее значительно сократить и этим сделать более выгодной для защиты?

Но для этого нужно было бросить укрепления, над которыми сотни тысяч людей работали три четверти года, и переменить их на скороспелые и, быть может, не везде удачные по своим природным данным.

Приходилось поэтому возложить надежду на медлительность англичан, без которых французы переходить в наступление не станут, потому что своими только силами действовать с уверенностью в успехе, конечно, не могут.

И вот, после долгих размышлений и колебаний, Фалькенгайн решил принести в жертву обстановке, создавшейся

у австрийцев, свой план самому напасть на союзников на Сомме и взял из резервов пять дивизий для отправки на восток.

Знал или не знал он, что ни Эверт, ни Куропаткин не были для него опасны сами по себе? Может быть, даже и знал, но думал, что их могут заменить другими генералами, как бездеятельный Иванов был заменен энергичным Брусиловым.

Во всяком случае, едва ли он знал, что в то время, как он думал без боя очищать свой фронт против Эверта, сам Эверт говорил в интимном кругу:

— Брусилов думает, что я так вот и кинусь работать для его славы! Очень многого он от меня желает!..



РЕКА ИКВА

М

1

естность к западу и югу от деревни Надчицы была богата водой и лесами — это разгляд как следует Гильчевский утром 25 мая, — удобная для защиты, но гораздо менее удобная для наступления местность.

От Надчицы шла дорога на местечко Торговица, раскинувшееся как раз при впадении довольно широкой, — в тридцать сажен, — реки Иквы в еще более широкую реку Стырь. О реке Икве со времен академии Гильчевский помнил, что она почти непроходима для войск, так как протекает по весьма болотистой и широкою в четыре версты долине, и вот теперь он был вблизи от этой реки, как и от другой — Стыри. Занять линии обеих этих рек он получил приказ от комкора Федотова.

Федотов продолжал попрежнему сидеть в своей квартире, где частью по телеграфу, частью по телефону получал донесения от командиров обеих своих дивизий — 101-й и 105-й. За последние два дня он вырос в собственных глазах, так как получил во временное командование еще одну дивизию — финляндских стрелков, поэтому счел нужным прибавить себе важности даже и в токе, каким было написано им добавление к приказу.

для форсирования Иквы, за которой, как донесли разведчики, тянулись позиции противника.

— Мосты на Стыри и мосты на Икве, — вот первейшее и главнейшее, что надобно вам занять, — говорил Гильчевский, напутствуя Ольхина и своего командира первой бригады. — Если допустите мадьяр сжечь мосты, то...

Договаривать, конечно, было излишне.

С 403 полком, идущим непосредственно за 6 Финляндским, ехал сам Гильчевский. Он, правда, облюбовал для штаба так же, как и Новины, чешскую колонию Малеванку, но не заезжал туда; он и небольшого дела не умел доверять кому бы то ни было, а тем более не хотел быть вдали от того серьезного, что ожидало его дивизию в этой многоводной, болотистой и лесистой местности, хотя на взгляд туриста она и была красивой.

Зелень деревьев была молодая, нежная, пышная; зелень трав в лесу буйная, — и Гильчевский говорил дорогой, дыша полной грудью:

— Эх, хорошо бы тут «под сенью лип душистых» водочки тяпнуть да вяленой воблой закусить... или копченой кефалью!.. Есть любители или той или другой из этих рыбок, а я, признаться, и ту и другую люблю одинаково пылко.

— Да, маевочку бы тут не плохо сочинить, — места подходящие, — вторил ему Протазанов.

— Можно бы даже и полевую кашу сварить, — с раками! Тут, я думаю, раков бездна... Кстати, слышал я что-то такое в детстве: «Через Тырь в монастырь» и не понимал, что это за «Тырь», а теперь вполне уверен, что не Тырь, а именно Стырь, к которой мы с вами едем... Уцелела, значит, в народе только рифма, а «С» отлетело и смысл тоже испарился...

Как раз в это время дружно заговорила артиллерия на подступах к Стыри, и Гильчевский умолк: он подмигнул Протазанову и послал своего серого в сторону все разгоравшейся с каждым моментом пальбы.

Хотя ехать напрямик через лес было бы гораздо проще и ближе, но в стороне, правее от дороги, Гильчевский заметил широкую луговину, переходившую в лесную поляну, которая могла вывести если не к реке Стыри, то куда-нибудь на открытое место, откуда было бы видно, что впереди происходит.

Около версты было до этой поляны, а разговор пушек становился все внушительнее, хотя действовала только легкая артиллерия с той и с этой стороны. От нетерпенья Гильчевскому показалась уже нелепой его затея — объезд леса, но зато на поляне ждала его нечаянная радость: как раз в одно время с ним, только с другой стороны леса, на ту же поляну выходила первая рота 404 полка, и впереди роты ехал верхом командир полка полковник Татаров.

Это был образцовый командир, так же как и полковник Николаев, — спокойный перед бѣгом и неспособный теряться в бою. И внешность у него была внушающая доверие солдатам: солдаты не любили командиров жиденьких, — это давно заметил Гильчевский. «Какой из него командир — так вообще стрюцкий какой-то!» Татарова даже и в шутку никто не назвал бы «стриюцким», — он был основательный человек во всех смыслах. И то, что он никогда не горячился и в обращении со всеми был ровен, очень к нему шло.

Не успел еще удивиться и обрадоваться в полную меру, увидев его, Гильчевский, как он уже подъехал к нему с рапортом:

— Ваше превосходительство, по приказанию командира корпуса командуемый мною полк откомандирован из сто пятой дивизии.

— Откомандирован? Очень хорошо! Прекрасно! Здравствуйте, дорогой! Я очень рад! — и Гильчевский даже обнял Татарова, точно не видел его целый год. — Совсем как блудный сын: пропадал и нашелся!

— Где прикажете расположить полк? — спросил Татаров,

— Был бы на месте полк, а уж расположить его есть где!.. Здорово, молодцы! — крикнул Гильчевский в сторону первой роты, но на приветствие своего начальника дивизии отозвалась и показавшаяся на поляне вторая рота.

— Ну, с такими молодцами нам уж австрийские укрепления не страшны! — ликовал Гильчевский, который готов был простить все грехи своего комкора за то только, что вся дивизия теперь снова в сборе, — «в кулаке».

Тем временем канонада в стороне Торговицы начала утихать. Гильчевский указал Татарову место расположения полка, а сам с Протазановым поскакал по направлению к Торговице.

— Мост, мост, — вот что важнее всего! — повторял он на скаку. — Не успеют сжечь, — могут взорвать, отступая! Тогда пропало дело!

Артиллерийская пальба совсем почему-то затихла, ружейная тоже, хотя и доносилась, но была какая-то вялая. Наконец с опушки роши, в которой австрийцы, как с первого взгляда решил Гильчевский, начали было рыть окопы, но бросили, не успев закончить, уж видно стало все местечко и белая церковь с синими разводами.

Местечко лепилось очень кучно на холме и без того высокого здесь берега Иквы, а церковь оказалась как-то не по местечку велика — тем более, что большинство жителей в нем были евреи. На узеньких, улочках его везде виднелись русские солдаты.

К местечку пришлось подниматься в гору, зато от церкви широкий разостлался кругозор: долина Иквы, река, мост через нее, который был целехонек и уже охранялся стрелками, лес на другом берегу, более низком, чем этот, дорога в нем, а главное — по этой дороге тянулись отступающие австрийцы совершенно безнаказанно.

— Батарю, батарю сюда! — закричал Гильчевский. — Как же можно дать им уходить, точно с парада? Обстрелять сейчас же!

Полубатаря — четыре горных орудия — нашлась поблизости и подскочила к церкви, где стоял Гильчевский. Орудия установили без всякого прикрытия, лишь бы успеть послать в ряды уходящих хоть несколько десятков гранат.

Но мадьяры оказались не так беззащитны, как думалось Гильчевскому. После первых же трех залпов полетели снаряды противника в церковь и пробили в ней стены.

Щебнем, посыпавшимся вниз, засыпало орудия. Сам Гильчевский едва успел отскочить в сторону. Пришлось тут же оттащить и орудия и поставить их в укрытое место.

— Эге-ге, да у них там, на другом берегу, основательные укрепления, — говорил Гильчевский Ольхину, разглядывая в цейс противоположный берег Иквы.

— Я уж навел справки у местных жителей, когда они выбрались из погребов и обрели дар речи, — живо отозвался на это Ольхин: — линия укреплений там еще с прошлого года.

— Вот видите, как! А проволока? Сколько рядов?

— Насчет проволоки допытаться не мог, — не знают.

Всё укрепления были брошены и только теперь заняты вновь.

— Натянули, я думаю.. Но почему-то не заметно: очень высокая трава там.

— Хлеба, а не трава!

— Ночью произвести разведку позиций противника, — тоном приказа сказал Гильчевский, и Ольхин ответил на это, подняв руку к козырьку фуражки:

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Хлеба? Да, кажется, действительно хлеба, — смотря в бинокль, говорил Гильчевский. — Озимая пшеница... Жаль. Завтра от нее там мало что останется: завтра все эти позиции мы должны взять... вместе с мадьярами.

↳

Окопная война, если она затягивается надолго, отучает солдат и офицеров и их начальство всех степеней от войны маневренной.

На сотни, даже на тысячи километров тянется сплошная стена подземных казарм и укреплений, соединенных между собой и с ближайшими тыловыми блиндажами и землянками ходами сообщений в земле, и вся эта длиннейшая цепь искусственных пещер сравнительно безопасна, и «локоть товарища» в них чувствуется очень прочно.

Но вот покинуты свои окопы, опрокинуты чужие, и полки вышли на «дневную поверхность», как гогорят шахтеры; тогда происходят странные явления с людьми: пехотинцы ходят с большим трудом, им приходится восстанавливать в ослабевших ножных мышцах способность быстро передвигаться, а офицеры пехоты с трудом ориентируются на местности. Пространство само по себе, независимо от того, каково оно по своим качествам, кажется слишком огромным и таящим в себе всякие неожиданности и подвохи со стороны врага; пространство, которое необходимо захватить, представляется не просто союзником врага, а как-то само по себе враждебным.

Настроение это или быстро проходит или держится довольно стойко, смотря по тому, отступает стремительно или очень упорно защищается враг.

Пока с быстротой совершенно неожиданной мадьяры, выбитые из своих весьма долговременных позиций, спасали

свои жизни, свою артиллерию, свои обозы, — в полках дивизии Гильчевского был подъем; но вот оказалось, что впереди за двумя реками, — одна широкая, а другая еще шире, — снова ушел в землю проворный враг, и неизвестно, как к нему подойти, с чего начать и как провести новый прорыв этих таинственных позиций, которые, может быть, ничуть не слабее только что взятых.

Одно дело долго готовиться к прорыву, готовиться несколькими армиям, включающим несколько десятков дивизий и огромное число батарей, притом выполнять приказы, идущие от главнокомандующего фронтом, непосредственно связанного со ставкой, — и совсем другое дело, когда одна дивизия, хотя бы и подкрепленная еще полком из другой дивизии, должна решать эту задачу на местности, не освещенной даже разведкой, решать сразу и безошибочно, имея в голове только одно твердое знание, вынесенное еще из академии генерального штаба, что река между твоей дивизией и позициями противника трудно проходима для войск.

Было над чем задуматься Гильчевскому, несмотря на тот азарт погони, в который он только что вошел.

Держать дивизию в кулаке, перед своими глазами, было нельзя: она рассыпалась по двум рекам: бригада на Стыри, бригада на Икве, и перед первой — пять верст неприятельских позиций, перед второй — десять.

Нужно было выбрать для себя со штабом наблюдательный пункт. Гильчевский выбрал одну высоту — 102 — из цепи холмов на своем правом берегу Иквы, верстах в четырех от неприятеля; с нее был хороший обзор, однако она могла быть вполне доступна артиллерии врага. В то же время нужно было установить и свою артиллерию, так как батарейные командиры тут же перессорились из-за более выгодных позиций. Пришлось прибегнуть к строгому приказу, а Гильчевский по опыту знал, что артиллеристы строгих приказов начальников чужих для них дивизий не любят и что лучше всего с ними не ссориться перед боем, исход которого зависит на три четверти от их работы.

Гильчевский заметался, отлично уже начиная видеть, что поставленная перед ним задача превосходит его скромные силы.

Спасительным явился новый приказ комкора: отложить атаку позиций на Икве на один день. Впрочем, тут же, после минуты облегчения, началась новая тревога.

— Хорошо, — отложить атаку на Икве... А как же Стырь? Ведь у меня на Стыри стоит бригада? Значит, как же я должен понять это: завтра атаковать этой бригадой позиции за рекою Стырью? Повидимому, так, а? — спрашивал он офицера из штаба корпуса, привезшего приказ.

— Никак нет, — ответил тот, хотя и не вполне уверенно. — Мне пришлось слышать, что линию Стыри завтра займет другая дивизия.

— Отчего же этого нет в приказе? — недоумевал Гильчевский, вертя в руках бумажку, подписанную Федотовым.

— Повидимому, не совсем еще решено, однако уже намечено, ваше превосходительство.

— Лучше мне нечего и желать, если освобождается моя бригада, — повеселел Гильчевский. — Однако хотелось бы, чтобы так именно и было!

Утро следующего дня внесло полную определенность.

Во-первых: разведчики—финляндские стрелки, подобранные ночью к австрийским позициям, донесли, что позиции нужно признать сильными, а колючая проволока перед ними местами в четыре, а местами и в семь колеев, хотя из-за высоких хлебов ее совершенно не видно с правого берега; во-вторых, бригада с реки Стыри действительно сменялась целой дивизией — 126-й, бывшей ополченской, как и 101-я; и, наконец, на помощь артиллерии, которой располагал Гильчевский для действий на своем участке, шел дивизион тяжелых орудий.

Так как Гильчевский и раньше знал, что слева его подпирал 105-я дивизия, то теперь, узнав о таком «локте товарища» справа, как 126-я, и такой опоре сзади, как две тяжелых батареи, которые покажут мадьярам, чего они стоят, — он снова почувствовал себя так, как привык за последние месяцы.

Но ночью случилось то, чего он не мог простить своему командиру первой бригады: австрийские разведчики подожгли мост через Стырь.

Правда, пожар, удалось все-таки потушить, и сгорела только часть моста. Гильчевский приказал во что бы то ни стало восстановить мост. Это тем легче было сделать, что он был не настолько громаден, как мост через Икву у Торговицы, который тянулся на триста сажен, захватывая всю долину реки, очень топкую в этом месте, и шириной был в три сажени. Когда Гильчевский прискакал в Торговицу,

он прежде всего кинулся к этому мосту и увидел, что австрийцы уже оплели его сваи жгутами из соломы, чтобы поджечь, но не успели этого сделать. Зато они взорвали часть моста, поближе к своему левому берегу, и саперы на глазах Гильчевского, под прикрытием орудийного и пулеметного огня, довольно быстро привели мост почти в прежний вид: во всяком случае, он мог бы уже пропустить на тот берег все легкие батареи. Важно было во время боя отстоять его от снарядов противника.

В полдень 26 мая явилась первая бригада, сменная 126 дивизией; в то же время комкор Федотов дал знать Гильчевскому, что он вполне понимает важность выпавшей на него задачи и дает ему в подчинение остальные три полка 2 финляндской стрелковой дивизии.

Это была уже честь совершенно неожиданная: ведь прошел всего день, как тот же Федотов считал нужным поставить ему на вид тактическую, по его мнению, погрешность, теперь же подчиняет ему, начальнику ополченской дивизии, кадровую дивизию, старую и боевую, начальник которой, может быть, не держал бы ее в «кулаке» ему в угоду, а распустил бы веером по всем скрестным деревням Пьяне.

Кстати, шесть мелких деревень насчитал Гильчевский на своем участке атаки по долине Иквы. От них в трех местах тоже шли на этот берег мосты, слабые и тряские, но пригодные для переброски пехоты. План перебросить через эти мостки части двух своих полков возник у Гильчевского, когда он был в одной из этих деревень, расположенной на правом берегу Иквы, и он вызвал к себе Татарова и Кюна, только что ставшего в этой деревне со своим полком.

— Вечером, когда стемнеет, — сказал он им, — по батальону от каждого полка должны будут переправиться на тот берег реки и там непременно закрепиться. Вашему полку, — обратился он к Кюну, — сделать это здесь, в деревне Остриево, а вашему, — обратился он к Татарову, — против той деревни, в которой вы стоите, то есть против Рудлева.

— Слушаю, — сказал на это Татаров.

— Позвольте мне осмотреться на новом для меня месте, ваше превосходительство, — сказал Кюн.

— Осмотритесь, — непременно осмотритесь, да... И в семь вечера мне донесите о том, какой батальон у вас начал переправляться.

Весь свой участок атаки, растянувшийся на десять верст, он поделил на две равные части, и правый, в который входила на австрийской стороне сильно укрепленная Деревня Красное, расположенная против Торговицы, он предоставил финляндском стрелкам, с 6-м полком в авангарде, а левый — своей дивизии.

От Татарова вечером пришло донесение в колонию Малеванку, в штаб дивизии, что он начал переправу через Икву. Не дождавшись такого же донесения от Кюна, Гильчевский запросил его по телефону сам и услышал неожиданный ответ:

— Операцию по переправе и закреплению на том берегу я считаю совершенно невыполнимой, ваше превосходительство.

Гильчевский был так удивлен этим, что только спросил:

— Вы осмотрелись?

— Точно так, ваше превосходительство, осмотрелся и нахожу...

Тут Гильчевский вспомнил, что из-за нераспорядительности Кюна был сорван первый штурм 23 мая, и прокричал в трубку:

— В таком случае у вас глаза плохо видят! И двадцать третьего числа они тоже видели плохо!.. В таком случае я вам приказываю немедленно сдать полк командиру первого батальона, подполковнику Печерскому! Пошлите его к телефону, чтобы я передал ему приказание лично!

Через четверть часа подполковник Печерский услышал от Гильчевского, что назначается командующим полком.

— Немедленно начать переправу одного, по вашему выбору, батальона на другой берег, где и закрепиться ему. Об исполнении мне донести, — добавил Гильчевский.

Печерский был ему известен с хорошей стороны, и в нем он был уверен. Однако озабочен он был тем, что по новости положения своего этот хороший батальонный командир может не справиться с серьезной задачей, свалившейся на него внезапно и в ночное время. Это же опасение высказал и Протазанов.

Было тревожно и за 404 полк, удача которого в этом ночном деле казалась Гильчевскому гораздо более важной, чем удача 402 полка; так как 404 полк предназначался им для прорыва, а 402-й только для поддержки его успеха.

Но вот около полуночи пришло донесение от Татарова:

— Первый батальон вверенного мне полка, перейдя реку Икву, закрепляется на противоположном берегу. Потерь не было.

И не успел еще начальник дивизии расхвалить по заслугам Татарова, как получилось и донесение от Печерского:

— Доношу вашему превосходительству, что четвертый батальон четыреста второго полка переправился через реку, понеся при этом весьма незначительные потери, и окапывается не тревожимый противником.

;

Выбравшись 24 мая из третьей линии австрийских укреплений, подполковник Шангин повел свой четвертый батальон 402 полка за вторым, а не за третьим, уклонившимся в сторону деревни Пьяне, и это был первый случай в боевой жизни прапорщика Ливенцева, когда он вел роту преследовать отступающего противника.

Усталости он не чувствовал, — был подъем. Этот подъем чувствовался им и во всей роте по лицам солдат. И, шагая рядом со взводным Мальчиковым и видя его широкое, крепкое бородатое лицо хотя и потным, но как будто вполне довольным, Ливенцев сказал ему:

— Ну, как Мальчиков. веселое ведь занятие гнать мадьяр?

Мальчиков глянул на него по-своему, хитровато, и слегка ухмыльнулся в бороду.

— Веселого, ваше благородие, однако, мало, — отозвался он.

— Мало? Чего же тебе еще? Корабля с мачтой? — удивился Ливенцев.

— Не то, что бы корабля, ваше благородие, а, во-первых, жарко, — пить хочется, а нечего.

— Ну, это терпимо, — пить, правда, и мне хочется, да надо потерпеть... А, «во-вторых», что?

— А, во-вторых, как говорится, — «хорошо поешь, где-то сядешь». Австрияк, он, одним словом, знает, куда идет! Он туда, где у него понаготовлено про нашу долю всего, — и снарядов всяких и патронов, а мы у него, может, на приманке.

— Как на приманке? На какой приманке? — не понял Ливенцев.

— Приманка, она всякая с человеком бывает, — опять ухмыльнулся Мальчиков. — Например, про себя мне ежели вам сказать, ваше благородие, то я перед войной на мазуте в Астрахани работал. Я хотя десятником был, ну, по осеннему времени от холодной воды ревматизм такой себе схватил, что и ходить еле насилу мог. А тут пришлось мне раз в мазуте выше колен два часа простоять. Кончил я свое дело, вышел, — что такое? Ну ползут прямо черви какие-то по мне по всему телу, и все! Не то, что б я их глазами своими видел, а так просто невидимо, ползут, как все равно микроба какая! А тут подрядчик поблизости. «Что ты, — говорит, — обираешься так, как перед смертью?» — А как же мне, — говорю, — не обираться, когда явственно слышу: черви по мне ползут!» Ну, он мне: «В мазуте, — говорит, — чтобы черви или там микроба какая была, этого быть никак не может. Мазут этот — такое вещество, одним словом, что от него всякая микроба, напротив того, бежит сломя голову. А это у тебя от ревматизма так показывается... Ты вот лучше возьми да искупайся в мазуте по шейку, — спасибо мне скажешь». — «Как это, — говорю, — в мазуте чтобы купаться? Шуточное это разве дело». — «А так, — говорит, — искупайся, и все. Только не менее надо как четыре раза так, — ищи тогда своо ревматизма, как ветра в поле...» Ну, раз человек уверенно мне говорит, — думаю себе, — дай по его сделаю, — значит, он знает, что так говорит.

— Искупался? — с любопытством спросил Ливенцев.

— Так точно, ваше благородие. Искупался по его, как он сказал, четыре раза, и все одно, как никакого ревматизму во мне и не было! Вот он что такое мазут, — какую в себе силу имеет!

Красное лицо Мальчикова имело торжественный вид, но Ливенцев вспомнил о «приманке» и спросил:

— Хотя в нефти вообще много чудесного, но какое же отношение твой мазут имеет к твоей же «приманке»?

Мальчиков снова ухмыльнулся, теперь уже явно по причине недогадливости своего ротного, и ответил довольно странно на взгляд Ливенцева:

— Да ведь как же не приманка, ваше благородие: ведь это, почитай, перед самой войной было.

— Все-таки ничего не понимаю, — признался Ливенцев, и Мальчиков пояснил:

— Кто ж его знает, что лучше бы было: или мне в Астрахани в мазуте бы не купаться или что я от ревматизму свою сдыхался... Это я к примеру так говорю. Вот так же теперь, может, и австрияк, ваше благородие.

— Что именно «так же»?

— Выманил нас, одним словом, а там кто его знает, что у него на уме... Ну, а нам итить теперь, конечно, все равно надо, — пан или пропал, — добавил Мальчиков, скользнув по лицу Ливенцева хитроватым взглядом и ухмыльнувшись.

На привале в деревне Надчице, напившись, умывшись и поужинав, Ливенцев спал крепко, уложив голову на чей-то вещевой мешок.

И в новый день, который пришлось ему со всем полком простоять бездеятельно на берегу Стыри, был полон для него все тем же ощущением начатого огромного дела, которое было потому только и огромным, что не его личным.

Ощущение это росло в нем и крепло по одному тому только, что бригада — не его рота, не батальон, не полк, а целая бригада — занимала линию фронта в несколько верст. Он видел большую реку, которой никогда не приходилось ему видеть раньше, но которая была исконно-русской, воынской рексой; гряды холмов, покрытых лесом; зеленые хлеба в долине, деревни; большой кусок мирной и плодотворной земли, по которой скакал когда-то с дружинами удельный князь, в железном шишаке и с «червленым», то есть красным щитом, скакал к ее «шеломени», то есть границе, чтобы блюсти ее от натиска «поганых» — кочевников, половцев и других.

— Я как-то и где-то читал, что половцы, по крайней мере часть их поселилась на оседлую жизнь в Венгрии и что в семнадцатом веке в Будапеште умер последний потомок полсвецких ханов, который еще знал половецкий язык, — сказал Ливенцев прапорщику Тригуляеву. — Так что вот с кем мы с вами, пожалуй, имеем дело в двадцатом веке: нет ли среди мадьяр за Стырью отдаленных потомков полсвцев?

— Что же касается меня, — очень весело отозвался на это Тригуляев, — то я — прямой потомок крушителя полсвцев Владимира Мономаха!.. Что? Не согласны?

— Все может быть, — сказал Ливенцев.

— Я вижу сомнение на вашем лице — сложно подмигнув

Тригуляев, — но-о... вполне ручаюсь за то, что я — мономахович!

— Вполне вам верю, — сказал Ливенцев, — только контр-адмирал Веселкин, который теперь, говорят, очень чудит в Румынии, все-таки гораздо удачливее вас: он называет себя сводным братцем нашего царя, и в этом никто не сомневается, представьте!

Когда на смену их бригаде явилась целая дивизия — 126-я, — а им приказано было, держась берега Стыри, итти на Икву, Ливенцев услышал от командира пятнадцатой роты, тамбовца Коншина:

— Ну вот, начинается дерганье: то туда иди, то сюда иди, не могли сразу поставить, куда надо!

Коншин и вид имел очень недовольный, а Ливенцеву даже и в голову не пришло пошутить над ним, хотя склонности к шуткам он не потерял; напротив он был совершенно серьезен, когда отозвался на это:

— Удивляюсь, чего вы ворчите! Я никогда не имел никаких так называемых «ценных» бумаг, в частности, акций, но слышал от умных людей, что если уж покупать акции, то только солидных предприятий, обеспеченных большими капиталами. Вот так и у нас с вами теперь: солидно, не какие-то там чики-брики, обдуманно!.. Не знаю, как вы, а я уж теперь, еще до боя, когда нас с вами убьют, вполне готов сказать: если война ведется умно, то быть убитым ничуть не досадно!

Из всего, что сказал Ливенцев, Коншин, видимо, отметил про себя только одну фразу, потому что спросил, поглядев на него тяжело-пристально:

— А вы почему же так сказали уверенно, что нас с вами в этом бою убьют?

— Э-э, какой вы серьезный, уж и пошутить с вами нельзя! — сказал Ливенцев, не усмехнувшись при этом.

О том, что ночью, когда они уже стояли на Икве, был сменен Печерским Кюн, Ливенцев не знал: Шангин счел за лучшее не говорить об этом своим ротным перед ночным делом. Но Ливенцев, как и другие, впрочем, заметил, что старик волнуется, передавая им приказ перейти мост и закрепиться на том берегу.

— Закрепиться, — вот в чем задача, — говорил своим ротным Шангин. — Что, собственно, это значит? Как именно закрепляться?

— Вырыть, конечно, окопы, — постарался помочь ему Ливенцев.

— Окопы вырыть? — и покачал многодумно вправо-влево седой головой Шангин. — Легко сказать: «окопы вырыть», а где именно? В каком расстоянии от моста?.. А вдруг попадем в болото?.. И как расположить роты? Три ли роты выставить в линию, одну оставить в резерве, или две вытянуть, а две в резерв?..

— Разве не дано точных указаний? — снова попытался уяснить дело Ливенцев.

— В этом-то и дело, что нет! В этом и вопрос, господа!.. Мне сказано только: «Действуйте по своему усмотрению». А что я могу усмотреть в темноте? Я — не кошка; а подполковник... А к утру у меня уж все должно быть закончено: к утру я должен донести в штаб полка, что закрепился.

— А если австрийцы нас пулеметами встретят? — мрачно спросил корнет Закопырин.

— В том-то и дело, что могут пулеметами встретить, — тут же согласился с ним Шангин.

— Когда же нам приказано выступить? — спросил Коншин.

— Сейчас надобно уж начать выступление, — ответил Шангин, и Ливенцев удивленно сказал, пожав плечами:

— О чем же мы говорим еще, если сейчас? Сейчас, — значит, сейчас. И будем двигаться на мост.

— «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду!» — неожиданно для всех продекламировал Тригуляев, и на этом закончилось обсуждение задачи.

Через четверть часа рота Ливенцева первой подошла к мосту. Ливенцев только предупредил своих людей, чтобы шли не в ногу и как можно тише, на носочках, точно собрались «в чужое поле за горохом»; чтобы не звякали ни котелками, ни саперными лопатками; чтобы шли совершенно молча; чтобы не вздумал никто, пользуясь темнотой, закурить самокрутку...

И рота пошла.

Зная, что мост был жиденький, Ливенцев вел ее во взводных колоннах с интервалами, и когда вместе с первым взводом перешел на тот берег и услышал, как вперевой били перепела в пшенице, то сам удивился удаче.

На всякий случай, первому взводу он приказал рассы-

паться в цепь. Мост охранялся, конечно, и за ним таился пост от первого батальона, правда, не больше отделения, так что когда подошел второй взвод, Ливенцев уже почувствовал себя гораздо прочнее, а когда собралась наконец вся рота, как-то само пришло в голову, что всю её нужно рассыпать, отойдя полукругом настолько, чтобы дать место другим трем ротам.

Он оказался в прикрытии батальона, он — в первой линии перед врагом, нападет ли тот утром или теперь же, ночью, — Ливенцев даже не предполагал в себе того, что одно это сознание даст ему такую четкость мысли и уверенность не только в своих силах, но и в силах и выдержке всех без исключения своих людей.

Едва наступило утро, Гильчевский отправился из Малеванки на свой наблюдательный пункт.

Канонада уже гремела на всем десятиверстном участке по реке Икве.

Обе дивизии располагали дивизионом тяжелых орудий каждая, но Гильчевский оставил в своей дивизии еще и восемь гаубиц, на что неодобрительно кивали командиры финляндских стрелков, говоря: «Конечно, своя рубашка к телу ближе!..» Несколько обижены они были и в легкой артиллерии: им Гильчевский дал всего тридцать восемь орудий, а в своей дивизии оставил пятьдесят шесть. Но он просто хотел уравновесить как-нибудь силы своих ополченцев с кадровиками...

Кроме того, в утро этого решительного в жизни своей дивизии дня он чувствовал себя как-то совсем неуверенно, несмотря даже и на то, что Федотов его как бы предпочел начальнику чужой дивизии, а может быть, благодаря именно этому.

С одной стороны, он мог торжествовать над командиром корпуса, который, только что попрекнув его тем, что он держит дивизию в кулаке, вполне потом с ним согласился, усилив его целой дивизией, а с другой — велика была сила внушения, испытанного в молодые годы: «Болотистая долина Иквы — почти непроходимая преграда», — так говорилось в академии, — значит, это знал и Федотов.

— Непроходимая, непреодолимая, неприступная, — как

там ни выразишь, все равно скверно, — говорил он Протазанову. — А «почти» — что же такое это «почти»? «Почти» может быть какого угодно веса, — смотря по обстоятельствам.

Обыкновенно бывало так, что начальник штаба 101 дивизии держался осторожнее, чем сам начальник дивизии. Но теперь, чувствуя сомнение в успехе, которое закралось в душу Гильчевского, Протазанов, этот подтянутый, всегда серьезный человек, с сухим красивым лицом, счел своим долгом уверенно сказать в ответ:

— Как бы кому ни икалось от этой Иквы, а мы сегодня австрийцев гнать от нее будем в три шеи!

Такая решительность, прорвавшаяся вдруг сквозь обычную осторожность, несколько успокоила Гильчевского, но когда они с конной группой человек в двенадцать выбрались на опушку леса, чтобы отсюда, спешившись, дойти до наблюдательного пункта на высоте 102, то невольно остановились. Вся высота была окутана розовым дымом: казалось, не было на ней места, где бы не рвались австрийские снаряды, и в то же время там, в скопе, сидели связные с телефонами.

— Вот так штука! — изумился Гильчевский. — Значит, кто-то им уже передал, что там у нас — наблюдательный пункт! — И добавил укоризненно: — А вы мне только что говорили!..

— За шпионами, конечно, дело не станет, да ведь и без того у них тут пристреляно, нужно полагать, все, — спокойно ответил Протазанов. — А наблюдательный пункт надо оттуда снять и перенести сюда.

— «Надо» — хорошее дело «надо», а как это сделать? Нужно, чтобы пошел туда кто-нибудь и снял связных, а кто же пойдет в такой ад? — прокричал Гильчевский.

— Кто пойдет?

— Да, кто пойдет? Кого послать?

И Гильчевский оглядел бегом всех около себя и так ощутительно почувствовал, что послать придется на явную смерть и, может быть, без всякой пользы для дела, что всех ему стало вдруг жаль. Он понимал, что приступ жалости — слабость, совершенно непростительная в руководителе боем, и в то же время отделаться от этой слабости не мог.

Вдруг Протазанов подкинул голову, поглубже надвинул фуражку на лоб и сказал решительно:

— Я пойду!

— Что вы, что вы! Как я могу остаться без начальника штаба!

Гильчевский испуганно схватил его за руку в локте, но Протазанов мягко отвел его руку.

— Ничего, — я в свою звезду верю.

И, не улыбнувшись, пошел четкой строевой походкой, как на параде, к розовой высоте, а Гильчевский напряженно-испуганно следил за каждым его шагом.

Остановить и заставить его вернуться было нельзя, — он понимал это, и в то же время вышло все неожиданно нелепо: начальник штаба дивизии жертвовал собой успеху дивизии, значит, он тоже не верил в успех без этой жертвы?

Беспокойство и неуверенность только усилились, а между тем показывать их перед чинами своего штаба было бы совершенно непростительно, — это понимал Гильчевский и сдерживал себя, как мог, следя за подходившим уже к высоте Протазановым.

Как раз в это время несколько человек конных показались в лесу близко к опушке, на той самой дороге, по которой только что добрался сюда сам Гильчевский. Он послал узнать одного из офицеров штаба, кто это и зачем, а сам все следил, идет ли еще или уже упал Протазанов: в дыму на горе этого уже нельзя было отчетливо видеть.

Приехавшие спешили и шли вместе с посланным офицером к нему, и Гильчевский подумал: не из штаба ли корпуса? Не прислал ли нового приказания Федотов?

Но подходил какой-то совершенно незнакомый полковник генштаба с двумя обер-офицерами. Мелькнула даже торопливая нелепо-странная мысль, не прислан ли к нему новый начальник штаба на место Протазанова, и он, Протазанов, это заранее узнал каким-то образом, но от него скрыл и, оскорбленный, решился на самоубийство.

Мысль была вздорная, однако Гильчевский яростно вззрился на подошедшего полковника и еще яростнее крикнул:

— Что, а? Вам что?

— Честь имею представиться, полковник Игнатов! — несколько обескураженный таким приемом, проговорил подошедший, но Гильчевский, не протянув ему руки, крикнул снова:

— Зачем?

— Из штаба армии, ваше превосходительство, — в замешательстве уже, хотя отчетливо, ответил Игнатов. — Разрешите поучиться у вас управлению боем.

— Управлению боем?..

Гильчевский скользнул глазами по обескураженному простоватому лицу полковника Игнатова, тут же отвел глаза к высоте 102, разглядел на ней сквозь расслоившийся дым Протазанова рядом с наблюдательным пунктом, облегченно сказал: «А-а! Пока браво!» — и только теперь протянул руку полковнику из штаба армии.

Но в следующий момент снова заволокло дымом Протазанова, — снаряды на холме продолжали рваться, — и, неуверенный уже в том, удалось ли начальнику штаба войги в окоп, Гильчевский резко бросил Игнатову:

— Сопроводительный документ из штаба армии извольте предъявить, поскольку я вас не знаю.

Поняв свою оплошность, Игнатов поспешно вытащил из кармана бумажку, о которой он совсем было забыл, а Гильчевский, взяв ее, продолжал неотрывно следить за высотой 102.

Канонада густо гремела сплошь, однако делались ли проходы в проволоке противника? К тем опасениям и сомнениям, которые овладели Гильчевским в это утро, прибавилось теперь еще и это: не видно было отсюда, как действует артиллерия, а высота, выбранная для наблюдательного пункта, оказалась под преднамеренно сильным огнем.

Так прошло около получаса, и когда Гильчевский уже хотел сказать вслух то, что все время вертелось в мозгу и жалило его: «Ну, значит, погиб, аминь!» — вдруг показался Протазанов, а за ним несколько связанных, нагруженных аппаратами и мотками проводов, которые они собирали проворно.

— Слава богу, жив! — крикнул Гильчевский, обращаясь непосредственно к полковнику Игнатову, который понял и восклицание это и сияние глаз начальника 101-й дивизии только тогда, когда сам увидел подходившего Протазанова.

— Слава богу, вы — молодец, конечно, вы — молодец! Но-о... но приказываю вам этого больше впредь не делать! — радостно кричал Гильчевский.

Однако с приходом Протазанова и связанных около него оказалась уже порядочная кучка людей, и ее разглядели со

своих холмов за рекой австрийские наблюдатели: вблизи начали рваться снаряды.

В то же время и наблюдательный пункт нужно было занять другой, запасной, хотя и не столь выгодный, как высота 102, с меньшим кругозором.

Удача Протазанова подняла настроение Гильчевского: стала уже мерещиться удача всей атаки.

Вот один полк начал цепями сходить с холмов в долину Иквы.

Гранаты и шрапнели рвались в цепях, но цепи шли быстро. Это было захватывающее зрелище торжества человеческого упорства в достижении цели. Видно было сквозь розовый дым, как валялись десятки людей то здесь, то там, но остальные двигались вперед с каждой минутой быстрее... Вот уже подошли к мосту и бегут через мост на тот берег...

— Это какой полк? Какой? — волнуясь, спросил Протазанова Игнатов.

— Это четыреста первый Карачевский... Там командир полка — Николаев, — ответил Протазанов спокойно.

Они с Игнатовым оказались однокурсниками по академии, но так плохо знали друг друга, даже просто не помнили один другого.

Гильчевский не переставал подозрительно относиться к Игнатову, как к соглядатаю, подосланному штабными, которых вообще не жаловал боевой генерал, говоря о них неизменно: «Ни черта не понимают в деле, а только интриги разводят, друг друга подсиживают да представляют себя взаимно к наградам!»

Но простоватое лицо Игнатова было непритворно удивленно.

— Этот полк, что же он, — первым пошел в атаку? — спрашивал он.

— Что вы, что вы, это — резерв! — недовольно кричал в ответ Гильчевский. — Ударные полки теперь уже на той стороне!.. На той стороне, а не на этой!

Не хотелось объяснять, что решить дело должны были два полка: 6-й — от финляндских стрелков и 404-й от его дивизии, и некогда было объяснять это, и не шли слова на язык.

В мозгу все вертелось: «Проходы, проходы... Пробиты ли проходы для штурма?..» Ничего на том берегу не было

своих холмов за рекой австрийские наблюдатели: вблизи начали рваться снаряды.

В то же время и наблюдательный пункт нужно было занять другой, запасной, хотя и не столь выгодный, как высота 102. с меньшим кругозором.

Удача Протазанова подняла настроение Гильчевского: стала уже мерещиться удача всей атаки.

Вот один пёлак начал цепями сходить с холмов в долину Иквы.

Гранаты и шрапнели рвались в цепях, но цепи шли быстро. Это было захватывающее зрелище торжества человеческого упорства в достижении цели. Видно было сквозь розовый дым, как валялись десятки людей то здесь, то там, но остальные двигались вперед с каждой минутой быстрее... Вот уже подошли к мосту и бегут через мост на тот берег...

— Это какой полк? Какой? — волнуясь, спросил Протазанова Игнатов.

— Это четыреста первый Карачевский... Там командир полка — Николаев, — ответил Протазанов спокойно.

Они с Игнатовым оказались однокурсниками по академии, но так плохо знали друг друга, даже просто не помнили один другого.

Гильчевский не переставал подозрительно относиться к Игнатову, как к соглядатаю, подосланному штабными, которых вообще не жаловал бсевой генерал, говоря о них неизменно: «Ни черта не понимают в деле, а только интриги разводят, друг друга подсиживают да представляют себя взаимно к наградам!»

Но простоватое лицо Игнатова было непритворно удивленно.

— Этот полк, что же он, — первым пошел в атаку? — спрашивал он.

— Что вы, что вы, это — резерв! — недовольно кричал в ответ Гильчевский. — Ударные полки теперь уже на той стороне!. На той стороне, а не на этой!

Не хотелось объяснять, что решить дело должны были два полка: 6-й — от финляндских стрелков и 404-й от его дивизии, и некогда было объяснять это, и не шли слова на язык.

В мозгу все вертелось: «Проходы, проходы... Пробиты ли проходы для штурма?..» Ничего на том берегу не было

видно из-за высокого хлеба, над которым навис иссиня-белый дым от своих снарядов. Но если не посчастливилось пробить проходы, значит, пропало все: растают полки от ближнего огня австрийцев.

Время шло. Канонада не слабела. Противник отстреливался ожесточенно.

Подходило уже к одиннадцати часам, когда вдруг заметно стало, что там, за зеленой равниной хлеба, к роще, потянулась небольшая кучка австрийцев, — человек сорок...

Это заметили в одно время и Протазанов и Гильчевский, но только переглянулись, отводя глаза от своих биноклей и тут же снова прильнув к стеклам...

Еще кучка левее... Правее тоже, и гораздо больше, чем первая...

Гильчевский опасался раньше времени поверить в успех. Он только сказал с виду безразличным тоном:

— Кажется, кое-где идут наши мадьяры рачьим ходом.

— Не отступить ли начали? — тем же тоном отозвался Протазанов, а Игнатов подхватил возбужденно:

— Что? Что? Победа, а? Победа?

Это раздосадовало Гильчевского. Он крикнул яростно:

— Какая там победа! Какой вы скорый!

В это время начальник связи, поручик Данильченко, отрапортовал, подойдя:

— Телефонограмма от полковника Ольхина, ваше превосходительство!

— А? Что? — встревожился Гильчевский.

— «Первый батальон мой обошел через мост позиции противника, ворвался в Красное и гонит австрийцев», — с подъемом отчеканил поручик.

— Ну вот, очень хорошо, очень хорошо... — обрадованно сказал Гильчевский, но тут же добавил, строго глядя на Игнатова: — Хорошо что, собственно? Хорошо, что саперы успели поправить мост там сгоревший, — вот что! Вот мост и пригодился для дела...

И, вспомнив тут же слова донесения «гонит австрийцев», обратился к Протазанову:

— Гонит австрийцев в каком же направлении, а? Ведь вон они отступают прямо на запад, а должны бы отступить на юг!

— Это не от Красного отступают, — сказал Протазанов. — Это гораздо левее.

— Разумеется, разумеется, это уж наши их так!.. Передать на батареи, чтобы открыли по ним заградительный огонь!

Не больше как через десять минут доносил и полковник Татаров, что его передовые роты выбивают мадьяр из окопов и берут пленных.

И только после этого донесения посветлело лицо Гильчевского, и он сказал Игнатову:

— Ну вот, это еще не называется успехом, но, пожалуй, пожалуй, что мы уже толчемся где-то около него, стучим ему в двери, — дескать: «Отворяй, чорт тебя дери, на всякий случай!»

Однако сила внушения была все еще так велика, что не поддавалась в нем воздействию первых признаков успеха, тем более, что он видел вереницы раненых, которые шли по долине реки к своим перевязочным пунктам. Вместе с ранеными уходили, конечно, и трусы, но легко было представить и множество тяжело раненных и убитых перед окопами противника и в самых окопах.

Наконец, дрогнувший в начале враг мог оправиться потом и защищаться так упорно, что даже отданные им окопы могут быть отбиты снова. Хорошим признаком считал он про себя то, что артиллерийский огонь противника как будто слабел, но поделиться с кем-нибудь около себя этим восприятием он пока еще не решался. Он старался только сохранить спокойный вид, побороть волнение и для этого тоном напускного равнодушия говорил:

— Пока еще бабушка надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

5

По сравнению с другими прапорщиками в четвертом батальоне Ливенцев считался более опытным, однако и ему не приходилось никогда, ночью, с трудом, шаг за шагом, пробираясь по кочковатой долине, где местами хлюпала под ногами грязь, вести роту.

Сзади, у воды, урчали лягушки, спереди, в хлебах, били перепела, но противник молчал; однако молчание это могло в любой момент разорваться сверху донизу очередями пулеметов и частым огнем винтовок а то и легких орудий.

Впереди, конечно, шли патрули, но Ливенцев опасался,

что они или преждевременно поднимут тревогу, или сознательно будут пропущены цепью противника вперед.

Однако чем дальше от моста продвигалась рота, тем меньше становилось опасений у Ливенцева, и когда прошли наконец долину реки и начали подниматься к хлебам, то совершенно твердо, как будто не свою только роту, а целый батальон он вел, Ливенцев решил продвинуться настолько, чтобы сзади довольно осталось места для остальных рот.

О хлебах ничего не говорил Шангин, но Ливенцев, наблюдая эти хлеба днем, еще тогда про себя подумал, что они, такие высокие и густые, могли бы, как кустарники, надежно укрыть целые полки. И хотя благодаря неожиданной смене командира полка никому не удалось разобраться как следует в поставленной начальником дивизии задаче, но Ливенцеву казалось неопровержимым, что другого решения быть не может.

И вот хлеба. Пшеница. Местами по пояс, местами по грудь ему, человеку выше среднего роста. Она очень густая, от росы мокрая и душно пахнет. Если идти по ней осторожно и не колонной, а цепью, то она будет не слишком и примята, а утром, когда высохнет, даже может и выпрямиться.

Ливенцев сделал все, чтобы рота его продвинулась в хлебах и залегла, пустив в дело лопатки. Земля была рыхлая и поддавалась легко. Для связи с ротой Коншина он отрядил одного ефрейтора с рядовым, но примет ли четырнадцатая вправо или движется влево от его роты, не знал. Когда же определилось, что она будет у него справа, то почему-то (он не отдал себе отчета, почему именно) это было ему приятно. Пятнадцатая с легкомысленным Тригуляевым выдвинулась левее, — таков был приказ Шангина, который остался при шестнадцатой, в резерве.

В старинном, многовековом черноземе камней не было: камни лежали грядами на спусках в долину реки; лопатки не звякали; люди работали старательно и споро, — это наблюдал Ливенцев. Он не сидел на месте, — он беспокоился и беспокоил, обходя роты в цепи, и не напрасно делал это: троих пришлось ему растолкать. — они заснули, улегшись на росистый хлеб, и забыли о том, что надобно окопаться.

Подозрительным казалось Ливенцеву и то, что мадьяры из стреляли. Это можно было объяснить и тем, что окопы их были еще довольно далеко, — не меньше полуверсты. —

и тем, что они теперь спали, готовясь к бою утром наконец, что не придавали большого значения русским через Икву, надеясь на силу своего огня.

«Разумеется, — думал Ливенцев, — если они готовят нам разгром, то для них удобнее прижать нас потом к реке, чем самим переходить ее под нашим огнем, хотя бы и ради преследования...» Это соображение, впрочем, не только не пугало его, но, напротив, придавало ему больше устойчивости, так как он верил в удачу.

Главное, его мозг математика постигал, хотя и отчасти только, какой-то отчетливый ход мысли этого светлоглазого чернобрового старика, начальника дивизии, который понравился ему еще с первого смотра в начале апреля.

Он в него поверил тогда и сейчас ему верил. Он понимал, что мост необходим для переброски на этот берег нескольких тысяч людей и что его рота вместе с другими тремя пока что должна охранять этот мост от возможного натиска мадьяр. Оставалось только ждать этого натиска до рассвета, когда, как обычно, загремят пушки.

Когда против левого фланга роты Тригуляева поднялась было ружейная пальба, Ливенцев подумал встревоженно: «Неужели атака?», но в то же время быстро передал своим, чтобы не стреляли до его команды.

Было не то, что бы совершенно, темно, хотя луна не появлялась и облака проходили низко: от звезд, пробиваясь сквозь облака, шел все-таки небольшой свет, — в двух-трех шагах можно было узнать хорошо знакомого человека.

Стрельба у Тригуляева быстро прекратилась и потом, вплоть до рассвета, не подымалась вновь нигде в цепях. А до рассвета время не тянулось для Ливенцева, потому что рота выполняла приказ закрепиться, и рассвет подошел, — так ему показалось — гораздо быстрее, чем можно было бы его ждать.

И тут же вслед за рассветом началась канонада.

Это вышло торжественно и строго: начали свои орудия сразу и уверенно, как сознающие свою силу, как передатчики этого сознания силы своим ротам, залегшим в хлебах на страже двух мостов через Икву.

И потом час и два и три чертили в небе над головой расчисленные дуги снаряды, свои и чужие. Иногда слышен был их полет сквозь залпы и разрывы, как бывает слышен свист голубиных крыльев сквозь городской шум.

Подобравшись сзади, укрытый в полусогнутом положении стеною пшеницы, Некипелов сказал Ливенцеву:

— Как приказано, Николай Иванович: нам ли первым в атаку идти, или мы пропускать другие роты должны?

Вопрос был по существу, и небольшие лесные глаза сибиряка смотрели серьезно.

— Никаких на этот счет приказаний не было, — ответил Ливенцев. — Может быть, и нам, может быть, и другим, а в общем, конечно, придется всем.

— Я потому это спрашиваю, что идут уж наши, — кивнул головой назад Некипелов.

Оглянулся Ливенцев, — действительно, роты подходили уже цепями к мосту.

— Вот когда будут бить по мосту австрийцы! — сказал он с большой тревогой.

— Однако ничего, — отозвался на это Некипелов. — Бегут сюда по мосту наши!

Пальба русских батарей усилилась, австрийские отвечали им реже, слабее, — так воспринимало ухо, но Ливенцев боялся поверить этому: может быть, ему просто хочется, чтобы так именно было, а на самом деле нет этого?

— Чья артиллерия сильнее бьет? — спросил он Некипелова.

— Выходит, однако, наша сильнее, — уверенно ответил сибиряк.

— Ну, значит, будем готовиться к перебежке частями! Не может быть, чтобы новые роты шли дальше, а мы что-то лежали... Они на наше место, а мы вперед... Тогда я подам команду... Идите пока ко второй полуроте.

Ливенцев говорил это спокойно. Он и был спокоен. Наступали очень большие, решительные, может быть последние минуты жизни, но не было ни сосущей под ложечкой тоски, о которой он слышал от других, когда лежал в госпитале, ни нервической дрожи, которая тоже будто бы охватывает все тело и которую надо побороть, чтобы овладеть собою и быть в состоянии действовать.

Он владел собою. Он вспоминал первый штурм, когда много было затрачено каких-то не поддающихся определению усилий нервов и мысли, чтобы подготовиться к настоящему бою, но тогда занесенная для боя рука опустилась скромно и немного даже стыдливо: бой был решен другими. Теперь повторялась во всем теле та же самая собран-

ность, которая появилась тогда, и острота зрения такая, что Ливенцев вспомнил прапорщика Коншина и подумал: «Как же он будет вести своих в атаку, если он — в пенсне?»

Ливенцев даже поймал себя на том, что теперь, с этой минуты, ему досадно, что именно так вышло, — что командует ротой по соседству с ним хотя и толковый человек, но в пенсне. А вдруг потеряет он пенсне или высокая пшеница сдернет его с носа, что он будет делать тогда? Не различит своих солдат от австрийских!

Фельдфебель Верстаков, с того времени как увидел его в первый раз в марте Ливенцев оплывшим наподобие свечного огарка, давно уже подобрался, — «вошел в свою норму», как говорил о себе не без важности он сам.

Он оказался исполнительным, быстро соображающим человеком, способным понимать своего ротного с полуслова, как это умеет делать большинство фельдфебелей.

Ливенцев шутил иногда, что фельдфебелями люди рождаются так же, как и поэтами.

Теперь Верстаков, тоже весь полный ожиданием решительной минуты, занял место ушедшего ко второй полуроте Некипелова и, как до него подпрапорщик, поминутно оглядывался назад и считал своим долгом докладывать, хотя Ливенцев видел это и сам:

— Еще батальон поспешает!.. Это, похоже, второй... Значит, они в обратном порядке... А потом пойдет первый...

Когда дoloжил он:

— Ваше благородие, третий батальон добегает к нам! — Ливенцев почувствовал, что наступила решительная минута, что надо идти вперед.

Команды «вперед!» не было дано, но она уже как бы повисла в воздухе, оставалось ей только зазвучать, как звучит телеграфный провод, натянутый между столбами. И она прозвучала.

— Перебежка частями! Первый взвод начинает! — прокричал Ливенцев, вынимая свисток.

Ему казалось, что он командовал едва ли не громче, чем надо было, однако команду эту расслышали только ближайшие к нему солдаты первого взвода, и Верстаков метнулся от него в сторону тех, до которых она не дошла из-за грохота орудийных выстрелов и разрывов снарядов, так как обстрел не только не прекращался, а даже усилился.

Гильчевский держался и теперь того, что дал ему опыт недавнего штурма, тем более, что он знал, как далеко от окопов противника закрепились ночью батальоны.

Кругозор Ливенцева был гораздо уже, хотя сам он находился ближе к врагу.

Ливенцев видел высокие черные фонтаны взрывов русских тяжелых снарядов над австрийскими окопами, однако, он не знал, пробиты ли легкими снарядами и где именно, если пробиты, проходы в колючей проволоке.

При штурме позиций на высоте 100 действие артиллерии было видно издали, так как там укрепления противника шли по скату высоты в два яруса; здесь же высокая пшеница и складки местности скрывали и окопы и заграждения перед ними.

После бомбардировки, длившейся с раннего утра, то есть несколько часов подряд, можно было ожидать, что раздавлены все пулеметные гнезда мадьяр, но, чуть только началась перебежка взводами, застрекотали пулеметы.

К батальону под утро пришли два артиллериста, наблюдатели, оба прапорщики, со связными, но один из них остался при роте Коншица, другой при роте Тригуляева, где местность была повыше. Они передавали по телефону батареям, тяжелым и легким, как ложились снаряды, но уничтожены ли пулеметные гнезда, этого не могли, конечно, определить и они.

Ливенцеву не пришлось учить свою роту перебежкам на лагерном плацу, и он не был даже уверен, будут ли бежать вперед его люди под огнем пулеметов, но теперь видел, что они бежали, разбирая на бегу руками густую пшеницу и пригнувшись, бежали деловито, не останавливаясь, пока не раздавался свисток взводного, как это и требовалось по уставу, и потом вытягивались и прижимались головами к земле.

После он объяснял себе это тем, что батареи посылали снаряд за снарядом и иные из этих снарядов удачно накрывали пулеметы; тем также, что бежать солдатам пришлось под прикрытием пшеницы, а не по открытому месту, что было бы неизмеримо труднее; наконец, и тем, что бежали и справа и слева от них, по всему берегу реки, что бежали и сзади, им в затылок, что в атаку шли тысячи людей, — и как же можно было выпасть куда-нибудь из такого стремительного людского потока?

С другой стороны, и огонь пулеметов был как-то вял и слаб по сравнению с тем, что пришлось испытать несколько больше полугода назад Ливенцеву в Галиции.

Он старался отбросить мысль, что раз атака началась издалека, то австрийские пулеметчики поджидали, когда цепи придвинутся ближе.

Некогда было ему думать о чем-нибудь другом, кроме как только об этом: как, в каком порядке бегут люди? Сколько еще осталось перебежек до штурма? Есть ли там, в заграждениях, проходы или их придется пробивать еще ручными гранатами?..

Теперь он держался сзади. — не вел роту, а направлял ее. На него же, обгоняя мешкотную, как ее толстый командир, шестнадцатую роту, напирала люди третьего батальона.

«Ну, пропала пшеница, — потопчут!» — думал он бодро, видя такую стремительность. После нескольких перебежек начали попадаться воронки от первых недолетевших снарядов. Наконец видны стали колья и местами повисшая, местами туго натянутая, ржавая проволока на них. Это были не те проходы, которые он видел три дня назад, но все-таки он сказал самому себе успокоительно: «Ничего!», тем более, что в них все-таки еще рвались снаряды, значит, минута штурма еще не наступила.

Окопы передовые, как и укрепления второй линии, сооруженные австрийцами еще прошлым летом, теперь заросли травой, по высоте своей не уступающей пшенице, но от действия снарядов все было перебуравлено там: странно-белесыми, опаленными клочьями торчала эта трава из-под засыпанной ее то черной, то глинистой земли; торчали в разные стороны разбросанные и перебитые колья; не были издали заметны, но чувствовались по буграм земли объемистые воронки, через которые надо будет бежать, где герескакивая через них, где их минуя.

Но вот заметно стало, что перестали рваться снаряды вблизи, что они молотят только вторую линию... Все в Ливенцеве напряглось в ожидании сигнала к штурму. — и сигнал этот он услышал.

нию укреплений, куда уже стремились кучки солдат четырнадцатой роты и где уже перестали рваться снаряды своих батарей.

Ливенцев скользнул глазами по этим кучкам, надеясь увидеть Коншина, но не увидел и крикнул туда:

— Эй! Четырнадцатая рота! А ротный командир ваш где?

Там остановился какой-то ефрейтор, поглядел на Ливенцева и вывел тонко и жалобно:

— Ротный командир наш? У-би-тай! — махнул рукой, покрутил головой и побежал дальше догонять других.

Ливенцев непроизвольно сделал рукой тот же жест, что и этот ефрейтор, добавив:

— Вот жалость какая!

Как раз в это время поровнялся с ним спешивший тоже вперед прапорщик-артиллерист, наблюдатель.

— Послушайте, прапорщик! — обратился к нему Ливенцев. — Вот рядом в четырнадцатой роте убит ротный командир, — не возьмете ли ее под свое покровительство?

Прапорщик этот, светловолосый, потнолицый, с расстегнутым воротом рубахи, но бравого вида, был поняглив. Он ничего не расспрашивал у Ливенцева, он спешил. У него оказался звонкий голос. На быстром ходу прокричал он:

— Четырнадцатая рота, слушать мою команду! — и, только оглянувшись на двух связанных, спешивших за ним и тянувших провод, тут же побежал впереди десятка солдат четырнадцатой роты, потерявшей своего командира.

А не больше как через пять минут Ливенцев услышал новые залпы своей артиллерии: это был заградительный огонь, который приказал открыть Гильчевский, чтобы задержать бегство мадьяр на участках, атакованных Ольхиным и Татаровым.

Теперь уж штабу 101 дивизии можно было перейти не только на облюбованную Раньше Гильчевским для наблюдательного пункта высоту 102, но и гораздо ближе к Икве, на высоту 200, находившуюся против деревни Баболоки, однако в этом больше не было нужды: руководство боем закончилось, так как закончился бой.

Это было в начале двенадцатого часа. Заградительный огонь подействовал на значительные толпы отступавших,

которые сначала остановились, потом повернули назад, чтобы сдать. Однако основные силы мадьяр все-таки уходили на юго-запад и уходили быстро.

— Эх, конницу бы нам теперь, кон-ни-цу! — почти сто-нал от бессилия Гильчевский. — И вот же всегда так бы-вает с нами: когда полжизни готов отдать за один полк ка-валерии, видишь только хвосты своей ополченской сотни.

При дивизии была и оставалась без переименования опол-ченская конная сотня с поручиком Присекой во главе. Ее пускали в дело для конных разведок, из нее брали орди-нарцев, при ней содержались верховые лошади штаб-офи-церов, но больше из нее ничего нельзя было выжать.

— Поздравляю, ваше прѣвосходительство! — с искренним восхищением, преобразившим его простоватое лицо, говорил Гильчевскому Игнатов. — Я видел прекрасное руководство боем!

— Ну, что вы там видели, — ничего вы не видели, оставьте, пожалуйста! — отмахивался Гильчевский. — Сна-чала вам нужно увидеть настоящих героев этого боя, а их мы с вами увидим, если сейчас поедем в Торговицу, оттуда в Красное, а потом вдоль фронта... И непременно, непре-менно передайте в штабе армии, что... Я не знаю, конечно, может быть, казалерийские дивизии выполняют сейчас го-раздо более важные задачи, — этого я не знаю, но то, что одной из них нет сейчас здесь, это — большое упущение, это — непростительная ошибка чья-то, чья-то! — вам луч-ше, чем мне, знать, чья именно!

С высокого берега, в Торговице, около церкви, где чуть было не был убит он дня два назад, Гильчевский наблюдал движение уже последних арьергардных частей противника, скрывавшихся за дальними рощами. Считая беспорядочное преследование отступающих пехотными частями, потерявши-ми притом многих своих офицеров, совершенно излишним для дела и даже небезопасным, Гильчевский запретил его. В то же время к Торговице приказано было им собирать пленных, взятых в деревне Красной 6 Финляндским полком и на фронте всей 101 дивизии.

Пленных еще вели и вели с той и с другой стороны, но и теперь уже они заполнили всю базарную площадь ме-стечка и ближайшие к ней улицы, и теперь уже, до полного подсчета, видно было, что их гораздо больше, чем оказа-лось после штурма 24 мая. При этом получалось так, что

один 6-й полк набрал пленных не меньше, чем вся 101-я дивизия, что несколько даже смутило Гильчевского.

По тому самому мосту, который чуть было не сгорел, но потом очень успешно был восстановлен саперами, Гильчевский и все, кто был с ним в кавалькаде, двинулись в Красное. Однако чем ближе подъезжали, тем меньше радовались.

— Эге-ге, — сказал Протазанов, — тут жаркое было дело!

Деревня дымилась в нескольких местах, хотя пожары, видимо, тушились. Много домов было разрушено артиллерией австрийцев. Разбитая черепица, слетевшая с крыш, краснела всюду на улицах. Тела убитых русских солдат попадались часто. Их сложили санитары возле домов; тут же над тяжело ранеными они хлопотливо натягивали полотна палаток, чтобы защитить их от полуденного зноя, пока явится возможность перевезти их, куда прикажет начальство.

На выезде из этой, до сражения очень благоустроенной, большой деревни с каменными домами стали попадаться рядом с телами солдат Финляндского полка тела австрийских солдат, и чем дальше, тем было их больше и больше... и тяжело раненные стонали тяжело для слуха.

— Тут была рукопашная! — сказал Гильчевский. — Мадыяры тут отчаянно защищались!

Дорога от Красного на запад была очень оживлена: двигались группы солдат туда и оттуда, шедшие оттуда сопровождали пленных мадыяров и своих раненых. Издалека заметил Гильчевского полковник Ольхин, бывший верхом, и подскочил к нему.

— Вот видите, кто настоящий герой этого дня! — Вот кто! — обратился несколько торжественно Гильчевский к Игнатову, когда Ольхин был уже близко.

— Ольхин? Я его хорошо знаю: вместе состояли в штабе армии, — улыбаясь, сказал Игнатов.

Большая вороная, сильная на вид лошадь Ольхина бежала однако с трудом: она была ранена пулей в мякоть правой задней ноги. Но не только у лошади, — у самого Ольхина был тоже перетруженный, усталый вид: он, такой обычно бодрый и деятельный, едва шевелил теперь пересохшими губами. Он даже не улыбнулся, здороваясь с Игнатовым, хотя силился улыбнуться.

Свой рапорт Гильчевскому он начал с того, что его более всего удручало:

— Доношу вашему превосходительству: еверенный мне полк понес большие потери... Они еще не вполне подсчитаны, не приведены в полную известность, но не меньше... не меньше, как тысяча человек!

— Тысяча человек? На полк, — да, много, — сказал Гильчевский.

— Третий полка, ваше превосходительство. но... но трудно было и ожидать таких контр-атак, какие пришлось отбивать полку, — продолжал, с трудом подбирая слова, Ольхин. — Было пять контр-атак!.. Деревня Красное была занята полком с налету еще в шесть часов, но потом пошли настоячивые контр-атаки, одна за другой... Это оказалась очень укрепленная позиция; противник придавал ей очень большое значение... Правда, потом было взято много пленных...

— Сколько именно пленных? — спросил Гильчевский.

— Не вполне подсчитаны и пленные, ваше превосходительство, они еще продолжают прибывать... Последняя круглая цифра — две тысячи шестьсот человек.

— Ну, вот видите, как! — обратился Гильчевский к Протазанову. — Где наибольший успех, там не могут быть ничтожными и потери, — что делать, это — закон. Во всяком случае тут был левый фланг австро-германских позиций, и он был опрокинут и обойден шестым Финляндским стрелковым полком, выдержавшим (Гильчевский говорил это так, будто диктовал своему начальнику штаба донесение в штаб корпуса) несколько ожесточенных контр-атак противника за время с шести до одиннадцати часов, когда противник был окончательно сломлен и потерял, кроме убитых и раненых, пленными до трех тысяч... Ну, честь вам и слава! — обратился он к Ольхину и протянул ему руки для объятия.

Когда потом кавалькада двинулась дальше вдоль взятых позиций, в сторону участка 101 дивизии, Игнатов говорил возбужденно:

— Прошу извинения, ваше превосходительство, но я напросился к вам по своей доброй воле, исключительно, чтобы поучиться, как действовать в бою... Я совсем не намерен оставаться на работе в штабе!

— А-а! — протянул Гильчевский и посмотрел на него го-

раздо более приветливо, чем за все время, которое провел с ним рядом.

— Теперь же тем более, когда полковник Ольхин оказался таким герсем...

— Подождите, я вам покажу скоро другого полковника-героя, — бесцеремонно перебил его Гильчевский, не любивший высокопарности.

Другой полковник-герой был Татаров, перебросивший один из своих батальонов на другой берег Иквы, к деревне Рудлево, и прорвавший своим 404 полком австрийские позиции. Однако до места прорыва от Красного было верст пять, — весь участок 6 дивизии, — и эти пять верст нельзя было проскакать галопом. Это были версты подвигов и потерь, торжества и учета, а главным образом, сощих сожалений, что разбитый враг ушел и преследовать его так же, как преследовали 24 мая, с большим рвением, но без всякой надежды догнать его раньше, чем он дойдет до заранее заготовленных, еще год назад, позиций, нет никакого смысла.

— Эх, если бы у нас была кавалерия! Вот бы пустить ее в погону! — говорили Гильчевскому офицеры финляндских стрелков.

— А вот у нас тут есть полковник из штаба армии, — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Достаточно ли у нас в восьмой армии кавалерии?

Игнатов ответил на этот вопрос без колебаний.

— Мы в штабе считаем, что вполне достаточно. Прежде всего, у нас две кавалерийских дивизии — седьмая и двенадцатая.

— Кто начальники дивизии той и другой?

— Седьмой дивизией командует генерал Гилленшмидт, двенадцатой — генерал Маннергейм.

— Та-ак-с! — многозначительно протянул Гильчевский. — Но все-таки где же они сейчас и чем заняты?

— Обе на Луцком направлении... Да ведь генерал Каледин сам кавалерист. Можно думать, что он даст им возможность проявить себя в лучшем виде, — политично ответил Игнатов.

— Да, да, да, да, всеконечно! — с явным раздражением отозвался на это Гильчевский. — Будем думать, будем думать, — больше нам ничего и не остается!

Татаров передавал по телефону на наблюдательный

пункт, что прорыв удалось осуществить в районе пасеки, и, подвигаясь к участку своей дивизии, Гильчевский искал глазами эту пасеку. Однако определить теперь, где именно до бомбардировки находилась пасека, было трудно; гораздо легче оказалось увидеть Татарова, так как он сам шел навстречу своему командиру.

Он шел привычным для себя строевым шагом, слегка придерживая левую руку как бы на эфесе шашки, хотя шашки у него и не было.

Так как о прорыве он доносил уже, то теперь он сказал только:

— Ваше превосходительство, действиями вверенного мне полка противнику нанесен большой урон. Трофеи полка приводятся в известность.

— Благодарю за отличную службу отечеству! — торжественно, держа руку у козырька, повышенным тоном сказал Гильчевский.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — по-солдатски четко ответил на это Татаров.

Гильчевский легко спрыгнул со своего серого с секущейся шеей, а вслед за ним то же самое сделали и Протазанов, и Игнатов, и другие, кроме ординарцев, которые ожидали на это особого приказанья.

В 404 полку Гильчевский пробыл довольно долго, расспрашивая Татарова, как велась им атака на позиции у пасеки, как удалось достичь успеха, какие роты особенно отличились, много ли понесли они потерь...

Объясняя свои действия, Татаров сказал:

— Так как я заранее был извещен, чтобы преследованием разбитого противника не увлекаться, то приказал тут же после прорыва двум ротам идти вдоль окопов противника влево, в сторону четыреста второго полка...

— Ага! Вот, — подхватил Гильчевский, — что и облегчило задачу полку, командир которого оказался трус, и я его, конечно, отчислю, какие бы сильные протекции он ни имел!.. Подробнейший список офицеров и нижних чинов, достойных награды, прошу мне представить сегодня вечером, — добавил он, — а представление к награде вас я сделаю сам.

И, посмотрев на героя-полковника проникновенным долгим взглядом, начальник дивизии не смог удержаться, чтобы не поцеловать его в сухие губы.

Когда Ливенцеву передан был приказ, что преследование противника отставлено, и когда все пленные мадьяры, захваченные его ротой, а также и свои и австрийские раненые были уже им отправлены в направлении к Торговице, он начал приводить в известность состояние роты, но не забыл при этом и прапорщика Обидина, о котором не знал еще, успели мадьяры увести его в плен или он, Ливенцев, помешал все-таки в этом и им и Обидину.

Подозвав к себе Кузьму Дьяконова, он сказал ему:

— Вот что узнай мне сейчас: ротный командир одиннадцатой роты где сейчас находится?

— Одиннадцатой, ваше благородие? — Дьяконов посмотрел в сторону того самого входящего угла австрийских окопов, понимающе качнул головой и добавил несколько понижив голос: — Стало быть, этот самый, ваше благородие?

— Ну, да, этот самый, только ты об этом ни слова никому, а только спроси, будто я тебя и не посылал... Может, у тебя земляк какой в одиннадцатой, тогда о нем сначала спроси, а после того уж, вроде как между прочим: «А ротный ваш жив?»

— Понимаю, ваше бродь... Слушаю! — очень оживился Дьяконов. — Я туда живой рукой добегу и отразу обратно.

Действительно, он не мешкал. Ливенцев не успел еще разобрататься во взводах и отделениях, которые строились впереди скопов и где унтер-офицеры устанавливали вместе с фельдфебелем и Некипеловым, сколько осталось в строю, кто убит, кто ранен, как явился Дьяконов, имевший заговорщицкий вид и ставший в сторонке.

— Ну, что? — спросил, подойдя к нему, Ливенцев.

— Не успели увойтить! — вполголоса доложил Кузьма.

— Налицо, значит? Вот как!.. И не ранен? — удивился Ливенцев.

— Спытывал, ваше благородие, я там двух, ну, говорят, под фланговый огонь попали, так что рану какую-сь имеют они, ротный ихний... — еще таинственнее сообщил Дьяконов.

— У кого узнавал? Не у тех ли, кто с ротным был?

— Так точно, у раненых тоже.

— Они что же, не видели, значит, кто в них стрелял?

— Поэтому, выходит, так: не заметили.

— Ну, чорт с ними со всеми, — пусть их отправляют лечиться!.. Иди, становись в строй.

Когда Гильчевский, заканчивая объезд взятых его дивизией позиций, остановился перед тринадцатой ротой, Ливенцев встретил его впереди развернутого строя зычной командой:

— Рота смиренно!.. Равнение на-лево — и сам стал на правый фланг.

Поздоровавшись с ротой, Гильчевский поздравил ее с победой, как и все другие части раньше. Рота отвечала бодро, а начальник дивизии, присмотревшись пристальней к Ливенцеву и припомнив его, вдруг обратился к нему, улыбаясь:

— А-а, боевой, боевой прапорщик, — помню! Ну-ка, подойдите с рапортом!

Это обращение не смутило Ливенцева; он только отметил про себя, что уже слышал от него французское ударение в слове «рапорт». Он подошел шага на три и проговорил без запинки, точно прочитал заранее заготовленное:

— Ваше превосходительство! Вверенная мне тринадцатая рота, закрепившись с ночи за рекой в виду противника, первой в полку начала атаку на приходившиеся против нее окопы противника, которые и заняла, взяв при этом сто сорок шесть человек нераненых в плен и понеся следующие потери: два унтер-офицера убиты, два ранены; ефрейторов и рядовых убито десять человек, ранено тяжело девять и легко семнадцать. Вполне исправного оружия взято у противника триста двенадцать винтовок и три пулемета.

Он не знал, в том ли порядке, какой требуется, все перечислил, а также не успел узнать, так ли велики и потери и трофеи в других ротах, и думал услышать надлежащую оценку их от самого начальника дивизии, но тот спросил вдруг как будто даже недовольным тоном:

— А пропавших без вести сколько?

— Ни одного, ваше превосходительство! Все живые и убитые точно приведены в известность! — ответил Ливенцев, несколько даже вздернутый вопросом генерала, который ему так понравился с первого дня своей деловитостью.

— А список отличившихся нижних чинов можете составить? — снова строгим тоном спросил Гильчевский.

— Так точно, ваше превосходительство!

— Каков, а? — довольно и как будто даже несколько удивленно обратился к Протазанову Гильчевский, поджив-

нув подбородком, и тут же — к Ливенцеву: — Ваша фамилия, прапорщик?

— Ли-вен-цев, ваше превосходительство.

— Запишите прапорщика Ливенцева, командира тринадцатой, — сказал Гильчевский своему старшему адъютанту, чина которого не разобрал на погонах Ливенцев, но у которого в руках заметил и записную тетрадь и карандаш лилового цвета.

Тут же после того, как уехал дальше Гильчевский, Ливенцев начал составлять список отличившихся, и когда дошел до Кузьмы Дьяконова, то снова вспомнил Обидина.

— Тяжелая или легкая рана у этого... ротного одиннадцатой? — спросил он Кузьму, опять отозвав его к сто-ронке.

Кузьма виновато мотнул головой:

— Не могу этого знать. — не спытывал.

— Чудак! Что же ты такой простой вещи не догадался спросить?

— Могу счас добежать. — тут разве даль какая?

— Нет уж, не надо, так и быть... Нечего бегать, — после узнается. Иди.

Действительно, стало как-то совсем не нужно Ливенцеву подлинно знать, тяжело или легко ранен Обидин. Если даже ни то, ни другое, а третье, — то есть серьезно, то, значит, его счастье: скорее, чем окончилась бы война и его вернули бы из плена, увидится он со своей невестой или даже женится на ней, на Вере Покотиловой из города Касимова на Оке.

Вспомнив про оставленную им бумажку с адресом, Ливенцев вынул ее из кармана и изорвал в клочки. Тут же после этого на другой бумажке, заготовленной им для Натальи Сергеевны, он добавил несколько слов: «Был в бою на р. Икве; пока невредим».

Он вполне добросовестно думал несколько минут, что бы такое еще можно было сюда добавить, но ничего придумать не мог. Впрочем, если бы ему и удалось написать длинное письмо, то он не знал бы, каким образом его отсюда отправить, когда, по всем видимостям, и стоять здесь не предполагалось совсем: нельзя было давать разбитому врагу возможности восстановить свои силы.

Приказ дивизии идти в порядке, полк за полком, к деревне Бокуйме, расположенной на шоссе, ведущем в исто-

рическое местечко Берестечко, был отдан Гильчевским тут же, как он объехал все взятые позиции.

В разведку вперед была послана конная сотня, но в соприкосновение с противником она в тот день не вошла: остатки мадьярских полков бежали быстро к реке Пляшевке, впадающей в ту же Стырь. Там были старые австрийские позиции, и туда от Стыри подходили к ним подкрепления.

Собрались к вечеру за Иквой и все полки дивизии финляндских стрелков, но собрались также над всем расположением обеих дивизий и густые черные тучи.

Войска были утомлены, — им не пришлось отдыхать предыдущую ночь, — а вполне заслуженный ими отдых в эту ночь отняли у них гроза и ливень.

Древня Бокуйма была не так велика, чтобы в ней можно было разместиться большому отряду, в ней ночевали только штабы обеих дивизий.

Ливенцеву, как и другим офицерам, пришлось довольствоваться плохо натянутой походной палаткой и утешаться тем, что ливень оказался не затяжной и промочил его не до костей.

А утром, едва щедрое на тепло солнце конца русского мая обсушило многотерпеливых солдат, пришло в штаб-квартиру Гильчевского распоряжение комкора Федотова — 101 дивизии оказать содействие 3 дивизии, расположенной по соседству.

Эта дивизия входила в 17 корпус, а 17 корпус в свою очередь числился уже не в восьмой армии у Каледина, а в одиннадцатой — у Сахарова.

— Позвольте, что же это такое? — недоумевал Гильчевский. — Перед третьей дивизией, как и перед нашей, одна и та же река Пляшевка, — говорил он Протазанову, — почему же содействие должны оказывать мы ей, а не она нам, — не понимаю! Что же мне — в награду за победу на Икве становиться в подчиненное положение к начальнику третьей дивизии, который никаких, кажется, подвигов не совершил?

— Разумеется, Константин Лукич, надобно уточнить, в чем, собственно, дело. — согласился с ним Протазанов и вызвал к телефону начальника штаба корпуса.

Вопрос выяснился далеко не сразу, так как и в штабе корпуса он был еще не совсем ясен. А когда выяснился

вполне, Протазанов, человек вообще сдержанный и к пафосу не склонный, обратился к своему начальнику с торжественным видом:

— Честь имею поздравить, ваше превосходительство! Командуемая вами дивизия признана в штабе Юзфронта ударной, а благодаря ей ударным становится весь тридцать второй корпус и прикомандирован к одиннадцатой армии для большей успешности ее действий.

— А-а, на гастроли, на гастроли, значит, нас, ополченскую дивизию, приглашают, вот оно что! — потер руки Гильчевский, прошелся взад и вперед по комнате и добавил: — «Дождались мы светлого мая!» — так пелось когда-то в детской песенке, но май-то уж вот-вот кончится, не сегодня — завтра, наступает июнь, лето... Эх, горячее лето ожидает нас с вами, дорогой мой герой, — горячее лето!

Г. Куйбышев.

Апрель — май 1942 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Гл. I. В пути на фронт	5
» II. Генерал Брусилов	26
» III. Новый полк	46
» IV. Совецание в ставке	67
» V. Начальник дивизии	88
» VI. Предвестники	120
» VII. Началось!	142
» VIII. Перед новым штурмом	165
» IX. Штурм	177
» X. Отзвуки прорыва	199
» XI. Река Иква	210

Редактор *Н. Замошкин*

А425

Подписана к печати 2/III 1943 г.

Печ. л. 15³/₄. Авт. л. 13,38. Уч.-изд. л. 14,32

Зак. 1076. Тир. 20.000.

Цена 6 руб. 50 коп.

Типография „Красный печатник“

Москва, ул. 25 Октября, 5.